

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

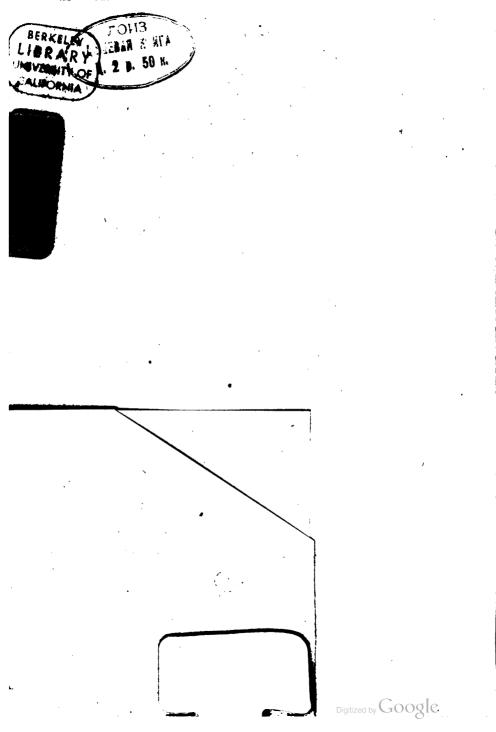
We also ask that you:

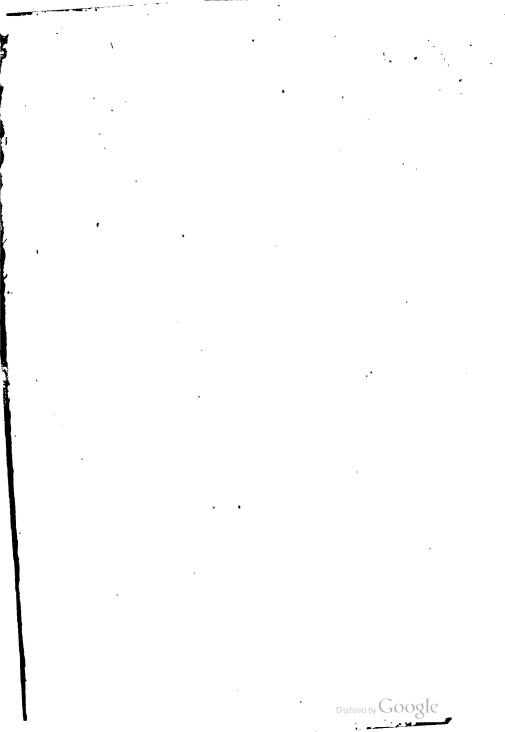
- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







Digitized by Google

С. А. Андреевскій.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

ОЧЕРКИ.

(З-е дополненное издание "литературныхъ чтений").

С.-ПЕТЕРВУРГЪ.

Типографія А. Е. Колпинскаго. Конная улица, домъ № 3-5. 1902.

7259-6752

•

MAIN

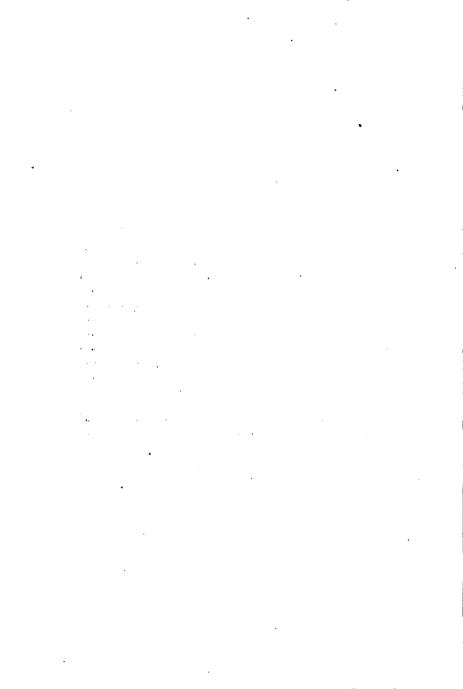
.

Digitized by Google

PG2933 A5L51 1902 MAIN

ОГЛАВЛЕНІЕ.

•												CTP.
Поэзія Баратынскаго	•						• ·					1
"Братья Карамазовы"												
Всеволодъ Гаршинъ												116 —
О Некрасовъ												
Лермонтовъ												197
Изъ мыслей о Львъ	То	лст	гом	ъ								228
Тургеневъ							:	:	• .			262
Городъ Тургенева.			•			•	•		•		;	319
Гюи Де-Мопасанъ .		•	•								•	329
Книга Башкирцевой						•						383
Къ столѣтію Грибовд	ов	a	•		•					•		409
Вырожденіе риемы										•		427
Театръ молодого вък	a	•						•			•	470



NOÐSIA BAPATЫHCKAFO.

I.

Что въ настоящее время осталось отъ поэзін Баратынскаго въ нашей памяти? Стихотвореніе "На смерть Гете", далеко не лучшее, страдающее твми преувеличеніями, какія почти всегда встрвчаются въ пьесахъ на торжественный случай; стихотвореніе "Финляндія", написанное поэтомъ на двадцатомъ году; "Гдв сладкій шопотъ моихъ лвсовъ?" — слащавая вещица въ стилв Жуковскаго, и наконецъ романсъ: "Не искушай меня безъ нужды", о которомъ едва ли многіе знаютъ, что онъ принадлежить Баратынскому. — Вотъ и все.

Въ такомъ забвеніи Баратынскаго виноваты: во-первыхъ, глубина его поэзіи, во-вторыхъ, Бълинскій съ своимъ ложно - прогрессивнымъ разборомъ его произведеній и, въ-третьихъ, хрестоматіи—эти истинныя губительницы поэтовъ негромкихъ, но содержательныхъ.

Недоступность Баратынскаго для массы отмътилъ еще Пушкинъ: "Изъ нашихъ поэтовъ Ба-

1

ратынскій всёхъ менёе пользовался благосклонностью журналовъ — оттого ли, что вёрность ума, чувства, точность выраженія, вкусъ, ясность и стройность менёе дёйствуетъ на толпу, нежели преувеличеніе (exagération) "модной поэзіи", или потому, что поэтъ нёкоторыхъ критиковъ задёлъ своими эпиграммами. —Баратынскій принадлежитъ къ числу отличныхъ у насъ поэтовъ. Онъ у насъ оригиналенъ — ибо мыслитъ"... "Онъ — одинъ изъ первостепенныхъ нашихъ поэтовъ... Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подлю Жуковскаго и выше Батюшкова".

Такъ цѣнилъ Баратынскаго Пушкинъ, приравнивая одинъ томъ поэзіи Баратынскаго всей массѣ сочиненій Жуковскаго. И не слѣдуетъ забывать, что въ этомъ одномъ томѣ Баратынскій былъ вполнѣ самобытенъ, тогда какъ Жуковскій всегда пѣлъ съ чужого голоса. Не малыя же богатства поэзіи содержитъ въ себѣ послѣ этого книга нашего поэта! Очень скромный въ сужденіяхъ о себѣ, Баратынскій сознавалъ, однако, непопулярность своей книги. Въ стихотвореніи "Осень", какъ бы говоря о комъто другомъ, поэгъ восклицаетъ:

> Такъ иногда толпы лёнивый умъ Изъ усыпленія выводитъ Гласъ, пошлый гласъ, въщатель общихъ думъ, И звучный отзывъ въ ней находитъ, Но не пайдетъ отзыва тотъ глаголъ, Что страстное земное перешелъ...

I

Поэтъ-мыслитель, поэтъ-метафизикъ, Баратынскій постоянно порывался "перейти страстное земное" и вся его муза есть муза глубокой скорби о какомъ-то необрътаемомъ идеалъ.

Не оцѣненная совреме́нниками, осужденная, по ложнымъ основаніямъ, Бѣлинскимъ и, наконецъ, ощипанная хрестоматіями, поэзія Баратынскаго требуетъ реставраціи. Сборникъ его стихотвореній въ настоящее время самъ зарекомендуетъ себя каждому, кто возьметъ его въ руки: на каждой страницѣ читатель найдетъ свои думы, свои чувства, —вѣчныя думы и чувства человѣчества. Приглядимся же къ этому забытому писателю.

Евгеній Абрамовичъ Баратынскій родился вмѣстѣ съ нашимъ вѣкомъ, въ 1800 году. Отецъ его былъ генералъ-адъютантомъ; мать, рожденная Черепанова, — фрейлиной. Онъ предназначался къ аристократической карьеръ и отданъ , былъ въ пажескій корпусъ; но за одну детскую проказу, довольно некрасивую — порожденную вліяніемъ дурной компаніи — былъ исключенъ изъ корпуса съ запрещеніемъ вступать на службу, развѣ по желанію-рядовымъ въ военную. Эта гроза сильно повліяла на мальчика и впослъдствіи, по ходатайству Жуковскаго, наказаніе было отмѣнено. За исключеніемъ этого горькаго событія въ дътствъ, отразившагося, впрочемъ, и на первой молодости, жизнь Баратынскаго была ясная, мирная, ровная. Прослуживъ сперва въ военной службъ, въ Финляндіи, а за-1*

тъмъ въ межевой канцеляріи въ Москвъ, Баратынскій женился на 26-мъ году, оставилъ службу и жилъ бариномъ, то въ Москвѣ, то въ Петербургъ, то въ Казани, то въ деревнъ,--гдъ вздумается, —наконецъ, убхалъ за границу, провелъ годъ въ Парижѣ и умеръ 44 лѣтъ въ Неаполѣ, скоропостижно, почти безбол взненно. Его письма, еще за нъсколько дней до смерти, выражали полнъйшее довольство жизнью. Онъ былъ счастливъ въ супружествъ, судя по тому, что неръдко обращался къ женъ съ стихотвореніями, полными глубокаго чувства. Вдова перевезла его тѣло въ Петербургъ, гдѣ поэтъ и погребенъ въ Александро-Невской лавръ, близь гробницъ Гнъдича и Крылова. На памятникъ выръзана надпись:

> Въ смиреньи сердца надо вѣрить И терпѣливо ждать конца.

Двустишіе взято изъ стихотворенія Баратынскаго "Отрывокъ", написаннаго въ видѣ разговора между мужчиной и женщиной, которые задумываются надъ смертью и вѣчной разлукой. Можно предполагать, что Баратынскій разумѣлъ здѣсь себя и жену.

Такъ прекрасно протекла жизнь едва ли не самаго задумчиваго и мрачнаго поэта въ нашей поэзіи. Замъчательно, что пессимисты, наиболъ сродные Баратынскому по духу, великій мыслитель-художникъ Шопенгауэръ и поэтесса Луиза Аккерманъ, такъ же, какъ извъстно, пользовались въ жизни полнъйшимъ благополучіемъ—присутствіемъ достатка и отсутствіемъ испытаній. Точно будто для ихъ глубокаго и печальнаго взгляда на міръ именно требовались та тишина и ясность, среди которыхъ созерцаніе легче открываетъ горестныя тайны вселенной... Сохранившіеся портреты Баратынскаго, а также извъстный бюстъ его представляетъ намъ продолговатое, бритое лицо, съ грустными глазами, съ высокимъ лбомъ, съ кокомъ и височками. Родственникъ его, Путята, оставилъ такое описаніе его наружности: "Ему было тогда 24 года. Онъ былъ худощавъ, блъ-

денъ и черты его выражали глубокое уныніе". Въ послъдніе годы жизни у Баратынскаго показывалась съдина, о которой онъ такъ образно и значительно замътилъ:

> Ужъ та зима главу мою сребритъ, Что грѣетъ сѣвъ для будущаго міра... ("На посѣвъ лѣса").

О воспитаніи и образованіи Баратынскаго нъть никакихъ подробностей. Мы знаемъ только, что у него былъ дядька—итальянецъ Джіачинто Боргезе и что, судя по письмамъ Баратынскаго изъ Парижа и по его превосходнымъ переводамъ своихъ стихотвореній прозою на французскій языкъ, поэтъ зналъ французскую литературу въ совершенствъ. Вообще вся книга поэта блещетъ классическимъ образованіемъ. Литературными друзьями Баратынскаго были: Пушкинъ, Дельвигъ, Языковъ, Жуковскій, Плетневъ, Вяземскій, Давыдовъ, Соболевскій. Въ 1839 г. Баратынскому довелось познакомиться и съ Лермонтовымъ. О виечатлъніи этой встръчи онъ писалъ женъ: "Познакомился съ Лермонтовымъ, который прочелъ новую прекрасную пьесу; человъкъ, безъ сомнънія, съ большимъ талантомъ, но мнъ морально не понравился. Что-то нерадушное"...

II.

Таланть свой Баратынскій цениль не вы-"я бъденъ дарованьемъ" (Гнѣличу. соко: стр. 143). "Мой даръ убогъ, и голосъ мой не громокъ"... (стр. 160). Къ этому скромному мнънію о себ' поэть пришель, в роятно, потому, что много трудился надъ каждою вещью. Пушкинъ о немъ писалъ: "Никогда не пренебрегалъ онъ грудами неблагодарными, ръдко замѣчаемыми, -- трудами отдѣлки и отчетливости". Въ рукописяхъ Баратынскаго сохранились многочисленные варіанты его пьесъ, показывающіе, что для одной и тойже идеи онъ избиралъ многія формы, пока не добивался самой совершенной. Къ тому же, содержание его поэзіи-почти всегда философское - само по себъ требовало необыкновенной тонкости исполненія: поэтъ имѣлъ дѣло съ самыми туманными задачами; онъ рисковалъ или не найти словъ, или впасть въ скучный и прозаическій, или въ

напыщенный тонъ Въ одной своей литературной замъткъ Баратынскій сказаль: Истинные поэты потому именно ръдки, что имъ должно обладать въ то же время свойствами, противоръчащими другъ другу: пламенемъ воображенія творческаго и холодомъ ума повѣряющаго. Что касается до слога, надобно помнить, что мы для того пишемъ, чтобы передавать другъ другу свои мысли; если мы выражаемся не точно, насъ понимаютъ ошибочно или вовсе не понимають: для чего жъ писать?" ("Моск. Телегр." 1827 г., XIII, № 4. О "Тавридъ" Муравьева). Бълинскій на это возражалъ съ паеосомъ, но крайне произвольно. Онъ высказалъ, что "обливающій холодомъ разсудокъ, дъйствительно, входить въ процессъ творчества, но когда? --въ то время, когда поэть еще вынашиваеть въ въ себъ концентрирующееся твореніе, слъдовательно, прежде нежели приступить къ его изложенію, ибо поэть излагаеть готовое произведеніе". Почему, спрашивается, прежде? И развѣ бумаги Пушкина и Лермонтова не доказывають, что они излагали далеко не готовыя произведенія, и затъмъ безпощадно перечеркивали написанное по нъскольку разъ и мучились отыскиваніемъ словъ уже послю изложенія задуманнаго на бумагъ. "Только низшіе таланты, — говорить далъе Бълинскій, - затрудняются въ выраженіи собственныхъ идей. Истинный поэтъ твмъ и великъ, что свободно даетъ образъ каждой глубоко прочувствованной имъ идеи". Опять и Пушкинъ. и Гоголь своимъ примъромъ опровергають эту тираду. Вопрось вовсе не въ томъ. свободно или не свободно, скоро или не скоро, сразу или съ поправками пишутъ поэты, а въ томъ, чтобы они въ концъ концовъ нашли и дали върное и живое выражение тому, что трудуловимо, — что они сумъли "удержать HO видение"-fixer le mirage, какъ говорилъ Флобэръ. Конечно, здъсь многое зависить отъ чуткости, отъ темперамента писателя и въ особенности отъ его власти надъ языкомъ, но многое зависить и оть самой темы творчества. Въ той метафизической области, въ которой творилъ Баратынскій, импровизаціей ничего не подѣ-Зато Баратынскій остался оригинальлаешь. нымъ и содержательнымъ. Онъ постоянно проповъдуетъ писателямъ самобытность и правдивость. Онъ укоряетъ Мицкевича за подражаніе Байрону.

> Когда тебя, Мицкевичъ вдохновенный, Я застаю у Байроновыхъ ногъ, Я думаю: поклонникъ униженный! Возстань, возстань и вспомни: самъ ты богъ!

Не трудно писать по шаблону или плодить перепъвы чужихъ мотивовъ. Музу такихъ подражателей Баратынскій сравниваетъ съ

> нищей, развращенной, Молящей лепты незаконной, Съ чужимъ ребенкомъ на рукахъ.

О себъ же поэтъ былъ въ правъ сказать, что

Сердечныхъ судорогъ цѣною Онъ выраженіе купилъ.

Надо, впрочемъ, замътить, что закулисная работа поэта вовсе не замътна въ его гармоничномъ, плавномъ и ясномъ стихѣ. Форма у Баратынскаго съ технической стороны почти вездъ безупречна и навсегда останется въ преданіяхъ поэзіи, какъ поучительный, высокій образецъ искусства. Языкъ старъ только мъстами и то больше въ пьесахъ отвлеченныхъ, гдъ архаическое слово и понынъ остается красивымъ и какъ бы болѣе подходящимъ къ сюжету. Философскія свои стихотворенія вообще Баратынскій излагаль тономь какой-то торжественной печали. Здёсь самыя глубокія мысли выражены въ формѣ до того сжатой, что только по силъ выраженія приходится догадываться, что поэть не могъ сразу найти такіе сжатые обороты, но музыка стиха остается непогрѣшимою. Во всей книгъ, быть можеть, найдется два-три стиха, какъ будто съ задержкой въ цензурѣ. Не болѣе того встрѣтится и вполнѣ старыхъ или тяжелыхъ оборотовъ, употребленныхъ какъ бы безъ нужды и несоотвътственно тону стихотворенія. Таковы, напримфръ, стихи: "И простъ и поделъ вкупъ", или "Боги дали и веселью и печали одинакія крилъ". Некрасиво также слово "попыхи" въ именительномъ падежѣ. Но это едва ли не все, что есть неудачнаго въ сборникъ. Изъ оборотовъ, встръчен-

_ 9 _

ныхъ нами у одного Баратынскаго (быть можеть, этоть обороть есть у кого-нибудь изъ его предшественниковъ), мы отмѣтили слово "привѣчу" — "имъ безсмертье я привъчу", т. е. "буду привътствовать", — оборотъ, вполнъ достойный, подражанія, потому что "буду привътствовать" нестерпимо длинно и какъ-то казенно, а "привѣчу" — вполнѣ по-русски, просто и благозвучно. Въ пьесахъ нефилософскаго содержанія стихъ Баратынскаго трудно отличить отъ Пушкинскаго, изъ чего слѣдуетъ, что даръ формы былъ у поэта громадный и что необходимость болѣе тщательной, иногда упорной отдълки была вызвана той исключительной, туманной сферой творчества, куда влекло поэта. Такою легкостью формы отличаются пьесы идиллическія, мадригалы, посланія, стихи въ поэмахъ и т. п.

III.

Содержаніе поэзіи Баратынскаго — преходимость всего земного, жажда въры, въчный разладъ разума и чувства и какъ послъдствіе этого непримиримаго разлада — глубокая печаль. Такую поэзію встарину называли элегическою, теперь ее называютъ пессимистическою. Современники не разглядъли Баратынскаго, они не подслушали, что онъ взялъ совсъмъ новую ноту, воспълъ самобытно совсъмъ иную печаль, что кличка поэта элегическаго, какъ поэта только грустнаго, ему не вполнѣ пристала, и что для него, какъ для писателя съ новой темой, нужна была бы и новая кличка. Но для этого современникамъ Баратынскаго нужно было заглянуть на полвѣка впередъ и разглядѣть въ его туманѣ нашъ "пессимизмъ"—сушь, тяготу и безвѣрiе нашихъ дней, которыя были предсказаны Баратынскимъ въ слѣдующей энергичной строфѣ:

> Въкъ шествуетъ путемъ своимъ желъзнымъ; Въ сердцахъ корысть, и общая мечта Часъ отъ часу насущнымъ и полезнымъ Отчетливъй, безстыднъй занята. Исчезнули при свътъ просвъщенья Поззіи ребяческіе сны, И не о ней хлопочутъ поколънья, Промышленнымъ заботамъ преданы. ("Послъдній поэтъ").

Эта строфа точно вчера написана. Въ началъ своего поприща Баратынскій, въ посланіи къ Богдановичу, завидуя "веселости ясной" отошедшаго пъвца Душеньки, жалуется, что

> Новъйшіе поэты Не улыбаются въ твореніяхъ своихъ, И на лицъ земли все какъ-то не по нихь.

И эти строфы также вполнѣ могли бы быть примѣнены ко всей нашей новой поэзіи. Но тогда, въ то время, сродною намъ печалью страдалъ одинъ только Баратынскій. Другіе поэты, подъ вліяніемъ Байрона, были просто разочарованные. Это была печаль нарядная, модная и эффектная. Лермонтовъ, нъсколько позже, взялъ, быть можетъ, болѣе глубокіе скорбные звуки, чѣмъ Баратынскій, но Лермонтовъ все-таки былъ еще романтикъ и въ его юной, страстной натурѣ, на ряду съ гордымъ отчаяніемъ, кипѣлъ порывъ къ сверхчувственному, ему грезились демоны и ангелы, и "кущи рая", и какой-то "новый міръ", и въ "небесахъ онъ видѣлъ Бога". У Баратынскаго съ самыхъ молодыхъ лѣтъ фантазія стала блѣднѣть и умирать передъ неумолимымъ, острымъ взглядомъ холоднаго ума, и поэтъ началъ подумывать о какомъ-нибудь философскомъ, спокойномъ исходѣ изъ этой коллизіи. Въ томъ же посланіи къ Богдановичу Баратынскій такъ опредѣляетъ свою роль въ поэзіи:

> Я правды красоту даю стихамъ моимъ. Желаю доказать людскихъ суетъ ничтожность И хладной мудрости высокую возможность.

Дорого же досталась Баратынскому эта миссія!

Грусть привязалась къ поэту очень рано. Основныя черты характера обозначились еще въ младенчествъ. Въ письмахъ къ матери 11-лѣтній Баратынскій говорилъ: "Не лучше ли быть счастливымъ невѣждой, чѣмъ несчастнымъ ученымъ", а въ 16 лѣтъ замѣчаетъ: "Si le coeur était rempli de manière, qu'il ne puisse pas réfléchir à ce qu'il sent!" Въ расцвѣтѣ юности, 20-ти лѣтъ, поэтъ пишетъ:

Судьбы ласкающей улыбкой Я наслаждаюсь не вполнѣ;

Все мнится: счастливъ я ошибкой И не къ лицу веселье мнѣ.

Въ томъ же году, въ Финляндіи, въ разсѣлинахъ скалъ, въ свѣтлую финскую ночь, поэтъ задумывается надъ прошлымъ этого края, вспоминаетъ "Одиновыхъ дѣтей", какъ бы видитъ ихъ туманную толиу въ облакахъ, читаетъ печаль въ ихъ взорахъ и восклицаетъ:

> И вы сокрылися въ обители тъней! Что жъ наши подвиги, что слава нашихъ дней, Что наше вътреное племя? О, все своей чредой исчезнетъ въ безднъ лътъ! Для всъхъ одинъ законъ, законъ уничтоженья!

Передъ лицомъ этой подавляющей тщеты всего земного Баратынскій пытается найти поддержку въ разсудкъ, въ здравомъ отношеніш къ жизни:

> Но я въ безвъстности, для жизни жизнь любя, Я беззаботливой душою Вострепещу-ль передъ судьбою? Не въчный для временъ, я въченъ для себя: Не одному-ль воображенью Гроза ихъ что-то говоритъ? Мгновенье мню принадлежитъ, Какъ я принадлежу мгновенью!

Но эта рѣшимость поэта наслаждаться дѣйствительностью, "беззаботно любить жизнь для самой жизни", пользоваться мгновеньемъ,—эта рѣшимость не переходитъ въ дѣло. Причиною тому—трагическая организація самого поэта, въ которомъ постоянно боролись двѣ противоположныя силы: холодъ ума и пламя чувства, разсудокъ и фантазія— "огонь и ледъ— вода и камень!" Въ слѣдующемъ же стихотвореніи "Къ Коншину", Баратынскій пишетъ: "Страданье нужно намъ въ любви, ибо

Что, что даетъ любовь веселыма шалунамъ? Забаву легкую, минутное забвенье.

Намъ же, т. е. поэтамъ, —говоритъ Баратынскій, — "въ ней дано благо лучшее". "Мы повѣряемъ нѣжности чувствительной подруги всѣ раны, всѣ недуги, все разслабленіе души своей больной... И если мнимымъ (т. е. мечтательнымъ) счастіемъ для свъта мы убоги (т. е. въ глазахъ веселыхъ, здоровыхъ людей), то эти счастливцы зато бѣднѣе насъ, потому что праведные боги

Имъ дали чувственность, а чувство только намъ!

Понятно, поэтому, что такой темпераменть не былъ призванъ для матеріальнаго счастья. Иногда раздвоенность поэта достигаетъ какогото страннаго равновъсія: онъ самъ не можеть опредѣлить, наслаждается онъ или страдаетъ.

> Когда взойдеть денница золотая, Горить эеирь, И ото сна встаеть благоухая Цвѣтущій мірь, И славить все существованья радость,--Съ душой твоей

— 15. —

Что въ пору ту? Скажи: живая радость, Тоска ли въ ней? Когда на дъвъ цвътущихъ и привътныхъ, Передъ тобой Мелькающихъ въ одеждахъ разноцвътныхъ.

Глядишь порой,

Глядишь и пьешь ихъ томныхъ взоровъ сладость,— Съ душой твоей

Что въ пору ту? Скажи: живая радость,

Тоска ли въ ней?

Вѣчный анализъ до того преслѣдуетъ поэта, такъ отравляетъ его существованіе, что въ одномъ сильномъ стихотвореніи онъ умоляетъ "Истину" не показываться ему совсѣмъ, покинуть его—или развѣ явиться ему въ самую послѣднюю минуту жизни:

> Явись тогда! раскрой тогда мнѣ очи, Мой разумъ просвѣти: Чтобъ, жизнь прозрѣвъ, я могъ въ обитель ночи Безропотно сойти.

И вотъ жизнь уже представляется поэту какимъ-то обязательнымъ мученіемъ, тѣмъ болѣе загадочнымъ, что, по природѣ своей, мы дорожимъ этимъ тягостнымъ процессомъ; поэтъ готовъ признать, что самая смерть, вѣроятно, лучше:

> Нашъ тягостный жребій: положенный срокъ Питаться болъзненной жизнью, Любить и лелъять недугъ бытія, И смерти отрадной страшиться.

А позже, необыкновенно върный себъ, Баратынскій посвящаеть смерти цълый хвалебный гимнъ. Онъ отвергаеть ся легендарное изображеніе въ видъ уродливаго остова съ косой и называеть се "свътозарная краса", "дочь верховнаго эюира". Чуднымъ стихомъ опредъляеть онъ ся назначеніе въ міръ:

Она прохладнымъ дуновеньемъ Смиряетъ буйство бытія.

Она даеть предѣлы всему плодящемуся, чтобы на землѣ остался просторъ-она сравниваеть властелина и раба, она "всѣхъ загадокъ разръшенье и разръшенье всъхъ цъпей!" Въ такой безнадежной философіи Баратынскій достигаеть тридцати-пяти лъть. Здъсь образуется естественный рубежъ и въ сборникъ Баратынскаго, и въ самой исторіи его поэзіи. Около этого времени, въ 1834 г., Бълинскій писаль: .Вивств съ Пушкинымъ появилось множество поэтовъ, теперь большею частью забытыхъ". Къ числу ихъ Бълинский отнесъ и Баратынскаго. упомянувъ о немъ лишь нъсколькими словами въ общемъ обзоръ литературы. Баратынский уединился, замолчалъ, и только въ 1842 году издалъ сборникъ своихъ новыхъ стихотворений подъ заглавіемъ "Сумерки". Этотъ сборникъ встревожилъ Бѣлинскаго, который уже на этотъ разъ впервые посвятилъ Баратынскому большую статью.

ι.

IV.

Прежде чёмъ перейти къ этому сборнику и къ рецензіи Бѣлинскаго, слѣдуеть еще разъ оглянуться на первую половину дѣятельности поэта. Здѣсь мы встрѣчаемъ не однѣ философскія темы "міровой скорби" и отчаянія. Здѣсь есть и поэмы, и мадригалы, и посланія къ женщинамъ и друзьямъ, и эпиграммы, и пьесы литературно-полемическія. Изъ послѣднихъ упомянемъ, ради курьеза "Посланіе къ — ву", гдѣ Баратынскій изобрѣтаетъ комическую фамилію плохого поэта и называетъ его... какъ бы вы думали?.. Фофановъ:

> Напрасно до поту лица О славъ Фофановъ хлопочетъ.

Мы убъждены, что Баратынскій теперь бы съ раскаяніемъ взялъ этотъ псевдонимъ назадъ и порадовался бы только одному, —что онъ случайно предсказалъ настоящаго поэта Фофанова.

О поэмахъ Баратынскаго приходится сказать немногое. Онѣ ничего не прибавляютъ къ его славѣ. Правда, онѣ, какъ все, что̀ написано Баратынскимъ, написаны прекрасными, а мѣстами и превосходными стихами. Но, по самой натурѣ своей, Баратынскій имѣлъ мало задатковъ для успѣха въ лирическомъ эпосѣ. Созерцательный темпераментъ мѣшалъ ему вдохнуть въ разсказъ движеніе и зажечъ страстями дѣйствующихъ лицъ. Баратынскій написалъ три

2

поэмы: "Эда", "Балъ" и "Цыганка" (не считая двухъ длинныхъ стихотвореній "Пиры" и "Телема и Макаръ",-переводъ изъ Вольтера,-почему-то названныхъ въ сборникъ поэмами, да посредственной сказки "Переселение душъ"). Въ "Эдв" гусаръ, находящійся на постов въ Финляндіи, влюбляется въ бѣлокурую дочку своего хозяина, чухоночку Эду, соблазняетъ ее и покидаетъ, а она съ горя умираетъ. - Въ поэмъ "Балъ" изображена княгиня Нина, — фигура, которая признавалась и Пушкинымъ, и Бълинскимъ, и вообще современниками, задуманною очень оригинально. Княгиня Нина — вакханка, родъ Донъ-Жуана въ юбкѣ; она постоянно мѣняеть поклонниковъ, которыхъ завлекаетъ лишь потому, что украшаетъ ихъ своимъ воображеніемъ.

> Она ласкала съ упоеньемъ Одно видѣніе свое,— И гасла вдругъ мечта ея.

Избралникъ ея немедленно дѣлался ей смѣшнымъ и тогда онъ терялся среди толпы, чтобы уступить мѣсто новому. Но вотъ княгинѣ Нинѣ встрѣчается Арсеній—герой немножко во вкусѣ Чацкаго и другихъ лучшихъ, образованныхъ людей эпохи,—герой, въ которомъ, очевидно, Нина уже не разочаруется. Она привязывается къ нему со всею страстью, но оказывается, что Арсеній сошелся съ нею лишь раг dépit, потому что онъ неосновательно приревновалъ къ комуто любимую имъ дѣвушку Ольгу. Когда его ошибка разъяснилась, Арсеній покидаетъ Нину и она отравляется.—Въ "Цыганкъ" ңѣкто Елецкій живетъ съ цыганкой Сарой, но увлекается дѣвушкою Вѣрою, а Сара, провѣдавъ о томъ, пріобрѣтаетъ отъ старой цыганки изъ своего табора какое-то зелье, чтобы приворожить къ себѣ Елецкаго, но это зелье оказывается ядомъ и Елецкій умираетъ.

И "Эда", и "Цыганка" растянуты. Живъе другихъ изложенъ "Балъ". Но вообще поэмы читаются безъ интереса, развязка сразу предвидится, вы чувствуете, что авторъ ведетъ дѣло не къ добру и притомъ всегда по одному способу. вмѣшивая въ фабулу судьбу, а не дѣйствіе характеровъ. Вездѣ ошибка или случайная смерть. Подобіемъ характера является дъйствительно только княгиня Нина, о которой можно пожалѣть, что она такъ долго, не щадя своей репутаціи, искала хорошаго человѣка и, найдя его, не по своей винъ потеряла. Объясненіе неудачи Баратынскаго въ поэмахъ, какъ намъ кажется, заключается именно въ его міросозерцаніи, — въ его недовъріи къ жизни, въ его опасливомъ отношении къ ея благамъ и въ трудности для него, вслѣдствіе этого, изображать здоровыхъ, вполнѣ земныхъ людей.

Въ этой же первой части сборника, какъ мы сказали, есть и разнородныя мелкія пьесы на разныя темы. Вездъ вы встрътите умъ и большое мастерство формы, вездъ вы видите, что

2*

поэтъ правдиво, содержательно и върно высказываетъ именно то, что ему нужно. Нътъ положительно ни одной пьесы, которая была бы написана такъ себъ, которая бы не остановила на себъ вашу мысль. Можно привести множество образцовъ. Возьмемъ, напримъръ, стихотвореніе "Признанье", показывающее, что Баратынскій умълъ обнаруживать самобытность даже тогда, когда брался за самую обыденную тему.

ПРИЗНАНЬЕ.

Притворной нёжности не требуй отъ меня: Я сердца моего не скрою хладъ печальный. Ты права, въ немъ ужъ нътъ прекраснаго огня Моей любви первоначальной. Напрасно я себъ на память приводилъ И милый образъ твой, и прежнія мечтанья: Безжизненны мои воспоминанья Я клятвы даль, но даль ихъ выше силь. Я не плъненъ красавицей другою, Мечты ревнивыя отъ сердца удали; Но годы долгіе въ разлукѣ протекли, Но въ буряхъ жизненныхъ развлекся я душою, Ужъ ты жила невърной тънью въ ней; Уже къ тебъ взывалъ я ръдко, принужденно. И пламень мой, слабъя постепенно, Собою самъ погасъ въ душѣ моей. Върь, жалокъ я одинъ. Душа любви желаетъ, Но я любить не буду вновь: Вновь не забудусь я: вполнъ упоеваетъ Насъ только первая любовь. Грущу я; но и грусть минуетъ, знаменуя Судьбины полную побъду надо мной.

Кто знаетъ? мнѣніемъ сольюся я съ толпой, Подругу, безъ любви, кто знаетъ? изберу я, На бракъ обдуманный я руку ей подамъ

И въ храмъ стану рядомъ съ нею Невинной, преданной, быть можетъ, лучшимъ снамъ,

И назову ее моею,

И въсть къ тебъ придетъ; но не завидуй намъ: Обмъна тайныхъ думъ не будетъ между нами, Душевнымъ прихотямъ мы воли не дадимъ:

Мы не сердца подъ брачными вънцами,

Мы только жребіи свои соединимъ. Прощай, мы долго шли дорогою одною: Путь новый я избралъ, путь новый избери; Печаль безплодную разсудкомъ усмири И не вступай, молю, въ напрасный судъ со мною! Не властны мы въ самихъ себѣ, И въ молодыя наши лѣты Даемъ поспѣшные обѣты. Смъшные, можетъ быть, всевидящей судьбѣ.

Какая върность тона, сколько искренности и простоты въ этомъ грустномъ признани!

V.

Обратимся къ послъднимъ произведеніямъ поэта, къ его сборнику "Сумерки". Сборникъ посвященъ Вяземскому. Поэтъ обращается къ Вяземскому съ чудеснымъ задушевнымъ посланіемъ:

> Вамъ приношу я пъснопънья, Гдъ отразилась жизнь моя, Исполнена тоски глубокой, Противоръчій слъпоты,

И между тёмъ любви высокой, Любви добра и красоты.

Хотя поэть пишеть далье, что сны сердиа и стремленья мысли разумно имъ усыплены, но, читая книгу, которую върнъе было бы назвать "Мракомъ", нежели "Сумерками", мы видимъ, что роковыя противорѣчія между разсудочностью и мечтательностью остались въ поэтѣ непримиренными. Эти сіамскіе близнецы, ненавидящіе другъ друга, остались въ поэтъ оба живыми и оттого книга производить удручающее, трагическое впечатлъніе. Дарованіе поэта окрѣпло и онъ блистательно одолѣваетъ самыя трудныя темы. Въ глубокомъ стихотворении "Толив тревожный день приввтенъ", поэтъ говорить, что толпа боится ночи и ея видъній, а поэты страшатся дъйствительности. Баратынскій примиряеть объ стороны и совѣтуеть толпъ ощупать мракъ-въ немъ нътъ призраковъ, а поэту совѣтуеть не робѣть передъ заботою земною, ибо она таетъ, какъ облако--и за нею опять открываются обители духовъ. Вы чувствуете, вы видите, что поэть отрицаеть въ этомъ міръ силою своего разума все чудесное, но не ръшается все-таки разстаться съ инымъ, сверхъестественнымъ міромъ. Разъединеніе полное, какъ въ началѣ. Въ превосходномъ стихотвореніи "Осень" поэтъ признаетъ, что нѣкогда

> всъхъ увлеченій другъ, Сочувствій пламенный искатель,

> > Digitized by Google

Блистательных тумановь царь-онъ вдругъ: Безплодныхъ дебрей созерцатель.

Повидимому, онъ полный банкротъ. Но далѣе поэтъ намекаетъ, что если у него въ груди и есть озаренье, которымъ, быть можетъ, разръшается думъ и чувствъ послъднее вихревращенье, —то все-таки:

> Знай, внутренней своей во вѣки ты Не передашь земному звуку!

Опять коллизія думъ и чувствъ въ полномъ разгарѣ: несостоятельность земныхъ идеаловъ безспорна и наглядна, а для того, чтобы выразить въру-нъть слова, уста коснъютъ... Въ томъ же духъ стихотвореніе "Недоносокъ"-замѣчательная пьеса, нѣчто въ родѣ баллады о ничтожествъ человъка. брошеннаго между небомъ и землею, зависимаго отъ стихій, отъ настроенія, неспособнаго сладить съ вопросами ума: "ВЪ ТЯГОСТЬ РОСКОШЬ МНВ ТВОЯ, ВЪ ТЯГОСТЬ твой просторъ, о въчность!" Таковы же: "Мудрецу"-глубоко пессимистическое стихотвореніе: "Ахиллъ", гдъ говорится, что Ахиллъ былъ бы вполнъ неуязвимъ, если бы своею несовершенною пятою онъ сталъ на живую въру; "На что вы, дни"-сильный, унылый аккордъ и др. Разумъется, и несовершенный Ахиллъ и Недоносокъ-это самъ Баратынскій. Въ подобныхъ замыслахъ сказывается оригинальность Баратынскаго среди лириковъ, поддавшихся вліянію Байрона. Байронъ страдалъ избыткомъ величія:

это былъ "переносокъ", титанъ! Онъ вызывалъ на бой и вселенную, и общество. Между тъмъ нашъ поэтъ покорно оплакивалъ рабскую ограниченность человъческой природы. Всего сильнъе это выражено имъ въ стихотворении "Къ чему невольнику мечтанія свободы?"...

Наконецъ, въ стихотвореніяхъ "Послѣдній поэтъ", "Все мысль да мысль!" и "Примѣты" Баратынскій, какъ бы отмщая познанію и разсудку за свой разладъ, высказалъ, что первоначальные сны поэзіи и наивное общеніе съ природой исчезли именно благодаря мысли, *наукъ*. Это священное слово было названо — и на Баратынскаго ополчился Бѣлинскій.

Вотъ въ подлинникѣ преступное мѣсто въ стихотвореніи "Послѣдній поэтъ":

Воспрваеть простодушный Онъ *) любовь и красоту, И науки, имъ ослушной, Пустоту и суету. Мимолетныя страданья Легкомысліемъ цёня, Лучше, смертный, въ дни незнанья: Радость чувствуетъ земля.

А вотъ и отрывокъ изъ "Примътъ":

Пока человѣкъ естества не пыталъ Горниломъ, вѣсами и мѣрой; Но дѣтски вѣщаньямъ природы внималъ, Ловилъ ея знаменья съ вѣрой;

Т. е. поэтъ.

- 25 ---

Покуда природу любилъ онъ, она Любовью ему отвъчала: О немъ дружелюбной заботы полна, Языкъ для него обрътала. Но чувство презръвъ, онъ довърилъ уму, Вдался въ сусту изысканій, И сердце природы закрылось ему, И нътъ на землъ прорицаній.

Негодованіе Бълинскаго было неудержимое "Оленя ранили стрълой!" Приведенныя мъста изъ сборника вызвали цълую бурю:

"А, вотъ что! теперь мы понимаемъ!-говорилъ Бълинскій. — Наука ослушна (т. е. непокорна) любви и красотѣ; наука пуста и суетна. Нѣтъ страданій глубокихъ и страшныхъ, какъ основного, первосущнаго звука въ аккордъ бытія; страданіе мимолетно-его должно исцелять легкомысліемъ; въ дни незнанія (т. е. невъжества) земля лучше чувствуеть радость!". "Какіе дивные стихи! Что, если бы они выражали собою истинное содержание! О, тогда это стихотворение казалось бы произведениемъ огромнаго таланта. А теперь, чтобъ насладиться этими гармоническими, полными души и чувства стихами, надо сдёлать усиліе: надо заставить себя стать на точку зрѣнія поэта, согласиться съ нимъ на минуту, что онъ правъ въ своихъ воззрѣніяхъ на поэзію и науку; а это теперь рѣшительно невозможно! И оттого впечатлъніе ослабъваеть, удивительное стихотвореніе кажется обыкновеннымъ...". "Бъдный въкъ нашъсколько на него нападокъ, какимъ чудовищемъ считають его! И все это за желѣзныя дороги, за пароходы---эти великія поб'ёды его, уже не надъ матеріею только, но надъ пространствомъ и временемъ!..". "Если нашъ въкъ и индустріаленъ по преимуществу, это не хорошо для нашего въка, а не для человъчества: для человѣчества же это очень хорошо, потому что черезъ это будущая общественность его упрочиваеть свою побъду надъ своими древними врагами-матеріею, пространствомъ и временемъ"... "Коротко и ясно: все наука виновата! Безъ нея мы жили бы не хуже ирокезовъ... Но хорошо ли, но счастливо ли живутъ ирокезы, безъ науки и знанія, безъ довъренности къ уму, безъ суеты изысканій, съ уваженіемъ къ чувству, съ томагаукомъ въ рукъ и въ въчной ръзнъсъподобными себъ? Нътъ ли и у нихъ, у этихъ счастливыхъ, этихъ блаженныхъ ирокезовъ своей "суеты испытаній", нътъ ли у нихъ своихъ понятій о чести, о правъ собственности, своихъ мученій честолюбія, славолюбія? И всегда ли врагъ успѣваетъ предостерегать ихъ отъ бѣды, всегда ли волкъ пророчитъ имъ побъду? Точно ли они-невинныя дъти матери-природы?.. Увы, нътъ, и тысячу разъ нътъ!.. Только животныя безсмысленныя, руководимыя однимъ инстинктомъ, живутъ въ природъ и природою" и т. д., и т. д. (Соч. Бълинскаго, т. VI, стр. 297-303).

Странно теперь читать этотъ горячій трактатъ о томъ, что дважды-два-четыре. Странно

видъть, съ какимъ усердіемъ Бълинскій доказываеть Баратынскому, словно маленькому мальчику, пользу наукъ, изобрътеній жельзныхъ дорогъит. п. Неужели Баратынскій всего этого не понималъ? Превосходно понималъ и мы въ настоящее время имъемъ въ печати даже письма Баратынскаго, гдѣ онъ говоритъ: "Я очень наслаждаюсь путешествіемъ и быстрой сміной впечатльній. Жельзныя дороги-чудная вещь. Это апоееоза разсѣянія"... Конечно, Баратынскій не могъ не цёнить завоеваній культуры. Онъ указывалъ только на фактъ безспорный, на фактъ, единогласно признаваемый человъчествомъ, что знаніе имѣетъ и свою тѣневую сторону, что оно, обогащая нашъ умъ, отнимаетъ часть прелести у окружающихъ предметовъ, что наука сушитъ, что все раскрытое перестаетъ быть привлекательнымъ. Поэтому нъть на свътъ человъка, который бы съ особенною любовью не вспоминалъ своего дътства, т. е. именно поры полнаго невъжества. Въдь все это такія истины, что надо только удивляться ослѣпленію Бѣлинскаго. Кстати вспомнимъ, что тѣ же идеи о горечи познанія мы встръчаемъ и у Пушкина. Не Пушкинъ ли сказалъ:

> Тьмы низкихъ истинъ мнъ дороже Насъ возвышающій облань!

А эта чудная строфа изъ "Евгенія Онъгина" Стократь блаженъ, кто преданъ епро, Кто, хладный умз угомонивъ, Покоится въ сердечной нъгъ, Какъ пьяный путникъ на ночлегъ, Или, нъжнъй, какъ мотылекъ, Въ весенній впившійся цвътокъ; Но жалокъ тотъ, кто все предвидитъ, Чья не кружится голова, Кто всъ движенъя, всъ слова Въ ихъ переводъ ненавидитъ. Чье сердис опыта остудила И увлекаться запретилъ. (Глава четвертая, L1).

Развѣ здѣсь слова "истина", "опыть", "предвидение всего", — т. е. въ сущности завоевания ума въ жизни отдъльнаго человъка---не играють рѣшительно той же роли, какъ и слово "наука" у Баратынскаго? Ибо, что такое наука. какъ не опытъ всего передового человѣчества? Только у Баратынскаго вопросъ поставленъ рѣзче и шире. Объясняется это натурою обоихъ поэтовъ. Пушкинъ-темпераментъ подвижный, страстный, жизнелюбивый; онъ задъвалъ такіе скорбные вопросы только слегка, онъ слишкомъ любилъ жизнь съ ея блескомъ и культурой и находилъ всегда выходъ изъ страданія въ своей здоровой, гармонической организаціи. Баратынскій же, какъ человѣкъ созерцательный и полный мучительныхъ противоръчій, ни въ чемъ не находилъ исцъленія отъ своей скорби. И не странно ли было со стороны Бѣлинскаго распекать Баратынскаго за отсталость, когда нашъ поэть выражаль только тоть глубокій вопль о

роковыхъ противорѣчіяхъ міроустройства, который не перестанетъ повторяться во всѣ вѣка. Достаточно вспомнить философію Руссо въ прошломъ столѣтіи и направленіе поэзіи Льва Толстого въ самые послѣдніе дни нашего времени.

VI.

Приговоръ Бълинскаго былъ послъднимъ ударомъ для успѣха Баратынскаго. Непонятый съ самаго начала своей дъятельности, онъ былъ теперь окончательно низверженъ самымъ вліятельнымъ изъ русскихъ критиковъ. Въ пользу Бѣлинскаго слѣдуетъ, впрочемъ, сказать, что его собственная блестящая личность была также организована совершенно исключительно. Надо его принимать такимъ, каковъ онъ есть, безъ укоризны, потому что и въ его недостаткахъ, какъ критика, заключались все-таки великія достоинства съ иной точки зрънія. Это быль критикъ-трибунъ: соединеніе тоже въ своемъ родъ фатальное. Необыкновенная чуткость къ произведеніямъ слова, культъ красоты, върный вкусъ и отзывчивость-и рядомъ съ этимъ глубокая, страстная преданность интересамъ общественнымъ. Иное случилось съ преемниками Бълинскаго. Вслъдъ за нимъ пошли уже не трибуны, а граждане, гораздо менње смыслящіе въ искусствъ и наконецъ--учителя воскресныхъ школъ, понимающіе литературу только, какъ просвѣтительницу массы въ духѣ и смыслѣ либеральныхъ преданій. Просвътительное назначеніе литературы вовсе не въ томъ, чтобы люди воспитывались въ тъхъ общественныхъ и нравственныхъ идеалахъ, которыхъ желаетъ извъстменьшинство, присвоившее себъ ное руководящую роль. На то есть публицистика, передовыя статьи, лекціи, пропов'йди — что угодно, но не беллетристика. Мы не отрицаемъ ни значенія, ни красоты н'экоторыхъ тенденціозныхъ твореній, каковы наприм'яръ, Châtiments B. Гюго, поэзія Некрасова, многіе романы Диккенса. Но вовсе не въ тенденціи-мфрило ценности произведенія, и не въ идев-заслуга автора, потому что изящная литература имфетъ своею единственною задачею изсбражение и передачу, посредствомъ творческаго генія, внутренней и внѣшней жизни человъчества. Первое условіе въ ней-върность жизни. Правдивостью и цъльностью, яркостью передачи измфряется степень дарованія писателя. Мы не отстаиваемъ при этомъ ни протоколизма, ни фотографированія. Всемірная литература даеть намъ даже прямофантастические образы, которые бывають намъ ближе и понятнѣе, нежели типы, срисованные съ натуры. Вспомните фантастическія творенія Гомера, Шекспира, Сервантеса, Гофмана, Эдгара Поэ, Лермонтова, Гоголя, Достоевскаго. Мечты, возбужденіе фантазія, вымысель-свойственны человѣку, и если мы говоримъ: "вѣрность жизни", то разуметемъ верность органическую, внутреннюю, которая бы настолько проникла собою литературное произведеніе, чтобы въ немъ чувствовалась теплота сроднаго намъ творческаго генія. Просвѣтительное же значеніе этого искусства — въ томъ, что мы черезъ него познаемъ безчисленныя особи человѣческія, наслаждаемся общеніемъ, близостью съ ними, несмотря на громадныя разстоянія въ пространствѣ и времени, смѣемся и страдаемъ съ отжившими писателями, узнаемъ самихъ себя въ твореніяхъ даже совсѣмъ исчезнувшихъ націй, живемъ съ ними, воскрешаемъ ихъ.

Съ этой точки зрънія, поэзія Баратынскаго должна теперь получить свою настоящую оцёнку. Бълинскій, эстетикъ безспорно очень и очень авторитетный, и тотъ сказалъ въ заключеніе своей статьи, что "изъ всёхъ поэтовъ, появившихся вмёстё съ Пушкинымъ, первое мъсто безспорно принадлежить Баратынскому". И только публицистическій темпераменть вовлекъ знаменитаго критика въ ошибку: защищая идеалы просвъщенія, Бълинскій обрекъ Баратынскаго на незаслуженное забвение слъдующими словами: "Поэзія, выразившая собою ложное направленіе переходного поколѣнія, и умираетъ съ тъмъ поколъніемъ". Опроверженіе этого приговора на-лицо: мотивы Баратынскаго неудержимо повторяются въ наши дни, пять покольній спустя-и думаемъ мы, будуть повторяться в'вчно, ибо прим'вры тому мы видимъ во всемірной исторіи поэзіи: разладъ ума и

чувства — да это въчная трагедія человъческая...

Баратынскій должень быть признань отцомь современнаго пессимизма въ русской поэзіи, хотя дѣти его ничему у него не учились, потому что едва ли заглядывали въ его книгу. Поэтъ какъ бы сознавалъ свое родство съ какимъ-то близкимъ будущимъ поколѣніемъ, котораго, однако, ему не удалось увидѣть. Вотъ что онъ говоритъ въ стихотвореніи "На посѣвь лѣса":

Летвлъ душой я къ новымъ племенамъ, Любилъ, ласкалъ ихъ пустоцввтный колосъ; Я дни извелъ, стучась къ людскимъ сердцамъ, Всвхъ чувствъ благихъ я подавалъ имъ голосъ. Отвѣта нѣть! Отвергнулъ струны я, Да хрящъ другой мнѣ будетъ плодоносенъ, И вотъ ему несетъ рука моя Зародыши елей, дубовъ и сосенъ. И пусть! Простяся съ лирою моей Я вѣрую: ее замѣнятъ эти Поэзіи таинственныхъ скорбей Могучія и сумрачныя дѣти.

Поэтъ въритъ, что неразгаданнымъ языкомъ его поэзіи будетъ въчно говорить человъку иъмая природа...

Итакъ. Баратынскій имъ́етъ свою неповторяемую, особенную поэтическую физіономію. Разсудочность и мечтательность въ разладъ у многихъ людей, но между этими враждебными сторонами человъческой сущности у большин-

Digitized by Google

ства наступаеть современемь нѣкоторый сладъ, водворяющій внутреннее равнов сіе. У Баратынскаго же наблюдается феноменъ какого-то особеннаго непримиримаго развитія этихъ силъ. Онъ вложилъ въ искусство живую книгу своего страданія, книгу искреннюю, глубокую и потому прекрасную. Теперь феномены, подобные ему, расплодились и онъ легче можетъ быть понять, потому что мы сами стали ближе къ Баратынскому. Наивность исчезаетъ въ поэзіи. Пасторали вышли изъ моды, балладамъбольше не върятъ. Анти-поэтическій элементъ размышленія, разсудочности все больше и больше врывается въ сладкія песни детей Феба. Баратынскій одинъ изъ первыхъ вступилъ на эту рискованную дорогу и остался поэтомъ... Будучи однажды върно истолкованною, его поэзія по праву оживеть въ нашей памяти и вновь привлечеть сочувствіе читателей, а также вниманіе и изученіе истинпыхъ цѣнителей прекраснаго.

1888 г.

3

Digitized by Google

"БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ" *).

I.

Въ концъ семидесятыхъ годовъ, въ "Русскомъ Въстникъ", появились одинъ за другимъ, два самыхъ значительныхъ русскихъ романа послъдняго времени: "Анна Каренина" и "Братья Карамазовы". И эти романы, и авторы ихъ-Толстой и Достоевскій-вызывають невольное сравнение. Оба произведения вышли съ эпиграфами изъ священнаго писанія; оба-принадлежатъ перу великихъ мастеровъ, которые не столько цёнили въ себе свой высокій художественный даръ, сколько-призвание мыслителей. Притомъ въ третьей книгъ "Анны Карениной" Левинъ поднимаетъ тѣ самые общественные и религіозные вопросы, которымъ посвящены "Братья Карамазовы": въ шестой части, въ разговорѣ съ Облонскимъ на охотѣ, Левинъ тер-

^{*)} Настоящій очеркъ задуманъ мною, какъ путеволитель по "братьямъ Карамазовымъ", въ виду того, что въ то время еще немногіе осилили весь этотъ романъ. Мой этюдъ появился за десять слишкомъ лѣтъ до послѣднихъ работъ о Толстомъ и Достоевскомъ Д. С. Мережковскаго и за годъ ранѣе первой печатной статьи В. В. Розанова "Великій Инквизиторъ".

зается мыслью, что настоящее устройство общества несправедливо (глава XI), а затъмъ въ послѣдней части (главы VII и XIX) мучится невъріемъ и, послъ многихъ колебаній, приходитъ къ выводу, что "несомнѣнное проявленіе Божества въ законахъ добра, которые явлены міру откровеніемъ и которые онъ чувствуетъ въ себъ". Послъдующее развитіе религіи Льва Толстого всёмъ извёстно. Дёйствительная оцёнка величія Льва Толстого, какъ писателя, сдѣлана сравнительно недавно: еще, когда печаталась "Анна Каренина", журнальные рецензенты довольно развязно жаловались на растянутость романа и на возможность продолжать писаніе въ такомъ родѣ до безконечности; а о времени выхода "Войны и Міра" ужъ и говорить нечего, — тогда вышучивали новые психологическіе пріемы Толстого самымъ безцеремоннымъ образомъ. Все это въ порядкъ вещей: все значительное оцфнивается не сразу. Но въ настоящее время и критика, и читающій міръ расквитались съ геніальнымъ писателемъ, —и настала, намъ кажется, минута обратиться къ другому великому поэту-мыслителю, Достоевскому, хотя и внесенному въ пантеонъ литературы какимъто безмолвнымъ общимъ признаніемъ, но до сихъ поръ оставленному критикой почти безъ всякаго комментарія и---стыдно сознаться---даже не вполнъ прочитанному людьми, наиболъе близкими къ литературъ. Обыкновенно говорятъ, что у Достоевскаго-свой исключительный, болѣз-3*

Digitized by Google

ненный міръ; что его откровенный мистицизмъ не внушаетъ довърія къ его философіи, и что. наконецъ, нагроможденіе нев вроятныхъ подробностей, ни съ чёмъ несообразное поведение и въ особенности--разговоры его дъйствующихъ лицъ, всегда говорящихъ его собственнымъ многорѣчивымъ и раздражающимъ языкомъвсе это весьма скоро лишаетъ читателя териънія-и такимъ образомъ романъ остается недочитаннымъ. Все это отчасти справедливо. Но твмъ болве замвчательно, что и эти недостатки не помъшали Достоевскому оставить такое имя! Мы имъемъ въ немъ писателя почти единственнаго въ иныхъ отношеніяхъ во всемірной литературѣ, и потому намъ невозможно отказываться отъ его изученія, подъ предлогомъ странности или загадочности его произведеній.

"Братья Карамазовы", по нашему мнѣнію, самое значительное произведеніе Достоевскаго, и мы желали бы сдѣлать попытку его изученія. Каждый, знакомый со всѣми романами Достоевскаго, конечно, знаетъ, что въ нихъ обыкновенно лучше всего—начало. Первыя главы "Идіота", вся первая треть "Преступленія и Наказанія"—точно писаны другимъ мастеромъ. Все увлекательно, стройно, послѣдовательно. Затѣмъ творческій матеріалъ какъ-то вдругъ расползается, дѣйствіе ослабѣваетъ, выведенныя лица начинаютъ предаваться какимъ-то менѣе и менѣе понятнымъ поступкамъ и разговорамъ и тогда для читателя наступаетъ настоящее испытаніе... книга читается съ недоумъніемъ и часто со скукою, въ надеждъ встрътить новыя наслажденія гдъ-нибудь случайно, впереди, но эти надежды вознаграждаются все рѣже и рѣже, именно по мъръ приближенія къ концу романа. Въ "Братьяхъ Карамазовыхъ" — надо предварить-этоть искусь начинается довольно скоро: съ прівзда старика Карамазова съ Міусовымъ въ монастырь, къ старцу Засимъ, ужъ завязывается утомительный разговорь и разыгрывается сцена, вовсе даже не претендующая на правдоподобіе. Объ этой манерѣ Достоевскаго не церемониться съ читателемъ скажемъ послѣ. Теперь же считаемъ нужнымъ успокоить, что ни это первое препятствіе, ни другія въ томъ же родъ, какія будуть встръчаться дальше, не должны смущать читателя, потому что въ этомъ романь интересь и богатство художественныхъ прелестей не оскудъвають до самой послъдней строки. Сокровища разсыпаны здъсь на каждомъ шагу и притомъ такъ случайно, что пропускать что-либо было бы крайне рисковано. Въ разговорахъ сплошь и рядомъ попадаются не только геніальнъйшія мысли, афоризмы, обобщенія, --ръчи, полныя самаго потрясающаго паеоса,-но туть же, мимоходомъ, вставлены легенды, анекдоты, приключенія, цёлые разсказы, изъ которыхъ многіе, по своей глубинѣ и разительности, могли бы служить темою отдёльныхъ большихъ произведеній. Всѣ фигуры въ романъ, самыя эпизодическія ихъ здъсь множество--благодаря ли высшему развитію таланта писателя, или вслъдствіе какой-то особенно счастливой полосы вдохновенія-всѣ, до мельчайшихъ, обрисованы въ совершенно законченные оригинальные образы: слуга Карамазова, Григорій, Лизавета Смердящая, помъщикъ Міусовъ, племянникъ его Калгановъ, приживальщикъ Максимовъ, г-жа Хохлова, ея дочь Лиза, капитанъ Мочалка съ семействомъ, Илюшечка, Коля Красоткинъ, семинаристъ-карьеристь Ракитинъ, прокуроръ, слфдователь и адвокать, поляки Подвысоцкій и Врублевскій, содержатель постоялаго двора Трифонъ Борлевичъ, купецъ Самсоновъ, отецъ Өерапонтъ, даже-мужикъ Лягавый, который встрвчается въ разсказъ всего одинъ разъ, спитъ пьяный и затъмъ произноситъ нъсколько словъ-всъ эти лица остаются въ памяти съ своей особенною физіономіею. Я не говорю уже о главныхъ лицахъ, между которыми есть фигуры колоссальныя по глубинъ замысла и выполнения. Въ общемъ романъ представляетъ грандіознъйшую драму, полную движенія и страшныхъ коллизій.

Достоевскій, какъ извѣстно, былъ писатель "идейный" по преимуществу. Какъ свидѣтельствуетъ г. Аверкіевъ, Өедоръ Михайловичъ самъ говорилъ ему, что при созданіи художественнаго произведенія, ему всего важнѣе было напасть на удачную идею, подъ которою онъ разумѣлъ—отвлеченіе, выведенное изъ наблюденія цѣлаго рода однородныхъ фактовъ, изъ изуче-

нія даннаго явленія общественной жизни. Поэтому, прежде, чёмъ перейти къ художественному анализу. "Братьевъ Карамазовыхъ", слъдуетъ остановиться на идеъ романа. Въ этомъ преизведении Достоевский задумалъ большую задачу. Онъ хотълъ показать, что необузданная жадность людей къ благамъ жизни можетъ найти себъ сдерживающій стимуль только въ одной въръ; что въра не только нужна человъчеству практически, но и неизбъжна по свойствамъ его внутренней природы и что ей въ концъ концовъ всегда будетъ принадлежать побъла налъ всякими въяніями, налъ всякими попытками людей уйти отъ ея роковой необхолимости. Здъсь именно весьма близко соприкасаются Левъ Толстой и Достоевскій и-что всего замѣчательнѣе-соприкасаются во времени, когда для нихъ обоихъ вопросъ о въръ сдълался настоятельнымъ. Достоевскій всегда и неизмѣнно, всю свою жизнь, былъ вѣрующимъ; но высказать свою въру вполнъ и окончательно, сдълать ее, такъ сказать, дъйствующимъ лицомъ своего романа онъ нашелъ необходимымъ именно въ то самое время, когда и Левъ Толстой, дописавъ "Анну Каренину" съ какимъ-то раздумьемъ надъ тѣми же вопросами вѣры,--вслёдъ затёмъ уже ушелъ въ нихъ безвозвратно. Это было именно въ самомъ концѣ семидесятыхъ годовъ, когда матеріализмъ былъ, гораздо болѣе въ модѣ и въ силѣ, нежели теперь. Волна уже будто начала опять спадать, чтобы под-

няться, быть можетъ, со временемъ снова,--но тогда мы находились на самомъ ея гребнѣ. Устами прокурора въ дълъ Карамазова, Достоевскій, обозрѣвая то время, говорилъ: "Мрачныя дъла почти перестали для насъ быть ужасными! Гдѣ же причины нашего равнодушія, нашего чуть тепленькаго отношенія къ такимъ дѣламъ, къ такимъ знаменіямъ времени, пророчествующимъ намъ незавидную будущность? Въ цинизмѣ ли нашемъ, въ раннемъ ли истощеніи ума и воображенія столь молодого еще нашего общества, но столь безвременно одряхлѣвшаго? Въ расшатаныхъ ли до основанія нравственныхъ началахъ нашихъ, или въ томъ, наконецъ, что этихъ нравственныхъ началъ, можетъ быть, у насъ совсѣмъ даже и не имѣется. И что же мы читаемъ почти повседневно? Вотъ тамъ молодой блестящій офицеръ высшаго общества, едва начинающій свою жизнь и карьеру, подло, въ въ тиши, безо всякаго угрызенія совъсти зарѣзываетъ мелкаго чиновника. отчасти бывшаго своего благодътеля, и служанку его. чтобы похитить свой долговой документь, а вмъсть и остальныя денежки чиновника: пригодится-де для великосвѣтскихъ моихъ удовольствій и для карьеры моей впереди. Зарѣзавъ обоихъ, уходитъ, подложивъ обоимъ мертвецамъ подъ головы подушки. Тамъ, молодой герой, обвѣшанный крестами за храбрость, разбойнически умерщвляеть на большой дорогъ мать своего вождя и благольтеля и, подговаривая своихъ товарищей, увъряетъ, что она любить его, какъ родного сына и потому послъдуетъ всѣмъ его совѣтамъ и не приметь предосторожностей. Пусть это извергъ, но я теперь, въ наше время, не смью уже сказать, что это только единичный извергъ. Другой и не заръжеть, но подумаеть и почувствуеть точно такъ же, какъ онъ, въ душъ своей безчестенъ точно такъ же, какъ онъ. Въ тиши, наединъ съ своею совѣстью, можеть быть спрашиваетъ себя. да что такое честь и не предразсудокъ ли кровь? Можетъ быть, хрикнутъ противъ меня и скажуть, что я человѣкъ болѣзненный, истерическій, клевещу, чудовищно брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть-и, Боже, какъ бы я былъ радъ тому первый! О, не върьте мнъ, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои: въдь если хоть десятая, хоть двадцатая доля въ словахъ моихъ правда, —то въдь и тогда ужасно! Посмотрите, господа, посмотрите, какъ у насъ застрѣливаются молодые люди, о, безъ малѣйшихъ гамлетовскихъ вопросовъ о томъ, что будеть тамъ? безъ признаковъ этихъ вопросовъ, какъ будто эта статья о духъ нашемъ и о всемъ, что ждетъ насъ за гробомъ, давно похерена въ ихъ природъ, похоронена и песком в засыпана".

Этотъ характерный отрывокъ находится почти въ концѣ книги, но онъ могъ бы составить предисловіе къ роману. Въ немъ именно содержится мотивъ произведенія. Въ этихъ сильныхъ строкахъ чувствуется ароматъ эпохи-то состояніе правовъ, которое вооружило и мыслителя, и художника: перваго — на горячую проповъдь, а второго-на создание глубокихъ трагическихъ образовъ. Подобно тому, какъ въ "Войнъ и Міръ" философія исторіи чередуется съ фабулой романа, такъ и здъсь съ той же фабулой чередуется философія религіи. Этотъ философскій элементь "Братьевъ Карамазовыхъ" такъ общиренъ и глубокъ, что всесторонній разборъ его могъ бы породить цѣлую литературу. Вдаваться въ такой разборъ мы не станемъ, да и не имѣемъ къ тому подготовки. Но этотъ религіозно-философскій элементь играеть такую видную роль въ романъ, такъ близко соприкасается съ дъйствующими лицами и, наконецъ, содержить въ себъ столько оригинальности, глубины и поэзіи, что миновать его невозможно.

II.

Религіозное міровоззрѣніе и общественные идеалы Достоевскаго, выраженные въ "Братьяхъ Карамазовыхъ", могутъ быть предметомъ большихъ споровъ. Здѣсь мыслитель и поэтъ дѣйствовали въ такой близости одинъ отъ другого, что рѣшительно затрудняешься опредѣлить: что слѣдуетъ приписать разуму и что вдохновенію. Притомъ Достоевскій былъ такой искусный діалектикъ, что опять-таки иногда весьма трудно бываетъ сказать, гдѣ онъ убѣдительнѣе: тамъ ли, гдѣ онъ побиваетъ свою собственную теорію, или тамъ, гдѣ онъ ее проводитъ и отстаи-

ваетъ? Да и самыя теоріи его, исходя изъ сердца, требують, для усвоенія ихъ, скорѣе нервной чуткости читателя, нежели пріемовъ логическихъ. Поэтому съ Достоевскимъ, въ его литературной карьеръ, случались замъчательные курьезы: тв общественныя партіи, съ которыми онъ, быть можетъ, въ глубинѣ совершенно расходился, считали его своимъ пророкомъ и. подъ прикрытіемъ этого недоразумѣнія, Достоевскому удавалось высказывать въ печати такія вещи по части нравственности и религіи, которыя у всякаго другого писателя были бы сочтены безусловно нецензурными. Напротивъ того, партіи, съ которыми Достоевскій, въ своихъ отдаленныхъ идеалахъ, быть можетъ, вполнѣ сходился-всегда считали его своимъ противникомъ. Въ сущности, единственное, что было драгоцъннаго для Достоевскаго, это - защита гуманности и въры въ безсмертіе души. Внъ этой въры, по своему мистическому темпераменту, онъ не видълъ и не находилъ никакого спасенія. Такъ называемый "европеизмъ" и общественные перевороты пугали его исключительно съ зрѣнія безвѣрія, насилія и кровопролиточки Общественные же идеалы Достоевскаго тій. были глубоко-христіанскіе, — самой первой эпохи ученія Христа, когда адепты этого ученія скрывались въ катакомбахъ отъ преслъдований римскихъ императоровъ. Въ "Братьяхъ Карамазовыхъ", въ разговорѣ между Иваномъ и Алешей, Достоевскій пом'єстиль удивительную религіоз-

ную поэму въ прозъ "Великій Шиквизиторъ". Поэма эта очень загадочна. Дъйствіе происходитъ въ Испаніи, въ Севильъ, въ самое страшное время инквизиціи, когда въ странѣ ежедневно сжигали на кострахъ еретиковъ. И вотъ, въ эту самую эпоху, на слъдующій день послъ какого-то великолъпнаго "аутодафе", при которомъ, въ присутствіи короля, двора, рыцарей, кардиналовъ и "прелестнъйшихъ придворныхъ дамъ, была сожжена цълая сотня еретиковъ",-Христосъ еще разъ показывается среди людей, на улицахъ Севильи, въ томъ самомъ образъ, въ которомъ Онъ ходилъ три года между людьми пятнадцать въковъ тому назадъ. Народъ непобъдимою силою стремится къ Нему, окружаетъ Его, наростаетъ кругомъ Него, слъдуетъ за Нимъ. Какъ и прежде, изъ одежды Его исходить цълящая сила. Онъ возвращаеть зръніе слѣпорожденному, на паперти Севильскаго собора, въ открытомъ бъломъ гробикъ, воскрешаеть семилѣтнюю дѣвочку... И вдругъ, по площади собора проходитъ самъ кардиналъ, великій инквизиторъ. Это девяностолътній старикъ съ изсохшимъ лицомъ, со впальми глазами изъ которыхъ еще, какъ огненная искорка, свътится блескъ. За нимъ, въ извъстномъ разстоянія, слѣдуютъ мрачные помощники и рабы его и священная стража. Онъ приказываетъ взять Христа, и до того послушенъ былъ ему народъ, что Христа уводять и сажають въ тюрьму. Ночью великій инквизиторъ одинъ, со свътильникомъ въ рукъ,

посъщаетъ плънника. Здъсь въ глубокой и сильной рѣчи, великій инквизиторъ высказываетъ Христу, почему онъ не можетъ допустить Его вторичнаго пребыванія на землѣ и почему онъ завтра же велить сжечь Его на кострв--и завтра же, прибавляетъ онъ: "Ты увидишь, какъ это послушное стадо людей бросится подгребать горячіе угли къ костру Твоему". Причина въ томъ, что ученіе Христа, двйствительно божественное, было, по мнѣнію великаго инквизитора, не подъ силу всему тысячемилліонному человѣчеству, а было доступно развѣ только нъсколькимъ тысячамъ избранныхъ. Христосъ желаль сдёлать людей слишкомъ свободными. "Но нътъ заботы безпрерывнъе и мучительнъе лля человъка, какъ, оставшись свободнымъ, сыскать поскорѣе того, предъ кѣмъ преклониться". Христосъ отвергнулъ въ пустынѣ искушеніе сатаны. А между твмъ сатана ("страшный и умный духъ") предлагалъ Христу именно все то, что могло соединить вокругь него всёхъ людей вмисти, въ общемъ поклонении. Это было, во-первыхъ, знамя хлъба земного, отвергнутое во имя той же свободы и хлѣба небеснаго. Вовторыхъ: чудо, тайна и авторитетъ. Христосъ и этого не принялъ. Онъ жаждалъ свободной вѣры, а не чудесной. Жаждалъ свободной любви, а не рабства невольника предъ могуществомъ, разъ навсегда его ужаснувшимъ. Онъ отвергнулъ и послъдній даръ сатаны, показавшаго Ему царства земныя: Римъ и мечъ Кесаря. Отреченіе Христа было истиннымъ подвигомъ Бога. "Но мы", говоритъ "великій инквизиторъ", давно съ нимъ, т. е. съ сатаною; "мы исправили подвигъ Твой и основали его на чудъ, тайнъ и авторитеть. Мы дали людямъ тихое, смиренное счастье слабосильныхъ существъ, какими они и созданы. Мы заставимъ ихъ работать, но въ свободные часы устроимъ имъ жизнь, какъ детскую игру съ детскими песнями, хоромъ, съ невинными плясками. О, мы разръшимъ имъ грѣхъ, они слабы и безсильны и они будуть любить насъ, какъ дъти, за то, что мы имъ позволяемъ грѣшить. Мы скажемъ имъ, что всякій грѣхъ будетъ искупленъ, если сдѣланъ будетъ съ нашего позволенія; позволяемъ же имъ грѣшить, потому что ихъ любимъ, наказаніе же за грѣхи, такъ и быть, возьмемъ на себя. Возьмемъ на себя, а насъ они будутъ обожать. Самыя мучительныя тайны ихъ совъсти-все, все понесуть они намъ, и мы все разрѣшимъ. И всѣ будуть счастливы, только мы, хранящіе тайну, будемъ несчастливы. Тихо умрутъ они и за гробомъ обрящутъ лишь смерть, но мы сохранимъ секретъ и для ихъ же счастья будемъ манить ихъ наградою небесною и вѣчною... Ты пришелъ намъ мѣшать... Завтра сожгу Тебя. Dixi". Узникъ все слушаетъ инквизитора, проникновенно и тихо смотритъ ему прямо въ глаза и видимо не желаетъ ничего возражать. И вдругъ Онъ приближается къ старику и тихо цѣлуетъ Его въ безкровныя девяностолѣтнія

уста. Въ этомъ и весь отвътъ. Старикъ вздрагиваетъ. Что-то шевельнулось въ концахъ губъ его; онъ идетъ къ двери, отворяетъ ее и говоритъ Христу: ступай и не приходи болъе... не приходи вовсе... никогда, никогда! И выпускаетъ Его на темныя стогны града. Плънникъ уходитъ. –Поцълуй горитъ на сердцъ великаго инквизитора, но старикъ остается въ прежней идеъ. Этимъ оканчивается поэма.

Воть лучшій образець одной изъ тахъ странныхъ загадокъ, которыя во множествъ разсъяны въ произведеніяхъ Достоевскаго. На чьей сторонъ авторъ? На сторонъ Христа, шли на сторонъ великаго инквизитора? Что имъла въ виду доказать поэма: несомнѣнную божественность ученія Христа и кощунственныя продълки Его земныхъ преемниковъ-или, наоборотъ, —пагубную фантастичность Христова ученія и глубокое человѣколюбіе земныхъ пастырей? Тонкая ли это защита церковной политики или смѣлое разоблаченіе ея дерзости? Въ самомъ романѣ Алеша Карамазовъ, которому братъ Иванъ разсказалъ эту поэму, сперва восклицаетъ: "поэма твоя есть хвала Іисусу, а не хула... какъ ты хотвлъ "того", а потомъ говоритъ: "Инквизиторъ твой не въруетъ въ Бога, вотъ и его секретъ!"-"Хотя бы и такъ! Наконецъ-то ты догадался", отвѣчаетъ Иванъ.

Но въдь если великій инквизиторъ не въруетъ въ Бога, то и весь его церковный строй есть ловушка... Вдумывались ли во всъ эти недоумѣнія покровители Достоевскаго, и хорошо ли умѣли постигать этого мистика его противники?

Съ тою же глубокою проницательностью и страстностью Достоевскій дебатируеть и вопросъ о самомъ существовании Бога вообще. и о гармоніи міра. Въ роли скептика выступаетъ все тотъ же Мефистофель,-Иванъ Карамазовъ. Онъ молодъ и образованъ. Онъ много думалъ "о въковъчныхъ вопросахъ, о которыхъ лишь и толкуеть, и думаеть теперь вся молодая Россія", тогда какъ старики ушли въ практическіе вопросы. "Для настоящихъ русскихъ", замъчаетъ Достоевскій, —вопросы о томъ: "есть ли Богъ и есть ли безсмертіе,-первые вопросы и прежде всего". И вотъ Иванъ Карамазовъ пришелъ къ позитивизму. "У меня умъ эвклидовскій, земной, а потому, гдё мнё рёшить, что не отъ · міра сего". Онъ не принимаетъ міровой гармоніи, потому что никогда не могъ понять, какъ можно любить своихъ ближнихъ. "Именно ближнихъ-то, говоритъ онъ, --по-моему, и невозможно любить, а развъ лишь дальнихъ. Чтобы полюбить человъка, надо, чтобъ тотъ спрятался, а чуть лишь покажеть лицо свое -- пропала любовь". Человѣкъ рѣдко согласится признать другого за страдальца, потому, напримъръ, что у этого другого окажется глупое лицо, или что отъ него дурно пахнетъ, или что тотъ когда-то отдавилъ ему ногу. Иногда человъкъ не согласится признать въ другомъ страдальца за

какую-нибудь идею, увидавъ, напримъръ, что v него вовсе не то лицо, какое, по фантазіи его, должно быть у человъка, страдающаго за такую именно идею. Нищіе, по мнѣнію Ивана, особенно благородные нищіе, должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню черезъ газеты. "Отвлеченно можно еще любить ближняго и даже издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было какъ на сценъ, въ балетъ, гдъ нищіе, когда они появляются, приходять въ шелковыхъ лохмотьяхъ и рваныхъ кружевахъ и просятъ милостыню, граціозно танцуя, ну, тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить". Законнъе всего, казалось бы, любить дътей; они страшно отстоять оть людей: совсвмъ будто другое существо и съ другой природой. Но какъ же поступають на свётё съ дётьми? Иванъ приводить потрясающіе приміры звірской жестокости. Особенно страшны два случая. Воть эпизодъ изъ болгарской войны: "Грудной младенчикъ на рукахъ трепещущей матери, кругомъ вошедшіе турки. У нихъ затвялась веселая штучка: они ласкаютъ младенца, смъются, чтобъ его разсмѣшить; имъ удается, младенецъ разсмѣялся. Въ эту минуту турокъ наводитъ на него пистолетъ въ четырехъ вершкахъ разстоянія отъ его лица. Мальчикъ радостно хохочетъ, тянется рученками, чтобъ схватить пистолеть, и вдругъ артистъ спускаетъ курокъ прямо ему въ лицо и раздробляетъ ему головку"... Другой примѣръ взятъ изъ самой мрачной эпохи крѣпостного права, когда одинъ знатный генералъ посадилъ восьми-лѣтняго мальчика на всю ночь въ кутузку за то, что мальчикъ ранилъ камнемъ въ ногу его любимую гончую. Но этимъ наказаніе не кончилось. На другой день, отправляясь на охоту, генералъ приказалъ вывести мальчика изъ кутузки, раздѣлъ его всего до-нага, поставилъ его передъ стаею борзыхъ, затравилъ обезумѣвшаго отъ страха ребенка на глазахъ матери, и псы растерзали его въ клочки!

Становясь втупикъ передъ такими явленіями, Иванъ думаетъ, что "нелъпости слишкомъ нужны на земль, что на нельпостяхъ міръ стоить и что безъ нихъ, можетъ быть, въ немъ ничего бы и не произошло... Страданіе есть, виновныхъ нѣтъ, все одно изъ другого выходитъ прямо и просто"... "Но что мнѣ въ томъ, что это просто, восклицаетъ Иванъ,---мнѣ надо возмездіе, иначе вѣдь я истреблю себя!.. О, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небѣ и подъ землею сольется въ одинъ хвалебный гласъ и все живое и жившее воскликнеть: "Правъ Ты, Господи, ибо открылись пути Твои! Ужъ когда мать обнимется съ мучителемъ, растерзавшимъ псами сына ея, и всв трое возгласять со слезами: "Правъ Ты, Господи, то ужъ, конечно, настанетъ вѣнецъ познанія и все объяснится". Но вотъ тутъ-то и запятая, этого-то я и не могу

принять. И пока я на землъ, я спъщу взять свои мѣры.... Не хочу я, чтобы мать обнималась съ мучителемъ, растерзавшимъ ея сына псами! Не смѣеть она прощать ему! А если не смѣетъ простить, гдъ же гармонія? Есть ли во всемъ мірѣ существо, которое могло бы и имѣло право простить? Не хочу гармоніи, изъ-за любви къ человъчеству не хочу. Я хочу лучше оставаться со страданіями неотмщенными. Лучше уже я останусь при неотмщенномъ страданіи моемъ и неутомленномъ негодовани моемъ, хотя-бы я быль и не правь. Да и слишкомъ не дорого оцѣнили гармонію, не по карману нашему вовсе столько платить за входъ. А потому свой билеть на входъ спѣшу возвратить обратно. И если я честный человъкъ, то обязанъ его возвратить какъ можно заранѣе. Это и дѣлаю. Не Бога я не принимаю, а только билетъ Ему почтительнѣйше возвращаю"...

Этоть монологь Ивана, несмотря на свой полу-семинарскій, полу-вульгарный тонъ, долженъ быть причисленъ, по глубинѣ сарказма, къ злѣйшимъ страницамъ протеста невѣрія. Злорадное остроуміе Мефистофеля, Прометеевскіе вопли Байрона и соблазнительное безбожіе Вольтера едва ли сильнѣе возмущаютъ мысль и чувства противъ вѣры въ божественную гармонію міра, чѣмъ эти язвительныя, выстраданныя строки. Недаромъ глава романа, въ которой происходитъ этотъ разговоръ, названа "Бунтъ".

4*

Приведенные образчики показывають, что не безъ тернистаго пути и не безъ трагическихъ колебаній самаго страшнаго сомнѣнія Достоевскій закалился въ своей вѣрѣ. Но этимъ не исчерпывается элементъ религіозной критики и религіознаго отрицанія въ романѣ. Вопросы вѣры задѣваются въ немъ на каждомъ шагу, людьми самыхъ разнообразныхъ типовъ, со всевозможныхъ точекъ зрѣнія. Старикъ Карамазовъ ведетъ любопытнѣйшіе разговоры о вѣрѣ и съ своими дѣтьми, и съ прислугой, и съ монастырскимъ старцемъ Зосимой.

— Говори, — спрашиваеть онъ Ивана, есть Богъ или нътъ? Только серьезно! Мнъ надо теперь серьезно.

- Нѣтъ, нѣту Бога,

— А безсмертіе есть, ну тамъ какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое?

-- Нѣтъ и безсмертія.

— Никакого?

— Никакого.

--- То есть совершеннъйшій нуль или нъчто? Можетъ быть, нъчто какое -нибудь есть? Все же въдь не ничто!

--- Совершенный нуль.

— Алешка, есть безсмертіе?

— Есть.

— А Богъ и безсмертіе?

— И Богъ, и безсмертіе. Въ Богѣ и без-, смертіе.

— Гм. Въроятно, что правъ Иванъ.

Очень мило острить старикъ Карамазовъ, въ разговоръ съ Алешей насчетъ ада:

"Ну воть и думаю: крючья. А откуда они у нихъ? Изъ чего? Желѣзные? Гдѣ же ихъ куютъ? Фабрика чго ли у нихъ какая тамъ есть? Въдь тамъ, въ монастыръ, иноки навърно полагають, что въ адъ, напримъръ, есть потолокъ. А я вотъ готовъ върить въ адъ, только чтобы безъ потолка, выходить оно какъ будто деликативе, просвещение, по-лютерански, то есть. А въ сущности въдь не все ли равно, съ потолкомъ или безъ потолка? Въдь вотъ вопросъто проклятый въ чемъ заключается! Ну, а коли нътъ потолка, стало быть нътъ и крючьевъ. А коли нътъ крючьевъ, стало быть, и все по боку значитъ, опять невъроятно: кто же меня тогда крючьями-то потащитъ, потому что если ужъ меня не потащать, то что жъ тогда будеть, гдъ же правда на свътъ? Il faudrait les inventer эти крючья для меня нарочно, для меня одного, потому что, если бы ты зналъ, Алеша, какой я срамникъ!...

— Да тамъ нѣтъ крючьевъ, — тихо и серьезно, приглядываясь къ отцу, выговорилъ Алеша.

— Такъ, такъ, однъ только твни крючьевъ. Знаю, знаю..."

Такъ же вышучиваетъ старикъ Карамазовъ и Четыи-Минеи. "Справедливо ли, отецъ великій,—спрашиваетъ онъ Зосиму,—повъствуется гдъ-то о какомъ-то святомъ чудотворцъ, котораго мучили за въру, и когда отрубили ему подъ конецъ голову, то онъ всталъ и поднялъ свою голову и любезно ее лобызаше", и долго шелъ, неся ее въ рукахъ и "любезно ее лобызаше"?..

Лакей Смердяковъ разсуждаеть, "что если попасть въ плёнъ къ азіятамъ и те будуть принуждать подъ страхомъ мучительной смерти перейти въ исламъ, то не было бы грѣха въ томъ, если бы и отказаться при этой случайности отъ Христова, примърно, имени и отъ собственнаго крещенія своего, чтобы спасти твмъ самымъ жизнь свою для добрыхъ дѣлъ, коими въ теченіе лѣть и искупить свое малодушіе". "И безъ того ужъ знаю, —говоритъ онъ, —что царствія небеснаго въ полноть не достигну (ибо не двинулась же по слову моему гора, значить, не очень-то въръ моей тамъ върятъ, и не очень ужъ большая награда меня на томъ свътъ ждетъ), для чего же я еще сверхъ того и безъ всякой уже пользы кожу съ себя дамъ содрать? Ибо если бы кожу мою уже до половины содрали со спины, то и тогда, по слову моему или крику, не двинулась бы сія гора. Да въ этакую минуту не только что сумленіе можетъ найти, но даже отъ страха и самаго разсудка рвшиться можно, такъ что и разсуждать-то будетъ совсѣмъ невозможно. А, стало быть, чѣмъ я туть выйду особенно виновать, если, не видя ни тамъ, ни тутъ своей выгоды, ни награды, хоть кожу-то, по крайней мъръ, свою сберегу? А потому на милость Господню весьма уповая,

питаюсь надеждой, что и совсъмъ прощенъ буду-съ"...

Маловърная дама, г-жа Хохлакова, обращается къ старцу Зосимъ съ жалобами на свои сомнънія. "Будущая жизнь—это такая загадка! И никто-то, въдь никто на нее не отвъчаеть! Видите, я закрываю глаза и думаю: "Если всъ въруютъ, то откуда взялось это? А тутъ увъряютъ, что все это взялось сначала отъ страха передъ грозными явленіями природы и что всего этого нътъ. Ну, что, думаю, я всю жизнь върила — умру и вдругъ ничего нътъ, и только "выростетъ лопухъ на могилъ", какъ прочитала я у одного писателя. Это ужасно! Чъмъ, чъмъ возвратить въру? чъмъ убъдиться?"

— Опытомъ дъятельной любви,—отвъчаетъ! Зосима.

Итакъ, Достоевскій смѣло и рѣзко выставилъ въ своемъ романѣ все, что обыкновенно и повсемѣстно говорится противъ религіи. Тутъ и развратный насмѣшникъ, и смышленный простолюдинъ, и нервная дама, и страдающій мыслитель—всѣ высказываются съ одинаковою силою и откровенностью. Проводя и отстаивая свой религіозный идеалъ, Достоевскій, какъ видите, считается со всѣми этими врагами вѣры. Въ началѣ мы указывали на одновременное обращеніе Льва Толстого и Достоевскаго къ всесторонней разработкѣ религіознаго вопроса и теперь будетъ интересно, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, провести въ этой сферѣ параллель между обоими писателями. Толстой, какъ извъстно, пережилъ личный кризисъ и вышелъ изъ него съ "своей" върой. Полная захватывающей искренности и прямоты исповъдь знаменитаго писателя въ тъхъ мукахъ сомпънія, черезъ которыя онъ перешелъ, и въ томъ чувствѣ отвращенія къ своему прошлому, которое онъ испыталъ, --- все это, конечно, им ветъ много подкупающаго въ пользу его проповъди, "его" въры. Но въ чемъ же эта въра Льва Толстого? Въ той же "дъятельной любви", какъ и у Достоевскаго. Выразителями идеаловъ Достоевскаго въ "Братьяхъ Карамазовыхъ" являются Алеша Карамазовъ и старецъ Зосима. За что же держатся оба эти лица въ своей въръ? За ту же любовь. Алеша въ особенности близокъ къ Толстому. Этого своего героя Достоевскій опредъляетъ такъ: "былъ онъ вовсе не фанатикъ, и, по-моему, по крайней мъръ, даже и не мистикъ вовсе. Заранѣе скажу мое полное мнѣніе: былъ онъ просто ранній человъколюбецъ, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что въ то время она одна поразила его и представила ему, такъ сказать, идеалъ исхода для души его, рвавшейся изъ мрака мірской злобы къ свѣту любви". Старецъ Зосима также представляется инокомъ, въ сущности, очень либеральнымъ, отличающимся величайшею терпимостью ко всякимъ возраженіямъ противъ внѣшней стороны религіи и вообще терпимостью къ "мірской злобъ". Въ самомъ монашествъ Зосима видить ничто иное, какъ тотъ же образъ жизни, на которомъ остановился теперь Левъ Толстой. Въ бесъдахъ и поученіяхъ старца Зосимы "объ инокъ русскомъ и о возможномъ значении его" говорится: "Въ мірѣ все болѣе и болѣе угасаетъ мысль о служении человѣчеству, о братствѣ и о цѣлостности людей и воистину встрёчается мысль сія даже уже съ насмёшкой, ибо какъ отстать отъ привычекъ своихъ, куда пойдеть сей невольникъ, если столь привыкъ утолять безчисленныя потребности свои, которыя самъ же повыдумалъ? И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше... Итакъ, отсѣкаю отъ себя потребности лишнія и ненужныя, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушаніемъ, и достигаю тёмъ, съ помощью Божіей, свободы духа, а съ нею и веселья духовнаго!" Въ другихъ поученіяхъ Зосимы также постоянно встрѣчаются тезисы Толстовской религи: "Помни особенно, что не можешь ничьимъ судіею быти". Или: "Если спросить себя: взять ли силой, али смиренною любовью? Всегда ръшай: возьму смиренною любовью. Смиреніе любовное есть страшная сила, изо всёхъ сильнёйшая, подобной которой и нътъ ничего". Затъмъ "мечтаю видъть и какъ бы уже ясно вижу наше грядущее: ибо будетъ такъ, что даже самый развращенный богачъ нашъ кончитъ твмъ, что устыдится богатства своего предъ бъднымъ, а бъдный, видя смиреніе сіе, пойметь и уступить ему, съ радостью и лаской отвѣтить на благолѣпный стыдъ его" и т. д. Наконецъ, въ одномъ большомъ спорѣ о значеніи церкви, старецъ Зосима высказываеть, что современемъ церковь поглотитъ государство, что государственныя мфры противъ преступленій, т. е. механическія наказанія — никого не исправляють и не устрашають, —что настоящею цвлительницею общества можетъ сдѣлаться только будущая церковь, въ обширнъйшемъ значении этого слова, и что эта будущая церковь будеть понимать преступника и преступление во многихъ случаяхъ совсѣмъ иначе, чъмъ нынъ.-Странно,-замътилъ Зосимъ его оппонентъ (помъщикъ Міусовъ), — устраняется на землѣ государство, а церковь возводится на степень государства! и при этомъ Міусовъ вспомнилъ, что въ Парижъ одинъ сыщикъ ему разсказывалъ, что собственно этихъ всвхъ соціалистовъ, анархистовъ, безбожниковъ и революціонеровъ, шпіоны не очень-то боятся; за ними они слъдятъ и ходы ихъ извъстны. Но есть изъ нихъ, хотя и немного, нъсколько особенныхъ людей: это въ Бога върующіе и христіане, а въ то же время и соціалисты. Вотъ этихъ-то сыщики всего болфе опасаются, это страшный народъ.

— То есть, вы ихъ прикладываете къ намъ и въ насъ видите соціалистовъ? спросилъ отецъ Паисій, послѣдователь Зосимы.—Но здѣсь Достоевскій благоразумно ввелъ новое дѣйствующее лицо на сцену, и споръ прекратился... Таковы религіозно-общественные идеалы Достоевскаго, и они намъ представляются совершенно тождественными, по своимъ практическимъ выводамъ, съ идеалами Толстого, хотя всѣ проповѣдническія произведенія Льва Толстого и появились гораздо позже "Братьевъ Карамазовыхъ".

Есть только, впрочемъ, одна существенная разница между обоими ученіями. Религія Толстого-только практическая. Религія же Достоевскаго проникнута экстазомъ и догмой безсмертія. Достоевскій, для начала довольствуется и внутреннимъ измѣненіемъ человѣка къ добру, и безъ предначертанія для него дальнъйшаго образа жизни видить уже въ одномъ этомъ перерождении могущественную силу, двигающую къ совершенству. У Толстого же этотъ внутренній элементь не играеть такой первостепенной роли. Для насъ было только важно указать, что въ общихъ чертахъ, если только вычесть догму безсмертія, оба мыслителя вполнѣ сошлись въ воззръніяхъ на задачи жизни. Наконецъ, скажемъ, что устами Зосимы Достоевскій отмѣтилъ одну нашу народную особенность: "Народъ вѣрить по-нашему (т. е. какъ Зосима), а невърующій д'вятель у насъ въ Россіи ничего не сдѣлаетъ, даже будь онъ искрененъ сердцемъ и умомъ геніаленъ". Кто изъ этихъ двухъ великихъ народныхъ писателей върнъе понялъ нашъ народъ-судить не беремся.

Искусная и сложная фабула "Братьевъ Карамазовыхъ", въ немногихъ словахъ, состоитъ въ слёдующемъ. Къ старому развратнику и вдовцу Өеодору Павловичу Карамазову, успѣвшему сколотить большой капиталъ, благодаря основнымъ средствамъ, полученнымъ отъ первой жены, и разнымъ сутяжническимъ аферамъ,--съфзжаются его взрослыя дети отъ двухъ браковъ: Дмитрій-отъ перваго, Иванъ и Алешаотъ второго. Дътей этихъ старикъ давно забросиль; они выросли на чужихъ рукахъ. Во время разсказа Дмитрію было 27 лѣтъ, Ивану 24, Алешѣ 20. Събхались они къ отцу, повидимому, случайно. Младшій, Алеша, бросивъ гимназію, прівхалъ разыскивать могилу матери и вдругъ поступилъ послушникомъ въ подгородній монастырь, подъ руководство старца Зосимы. Старшій, Дмитрій, проведя безпорядочную молодость, много покутивъ и потративъ денегъ, оставилъ военную службу на Кавказъ и прівхалъ покончить свои споры съ родителемъ насчетъ материнской доли. Здёсь онъ узналъ отъ старика, что уже все должное отъ него получилъ, но на этомъ не успокоился и оставался въ надеждъ еще раздобыть у отца денегъ. Отношенія Дмитрія къ отцу осложнились еще твмъ, что и онъ, и старикъ одновременно влюбились въ нъкую Грушеньку, соблазнительную красавицу, содержанку умирающаго купца Самсонова. Соперни-

чество изъ-за этой женщины, въ связи съ денежными спорами, очень обостряеть отношенія между Өедоромъ Павловичемъ и Митей. Старикъ и боится сына, и ненавидить его; сынъ же опасается, что отецъ деньгами переманитъ къ себѣ Грушеньку. Соперники шпіонятъ одинъ за другимъ и за Грушенькой. Посредникомъ между врагами, въ глубочайшемъ секреть, состоитъ слуга Өедора Павловича, Смердяковъ, который выдаеть Мить особые условные знаки (стуки въ дверь или окно), по которымъ замкнувшійся у себя въ домъ и поджидающій Грушеньку старикъ-впустить ее къ себъ. Къ тожу же, Митя покинулъ свою невъсту, прекрасную девушку Катерину Ивановну, да еще мало того-растратилъ на кутежъ съ Грушенькой часть денегъ, данныхъ ему невъстой для отсылки къ ея родственницъ въ Москву. Слъдовательно, Мить нужны деньги, какъ для того, чтобы отдать долгъ Катеринъ Ивановнъ и не быть передъ ней "подлецомъ", такъ и для того, чтобы, въ случав согласія Грушеньки жить съ нимъ, увезти ее изъ города. Наконецъ, третій сынъ Карамазова, Иванъ, самый солидный, развитой и образованный, окончивъ курсъ въ университетъ и составивъ себъ даже литературное имя публицистическими статьями, прівхалъ безо всякаго видимаго предлога, поселился въ домъ у отца (тогда какъ другіе жили отдъльно: Алеша въ монастыръ, а Митя-на особой квартиръ) и какъ будто принялъ на себя роль посредника

въ имущественныхъ спорахъ между отцомъ и Митей. И вотъ при такихъ обстоятельствахъ. однажды, подозръвая, что Грушенька проникла въ домъ къ отцу, буйный Митя врывается къ старику въ комнаты и, въ присутствіи братьевъ и прислуги, наноситъ ему побои. А черезъ два дня, ночью, старикъ Карамазовъ былъ убитъ, причемъ возлѣ трупа найденъ былъ пустой конвертъ съ надписью, что въ немъ хранились три тысячи рублей, приготовленные для Грушеньки. Какъ разъ во время этого происшествія, Иванъ, предваренный Смердяковымъ о возможности близкой катастрофы между Митей и отцомъ, увзжаетъ въ Москву, а самъ Смердяковъ впадаеть въ продолжительный припадокъ падучей. Другой же слуга Өедора Павловича, Григорій, въ самую ночь убійства, настигъ Митю, убъгающаго отъ отцовскаго дома и, погнавшись за нимъ, получилъ отъ него тяжкія раны въ голову, отъ которыхъ упалъ безъ чувствъ. Грушенька, между тъмъ, въ эту же ночь, обманувъ обоихъ претендентовъ, уфзжаетъ изъ города навстръчу къ давнишнему и первому любовнику своему, который, овдов'явъ, прівхалъ за нею, чтобы на ней жениться. Узнавъ о ея отъёздъ, Митя, еще со слёдами крови на одеждъ, послѣ избіенія Григорія, вдругъ начинаетъ сорить деньгами, появившимися у него въ большомъ количествъ (добытыми, впрочемъ, какъ оказывается впослѣдствіи, не посредствомъ убійства), закупаетъ роскошное угощеніе и вдеть

преслѣдовать Грушеньку на первую станцію. Тамъ, убъдившись, что Грушенька, послъ пятилётней разлуки, вполнё разочаровалась въ своемъ прежнемъ избранникѣ и любитъ теперь только его, Митю, онъ предается неудержимому кутежу. Къ разсвѣту наѣзжаютъ власти и Митю арестують. Начинается слъдствіе и судъ, и благодаря неотразимымъ уликамъ, присяжные обвиняють Митю. Виновникомъ же убійства въ дъйствительности былъ Смердяковъ, а попустителемъ,---Иванъ Карамазовъ, желавшій поскорѣе имъть въ рукахъ отцовское наслъдство. Иванъ, постигнувшій вполнѣ свою вину только впослѣдствіи и узнавъ секреть отъ Смердякова только наканунъ суда, впадаетъ въ нервную горячку, а Смердяковъ также наканунъ суда въшается. Но тайна эта остается подъ спудомъ и невинноосужденному Мить друзья объщають дать средства для побъга. Грушенька, посвященная въ этотъ планъ и глубоко полюбившая Митю, навсегда соединяетъ съ нимъ свою участь. Таковъ скелеть романа. Мастерство деталей, сложность интриги, величіе главныхъ и характерность второстепенныхъ фигуръ, богатство интересныхъ эпизодовъ и мрачная поэзія всей обширной картины этого произведенія — раскроются передъ нами впослѣдствіи.

Задумавъ глубокій протесть противъ невфрія, плотской необузданности и стяжанія, Достоевскій поставилъ въ центръ своей картины семью Карамазовыхъ. Онъ соединилъ въ этой семьъ наиболње рельефныя черты времени и даже думаль, что самое слово "Карамазовщина" сдълается нарицительнымъ, какъ "Обломовщина". "Можетъ быть, я слишкомъ преувеличиваю, -говорить Достоевскій устами прокурора, --- но, мнѣ кажется, что въ картинѣ этой семейки какъ бы мелькають некоторые общіе основные элементы нашего современнаго интеллигентнаго общества, ---о, не всѣ элементы, да и мелькнуло лишь въ микроскопическомъ видъ, какъ солнце въ малой каплъ воды, но все же нъчто отразилось, нѣчто сказалось". Карамазовщина — это грубый матеріализмъ, а Карамазовскій вопросъборьба вёры и мистицизма съ животнымъ культомъ плоти. "Въ этомъ весь вашъ Карамазовскій вопросъ, говорится въ другомъ мъсть:-сладострастники, стяжатели и юродивые". Юродивые-это люди върующіе: Алеша и старецъ Зосима. И вотъ, задавшись въ своемъ произведеніи провозгласить торжество неба, Достоевскій взялъ для себя антитезой то, что наиболѣе прикрвпляеть человвка къ землв: половую страсть. Крайнимъ выразителемъ этой страсти является старикъ Карамазовъ. Съ него и начнемъ.

IV.

Біографія старика Карамазова не отличается сложностью. Родовой дворянинъ, начавшій карьеру бъднымъ приживальщикомъ, мелкій плутъ и льстивый шутъ, онъ пустилъ въ оборотъ небольшой капиталъ своей первой жены и разбогатълъ ростовщичествомъ. Первая жена Θедора Павловича и мать Дмитрія-была "дама горячая, смѣлая, смуглая, нетерпѣливая, одаренная замѣчательною физическою силою". Она постоянно ссорилась съ мужемъ и била его. Вскоръ, впрочемъ, она сбъжала съ какимъ-то семинаристомъ и умерла въ Петербургѣ. Съ увеличеніемъ капитала, Өедоръ Павловичъ ободрился. Приниженность его исчезла, остался лишь насмѣшливый и злой циникъ и сладострастникъ. Вторую жену онъ взялъ безъ приданаго, прельстившись замъчательной красотой невинной дъвочки. "Меня эти невинные глазки какъ бритвой тогда по душе полоснули"-говариваль онъ потомъ. Пользуясь смереніемъ и безотвѣтностью этой второй жены (матери Ивана и Алеши), Карамазовъ "попралъ ногами самыя обыкновенныя брачныя приличія", привозиль въ домъ тутъ же, при женъ, дурныхъ женщинъ и устраивалъ оргіи. Въ ряду безобразій Өедора Павловича выдается его приключение съ Лизаветой Смердящей. Это была малорослая идіотка, жившая подаяніемъ. Ходила она всю жизнь, лѣтомъ и зимою, босая и въ одной посконной рубахѣ. Говорить она не умѣла, а только изрѣдка шевелила что-то языкомъ и мычала. Спала большею частью по церковнымъ папертямъ и въ огородахъ. Густые, спутанные волосы ея всегда были запачканы въ землъ, въ грязи, съ налипшими въ нихъ листочками, стружками и 5

лучиночками. Однажды случилось, что хмѣльная компанія, въ которой быль и Өедорь Павловичъ, возращаясь изъ клуба, замѣтила ночью. въ крапивъ и лопушпикъ, спящую Лизавету. Одному барченку пришелъ въ голову вопросъ: "Можно ли кому-нибудь счесть такого звъря за женщину?" Өедоръ Павловичъ ръшилъ, что "можно и даже очень и что туть даже нѣчто особаго рода пикантное". Всъ принялись плевать, и авторъ оставляеть подъ сомнѣніемъ. отсталъ ли Өедоръ Павловичъ отъ пьяной ватаги или нътъ, — но вскоръ Лизавета Смердящая, къ недоумѣнію всего города, забеременѣла, а затымъ черезъ надлежащий срокъ послѣ этой ночи, забравшись въ садъ Өедора Павловича, родила у него въ банъ сына, и къ разсвъту умерла. Сына этого окрестили и назвали Павломъ, а по отчеству всѣ его и сами, безъ указу, стали звать Өедоровичемъ. Карамазовъ взялъ подкидыша и сочинилъ ему, по прозвищу матери, фамилію: Смердяковъ. Этотъ Смердяковъ, воспитанный старымъ слугою Карамазова Григоріемъ, сдълался также лакеемъ и вмъстъ поваромъ Өедора Павловича.

Приведемъ для характеристики нъсколько разговоровъ Өедора Павловича съ дътьми. "За коньячкомъ" онъ разсказываетъ сыновьямъ:

"Нътъ, постой, ты меня перебилъ. Въ Мокромъ я провздомъ спрашиваю старика, а онъ мнъ: "Мы оченно, говоритъ, любимъ пуще всего дъвокъ по приговору пороть, и пороть даемъ все парнямъ. Послѣ эту же, которую нонѣ поролъ, завтра парень въ невѣсты беретъ, такъ что оно самимъ дѣвкамъ, говоритъ, у насъ повадно". Каковы маркизы де-Сады, а? А какъ хочешь, оно остроумно. Съѣздить бы и намъ поглядѣть, а? Алешка, ты покраснѣлъ? Не стыдись, дѣтка. Жаль, что я давеча у игумена за обѣдъ не сѣлъ, да монахамъ про Мокрыхъ дѣвокъ не разсказалъ"...

И онъ чмокнулъ себя въ ручку.

- Для меня, -- оживился онъ вдругъ весь, какъ-будто на мгновение отрезвѣвъ, только что попалъ на любимую тему, ---для меня... Эхъ вы, ребята! Дъточки, поросяточки вы маленькія, для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины-вотъ мое правило! Можете вы это поять? Да гдъ же вамъ это понять: у васъ еще вмѣсто крови молочко течеть; не вылупились! По моему правилу во всякой женщинъ можно найти чрезвычайно, чортъ возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь, — только надобно умъть находить, вотъ гдъ штука! Это талантъ! Для меня мовешекъ не существовало: ужъ одно то, что она женщина, ужъ это одно половина всего... да гдъ вамъ это понять! Даже вьельфильки и въ твхъ иногда отыщешь такое, что только диву дашься на прочихъ дураковъ, какъ это ей состариться дали и до сихъ поръ не замѣтили! Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить – вотъ

5*

какъ надо за нее браться. А ты не зналъ? Удивить ее надо до восхищенія, до пронзенія, до стыда, что въ такую чернявку, какъ она, такой баринъ влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будуть хамы да баре не свътъ, всегда тогда будетъ и такая поломоечка, и всегда ея господинъ, а въдь того только и надо для счастья жизни! Постой...слушай, Алешка, я твою мать покойницу всегда удивлялъ, только въ другомъ выходило родѣ. Никогда, бывало, ее не ласкаю, а вдругъ, какъ минутка-то наступитъ,--вдругъ предъ нею такъ весь и разсыплюсь, на колъняхъ ползаю, ножку цалую и доведу ее всегда, всегда, -- помню это какъ вотъ сейчасъ, -- до этакого маленькаго такого смѣшка, разсыпчатаго, звонкаго, не громкаго, нервнаго, особеннаго. У ней только онъ и былъ. Знаю, бывало, что такъ у ней всегда болъзнь начиналась, что завтра же она кликушей выкликать начнеть и что смъшокъ этотъ теперешній, маленькій, никакого восторга не означаетъ, ну да въдь хоть и обманъ да восторгъ. Вотъ оно что значитъ свою черточку во всемъ умѣть находить".

Старикъ вскочилъ въ испугѣ. Алеша съ самаго того времени, какъ онъ заговорилъ о его матери, мало-по-малу сталъ измѣняться въ лицѣ. Онъ покраснѣлъ, глаза его загорѣлись, губы вздрогнули...Пьяный старикашка брызгался слюной и ничего не замѣчалъ до той самой минуты, когда съ Алешей вдругъ произошло нѣчто очень странное, а именно съ нимъ вдругъ повторилось точь-въ-точь то же самое, что сейчасъ только онъ разсказалъ про "кликушу"!

А вотъ еще отрывокъ:

.Я. милъйшій Алексъй Өедоровичъ, какъ можно дольше на свътъ намъренъ прожить, было бы вамъ это извъстно, а потому мнъ каждая копъйка нужна. и чъмъ дольше буду жить, она будетъ нужнѣе, продолжалъ онъ, твмъ похаживая по комнатѣ изъ угла въ уголъ, держа руки по карманамъ своего широкаго, засаленнаго, изъ желтой лѣтней коломянки, пальто.-Теперь я пока все-таки мужчина, пятьдесять иять всего, но я хочу и еще лёть двадцать на линіи мужчины стоять, такъ в'ядь состарѣюсь-поганъ стану, не пойдуть онѣ ко мнѣ тогда доброю волей, ну вотъ тутъ-то денежки мнѣ и понадобятся. Такъ вотъ я теперь и подкапливаю все побольше, да побольше, для одного себя-съ, милый сынъ мой Алексви Өедоровичъ, было бы вамъ извъстно, потому ч10 я въ сквернѣ моей до конца хочу прожить, было бы вамъ это извъстно. Въ сквернъ-то слаще, всѣ ее ругаютъ, а всѣ въ ней живутъ, только всѣ тайкомъ, а я открыто. Вотъ за простодушіе-то это мое на меня всѣ сквернавцы и накинулись. А въ рай твой, Алексъй Өедоровичъ, я не хочу, это было бы тебѣ извѣстно, да порядочному человѣку оно даже въ рай-то твой и неприлично, если даже тамъ и есть онъ. По-моему, заснулъ и не проснулся и, нътъ ничего, поминайте меня, коли хотите, а не хоНаконецъ отмътимъ наружность старика Карамазова:

"Кромѣ длинныхъ мясистыхъ мѣшечковъ подъ маленькими его глазами, вѣчно наглыми. подозрительными и насмъшливыми, кромъмножества глубокихъ морщинокъ на его маленькомъ, но жирненькомъ личикъ, къ острому подбородку его подвѣшивался еще большой кадыкъ, мясистый и продолговатый, какъ кошелекъ, что придавало ему какой-то отвратительносладострастный видъ. Прибавьте къ тому плотоядный, длинный ротъ, съ пухлыми губами, изъ-подъ которыхъ виднѣлись маленькіе обломки черныхъ, почти истлѣвшихъ зубовъ. Онъ брызгался слюной каждый разъ, когда начиналъ говорить. Впрочемъ, и самъ онъ любилъ шутить надъ своимъ лицомъ, хотя, кажется, оставался имъ доволенъ. Особенно указывалъ онъ на свой носъ, не очень большой, но очень тонкій, съ сильно выдающеюся горбиной: "настоящій римскій", говориль онь, "вмѣстѣ съ кадыкомъ настоящая физіономія древняго римскаго патриція временъ упадка". Этимъ онъ, кажется, гордился".

Соединеніе всъхъ этихъ штриховъ даетъ, по нашему мнѣнію, такое, хотя и преувеличенное, но яркое лицо, что старикъ Карамазовъ долженъ отнынѣ считаться такимъ же символомъ сластолюбія, какъ Плюшкинъ скупости, Отел-

- 70 -

софія".

ло-ревности. и т. п. Никто, можно сказать, до сихъ поръ не осмѣливался съ такой судорожной гастрономіей углубляться въ половую похоть, какъ Достоевскій. Реалисты-скоромники Мапассанъ и Зола. Боккачіо съ своимъ наивнымъ цинизмомъ и самый маркизъ де-Садъ не дописывались до защиты амурныхъ отношений съ Лизаветой Смердящей, или до глубокомысленнаго рецепта, что "надо только ум'вть удивить до пронзенія и стыда", или, наконецъ, до изображенія такихъ сценъ, чтобы старый отецъ разсказывалъ своему сыну-идеалисту, какъ онъ умѣлъ развращать его покойную мать, больную страдалицу!.. Въ такія нѣдра сенсуализма могъ проникнуть только мистикъ и эпилептикъ. Для здоровой и веселой порнографіи эти тайны нервной системы вовсе недоступны. Но какъ бы тамъ ни было, старикъ Карамазовъ, созданный Достоевскимъ, никогда не умретъ между всемірными знаменитостями разврата.

V.

Слѣдующей фигурой романа, къ которой теперь всего естественнѣе будетъ перейти, является соперникъ Өедора Павловича въ преслѣдованіи Грушеньки—его старшій сынъ Дмитрій или Митя, какъ вездѣ называетъ его авторъ. На немъ построенъ весь драматическій механизмъ романа и потому объ этомъ лицѣ намъ придется говорить пространнѣе, чѣмъ о прочихъ. Въ Митъ, унаслъдовавшемъ сластолюбіе отца. мы видимъ, однако же, глубокое внутреннее раздвоеніе. Митя былъ человъкъ "ума отрывистаго и неправильнаго". Прокуроръ опредълилъ его въ своей рѣчи, какъ "натуру широкую, способную совмѣщать въ себѣ всевозможныя противоположности и разомъ созерцать объ бездны: бездну надъ нами, бездну высшихъ идеаловъ, и бездну подъ нами, бездну самаго низшаго и зловоннаго паденія". Та же рѣчъ прокурора намекаетъ, что Достоевскій видѣлъ въ лицѣ своего Мити натуру русскую по преимуществу: "тутъ она, наша Рассеюшка: пахнетъ ею, слышится она, матушка!" Отцовское сладострастіе сочеталось у Дмитрія съ какимъ-то своеобразнымъ романтизмомъ. Порочность свою Митя съ жаромъ проповъдуетъ передъ Алешей:

> "Чтобъ изъ низости душою Могъ подняться человѣкъ, Съ древней-матерью землею Онъ вступи въ союзъ на вѣкъ".

"Но только, воть въ чемъ дѣло: какъя вступлю въ союзъ съ землею на вѣкъ? Я не цѣлую землю, не взрѣзаю ей грудь; что жъ мнѣ мужикомъ сдѣлаться аль пастушкомъ? Я идуине знаю: въ вонь ли я попалъ и позоръ или въ свѣтъ и радость. Вотъ вѣдь гдѣ бѣда, ибо все на свѣтѣ загадка! И когда мнѣ случалось погружаться въ самый, въ самый глубокій позоръ разврата (а мнѣ только это и случалось), то я всегда это стихотворение о Цереръ и о человъкъ читалъ. Исправляло оно меня? Никогда! Потому что я Карамазовъ. Потому что если ужъ полечу въ бездну, то такъ-таки прямо, головой внизъ и вверхъ пятами, и даже доволенъ, что именно въ унизительномъ такомъ положении падаю и считаю это для себя красотой. И вотъ въ самомъ-то этомъ позоръ я вдругъ начинаю гимнъ. Пусть я проклятъ, пусть я низокъ и подлъ, но пусть и я цёлую край той ризы, въ которую облекается Богъ мой; пусть я иду въ то же самое время вслёдъ за чортомъ, но я все-таки и Твой сынъ, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, безъ которой нельзя міру стоять и быть. Я тебѣ хочу сказать теперь о "насѣкомыхъ", вотъ о тѣхъ, которыхъ Богъ одарилъ сладострастьемъ.

"Насъкомымъ-сладострастье!"

Я, брать, это самое насѣкомое и есть, и это обо мнѣ спеціально и сказано. И мы всѣ Карамазовы такіе же, и въ тебѣ, ангелѣ, это насѣкомое живеть, и въ крови твоей бури родить. Это — бури, потому что сладострастье — буря, больше бури! Красота--это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопредѣлимая, а опредѣлить нельзя, потому что Богъ задалъ однѣ загадки. Тутъ берега сходятся, тутъ всѣ противорѣчія вмѣстѣ живуть. Я, брать, очень необразованъ, но я много объ этомъ думалъ. Страшно много тайнъ! Слишкомъ много зага-

докъ угнетають на землъ человъка. Разгадывай, какъ знаешь, и вылъзай сухъ изъ воды. Красота! Перенести я при томъ не могу, что иной, высшій даже сердцемъ человѣкъ и съ умомъ высокимъ, начинаетъ съ идеала Мадонны, а кончаетъ идеаломъ Содомскимъ. Еще страшнѣе, кто уже съ идеаломъ Содомскимъ въ душѣ не отрицаеть и идеала Мадонны, и горить отъ него сердце его, и воистину, воистину горить, какъ и въ юные безпорочные годы. Нътъ, широкъ человъкъ, слишкомъ даже широкъ, я бы сузилъ. Чортъ знаетъ, что такое даже, вотъ что! Что уму представляется позоромъ, то сердцу сплошь красотой. Въ Содомъ ли красота? Върь, что въ Содомѣ-то она и сидить для огромнаго большинства людей, — зналь ты эту тайну иль нъть? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тутъ дьяволъ съ Богомъ борется, а поле битвы-сердца людей"....

"У меня деньги — аксессуаръ, жаръ души, обстановка. Нынѣ вотъ она моя дама, завтра на ея мѣстѣ уличная дѣвчонка. И ту, и другую веселю, деньги бросаю пригоршнями, музыка, тамъ, цыганки. Коли надо и ей даю, потому что берутъ, берутъ съ азартомъ, въ этомъ надо признаться, и довольны, и благодарны. Барыньки меня любили, не всѣ, а случалось, случалось; но я всегда переулочки любилъ, глухіе и темные закоулочки, за площадью, — тамъ приключенія, тамъ неожиданности, тамъ самородки въ грязи. Я, братъ, аллегорически говорю. У насъ въ го-

родишкъ такихъ переулковъ вещественныхъ не было, но нравственные были. Но если бы ты былъ то, что я, ты понялъ бы, что это значитъ. Любилъ развратъ, любилъ и срамъ разврата. Любилъ жестокость: развъ я не клопъ, не злое насъкомое? Сказано-Карамазовъ! Разъ пикникъ всёмъ городомъ былъ, поёхали на семи тройкахъ; въ темнотѣ, зимой, въ саняхъ, сталъ я жать одну сосъдскую дъвичью ручку и принудилъ къ поцѣлуямъ эту дѣвочку, дочку чиновника, бъдную, милую, кроткую, безотвътную. Позволила, многое позволила въ темнотъ. Думала, бъдняжка, что я завтра за ней пріъду, и предложение сдѣлаю (меня вѣдь, главное, за жениха цѣнили); а я съ ней послѣ того ни слова, пять мѣсяцевъ ни полслова. Видѣлъ, какъ слѣдили за мной изъ угла залы, когда бывало танцують (а у насъ то-и-дълс что танцують), ея глазки, видълъ, какъ горъли огонькомъ --огонькомъ кроткаго негодованія. Забавляла эта игра только мое сладострастіе насѣкомаго, которое я въ себъ кормилъ. Чрезъ пять мъсяцевъ она за чиновника вышла и убхала... сердясь и все еще любя, можетъ быть. Теперь они счастливо живуть. Замъть, что я никому не сказалъ, не ославилъ; я хоть и низокъ желаніями, и низость люблю, но я не безчестенъ".

Еще характернъе исторія Дмитрія съ его невъстой Катериной Ивановной. Это была дъвушка высоко-цъломудренная и гордая. Ея отецъ растратилъ казенныя деньги, нагрянула ревизія и онъ долженъ былъ идти подъ судъ. Дмитрій, между тъмъ, еще ранъе далъ понять ея родственникамъ, что деньги на пополнение растраты у него есть и что онъ ихъ дастъ охотно, если гордая Катерина Ивановна сама придетъ за ними къ нему на квартиру. Въ роковую минуту Катерина Ивановна пришла. Митя наслаждался ея униженіемъ, смущеніемъ и страхомъ. Его соблазняло поступить съ ней, какъ подобаетъ "клопу, злому тарантулу, безо всякаго сожальнія". У него даже духъ пересвкло... И вдругъ онъ, молча, передалъ ей деньги и самъ отворилъ дверь въ сѣни. Она вздрогнула и мягко, гдубоко, тихо склонилась-и прямо ему въ ноги-"лбомъ до земли, не по-институтски, а по-русски"! Съ тъхъ поръ она его полюбила.

Этотъ небольшой, потрясающій разсказъ задуманъ и сдѣланъ Достоевскимъ съ такимъ мастерствомъ, что онъ самъ по себѣ составляетъ вполнѣ законченный шедевръ, который, будучи выдѣленъ изъ "Братьевъ Карамазовыхъ", могъ бы быть причисленъ къ лучшимъ разсказамъ въ нашей литературѣ.

Итакъ, человѣкъ съ низкими инстинктами и въ то же время съ идеальными порывами, груоый и отчаянный, и тутъ же способный къ внезапному великодушію, Митя –характеръ по преимуществу драматическій. Благодаря своей пылкости и непослѣдовательности, Митя попадаетъ въ сплетеніе самыхъ сложныхъ интересовъ и приключеній. Катерина Ивановна слу-

чайно разбогатъла и сдълалась его невъстой. Но Митя тъмъ временемъ до безумія увлекся Грушенькой. Зналъ онъ, что Грушенька старикакупца Самсонова обираеть и на злые проценты живеть. Пошелъ бить ее, говорилъ онъ---да у ней и остался. Ударила чума, заразился. У Грушеньки-шельмы есть одинъ такой изгибъ тъла, онъ и на ножкъ у ней отразился, даже въ пальчикв-мизинчикв на левой ножкв отозвался. Видѣлъ и цѣловалъ, но-и только". Три тысячи, порученныхъ ему невъстой для отсылки въ Москву, Митя на половину прокутилъ съ Грушенькой на постояломъ дворъ, въ Мокромъ. Весь секретъ романа, на которомъ до конца поддерживается любопытство читателя и на которомъ построены всв послвдующія компликація, состоить въ томъ, что Митя прокутилъ именно только половину этихъ денегъ, а остальную половину, въ глубочайшей тайнъ, зашилъ въ ладанку и носилъ на груди въ намъреніи отдать ихъ Катеринъ Ивановнъ. Потому что въ такомъ случав, размышлялъ Митя, онъ будетъ «все, что угодно, и звърь, и подлецъ, но ужъ не воръ, не воръ окончательно, ибо, если бъ воръ, то навѣрно бы не принесъ назадъ половину сдачи, а присвоилъ бы и ее". Какъ видите, въ характеръ Дмитрія есть что-то, такъ сказать, искренно-театральное. Какіе-то смутные идеалы носятся надъ нимъ, какъ призраки, и не дають ему окончательно погрязнуть въ порокъ. Торжественныя слова о чести и о душевномъ величіи готовы у него сорваться среди самаго звърскаго буйства. Его глубокое убъжденіе, что къ остальнымъ, уцёлёвшимъ деньгамъ Катерины Ивановны онъ не смѣлъ въ то время прикоснуться-для большинства показалось впослёдствіи неправдоподобнымъ и, благодаря этому, въ связи съ другими несчастными случайностями, Митя подъ конецъ погибъ жертвою заблужденія следственной и судебной власти. Итакъ, три тысячи нужны были Митъ до-зарѣзу, для разсчета съ Катериной Ивановной и для отъъзда съ Грушенькой, съ которой онъ думалъ въ то время соединиться на всю жизнь, какъ ея върный рабъ, очистивъ себя предварительно отъ какихъ бы то ни было упрековъ совъсти за свое прошлое. Грушеньку онъ считалъ корыстной, какъ всъхъ женщинъ вообще. Онъ тогда еще не разгадалъ, какая глубокая, честная, правдивая и самоотверженная натура таилась въ этой полнотвлой и великолъпной содержанкъ купца Самсонова, который пріютилъ ее какъ сироту и по отношенію къ которому она отличалась самою цёломудренною честностью. Правда и то, что Достоевскій, по всегдашней манеръ своей дълать изъ женскихъ характеровъ какой-то мудренъйшій сфинксъ, и Грушеньку представилъ сначала въ обманчивыхъ краскахъ. Инстинктъ, однако, говорилъ Дмитрію, что онъ жить безъ Грушеньки не можетъ. "Знаю, --- говорилъ онъ на своемъ напыщенномъ языкѣ,-что ужъ все кончено, что ничего другого и никогда не будеть. Циклъ временъ совершенъ!" Между тѣмъ Өедоръ Павловичъ (какъ передалъ Дмитрію Смердяковъ) уже приготовилъ для Грушеньки пакетъ съ тремя тысячами, съ надписью: "Ангелу моему, Грушенькѣ, коли захочешь придти", причемъ въ тягостныя минуты ожиданій, прибавилъ къ надписи: "и цыпленочку".

Съ большимъ искусствомъ Достоевскій подготовляеть въ читателъ полнъйшую иллюзію, что Дмитрій сдълается отцеубійцей. Еще въ началѣ романа, въ монастырѣ, куда прибыла семья Карамазовыхъ на совѣщаніе къ Зосимѣ.--Зосима. въ концъ бесъды, неожиданно и безъ всякаго видимаго повода, кладетъ передъ Митей земной поклонъ и уходить. Въщій старець этимъ символомъ предсказываетъ ему страданіе. Затѣмъ все чаще и чаще упоминается слово "катастрофа". Вражда Мити къ отцу ростетъ и, опъ, не ствсняясь, со свойственную ему рвзкостью, повсюду высказываеть свою ненависть къ старику. Опасность потерять Грушеньку увеличивается. А денегь нътъ, а деньги необхолимы. Митя цёпляется за самые невозможные проекты добыть денегъ. Здъсь именно Достоевскій съ мастерствомъ и энергіею великаго драматурга проводитъ своего героя черезъ самыя мучительныя неудачи, чтобы окончательно истощить его терпъніе. Митя затъваетъ достать денегъ у Грушенькинаго покровителя, Самсонова, черезъ продажу ему своего процесса съ отцомъ

на остатокъ наслъдства. Дътская надежда, съ которой овъ идетъ къ Самсонову, сцена ихъ знакомства, безтолковая и одушевленная рѣчь Мити съ предложеніемъ этой нельпой аферы и главное-его торопливость совершить акть теперь же, впрочемъ, у нотаріуса, съ этимъ умирающимъ отъ водяной старикомъ-и короткій, безотрадный отвёть Самсонова на патетическую рѣчь Дмитрія: "извините-съ, мы этакими дѣлами не занимаемся"--все это сдѣлано превосходно. Самсоновъ, однако, ехидно совътуетъ Митъ предложить эту сдёлку крестьянину Лягавому, торгующему лѣсомъ, въ 12 верстахъ отъ города. Легковърный Митя и на этотъ совътъ уже смотритъ, какъ на благодъяніе. Деньги нужны съ часу на часъ, а онъ долженъ фхать за 12 версть, да и денегъ на повздку нътъ! Онъ закладываеть часы и вдеть къ Лягавому. Съ трудомъ розыскиваетъ онъ этого мужика и --увы! застаеть его мертвецки пьянымъ въ такомъ глубокомъ снъ, что и растолкать его невозможно. Стиснувъ зубы, Дмитрій остается на ночь въ избъ, чуть не угораетъ, освъжаетъ избу, къ разсвъту немного засыпаетъ и когда пробуждается, то, къ ужасу своему, видитъ, что Лягавый успёль проснуться и вновь напился до чортиковъ, такъ что на всѣ его предложенія онъ упорно говоритъ: "врешь!" "В-врешь: ты красильщикъ!"-Въ отчаяни возвращается Митя въ городъ и дълаетъ еще попытку добыть денегъ-пробуетъ занять ихъ у г-жи Хохлаковой.

Эта дама, въ длинномъ разговоръ, исполненномъ водевильнаго недоразумвнія, какъ будто обольщаетъ Митю живъйшею готовностью дать деньги и въ концѣ объявляетъ, что у нея нѣтъ ни копъйки, а что она все время говорила о своихъ пріискахъ. "У меня теперь совсѣмъ нѣтъ денегъ", тономъ, требующимъ участія, заключаетъ Хохлакова. Потерявъ всѣ надежды, Дмитрій, какъ помѣшанный, идетъ за своей Грушенькой въ домъ купца Самсонова, гдъ у нихъ была условлена встрѣча-и тамъ ее не находить. Она его обманула, она скрылась... Куда?.. Въ ярости захватываетъ онъ съ собою пестикъ и бъжитъ къ дому отца... Здъсь-то, подъ самымъ окномъ Өедора Павловича, Достоевскій вдругь обрываетъ разсказъ, ставитъ многоточіе-и затъмъ показываеть намъ Митю, уже бъгущимъ отъ отцовскаго дома и повергающимъ поднявшагося за нимъ Григорія нанесеніемъ ему ранъ въ голову.

Внезапное обогащеніе Мити (въ сущности отъ того, что онъ, съ отчаянія, потерявъ Грушеньку, ръшился истратить зашитыя въ ладанку деньги Катерины Ивановны), кровь на его платьъ и его трагическая растерянность опять поддерживаютъ въ читателъ полное убъжденіе, что Митя убилъ отца. Каждое движеніе, каждое слово Мити у чиновника Перхотина, куда онъ приходитъ тотчасъ послъ катастрофы, съ изумительной върностью рисуютъ человъка, потрясеннаго и угнетеннаго преступленіемъ. Загадочность нъ-

6

которыхъ отвътовъ Мити и вдругъ его какъ бы наивная дов врчивость, потомъ какая-то отчаянръшимость, затьмъ автоматичность ная его репликъ, или разсвянность рядомъ съ обострившеюся наблюдательностью, обращенною, напримъръ, на собачку приказчика, о которой онъ разспрашиваеть и вспоминаеть другую собачку съ задней сломаной ножкой — во всемъ этомъ такъ и блешетъ творческое богатство автора и его необычайная нервная чуткость. Такъ же удивительно описаны допросъ Мити на слъдствіи и затёмъ судъ надъ нимъ. Допросъ Мити совѣтуемъ каждому перечесть послѣ окончанія романа еще разъ. Въ первоначальномъ чтеніи получается невольное впечатлъніе искусственности и неубъдительности Митиныхъ оправданій: остается полное убъждение, что онъ виновать. Напротивъ, когда книга кончена и невинность Мити вполнъ открыта читателю, тогда видишь всю близорукость и всё промахи допрашивающихъ. Митя, знающій свою невиновность, разсчитываеть очень скоро покончить съ слѣдователемъ и прокуроромъ: "Я вамъ докажу и вы убъдитесь мгновенно. Вы будете смъяться, господа, сами будете хохотать надъ вашимъ подозрѣніемъ". Между тѣмъ такой тонъ обвиняемаго звучить какой-то наглой, отчаянной бравадой. Кромъ того, Митя постоянно ссылается на свое благородство: "съ вами говоритъ благороднъйшее лицо, главное - это не упускайте изъ виду-человъкъ, надълавшій бездну подлостей.

но всегда бывшій и оставшійся благороднѣйшимъ существомъ, какъ существо внутри, въ глубинѣ, ну, однимъ словомъ, я не умѣю выразиться". Но и это не дѣйствуетъ, и это кажется актерствомъ. Тутъ же Митя, по своей откровенности, сплошь и рядомъ, губитъ себя неосторожностью: онъ постоянно выражается очень сильно и о своей ненависти къ отцу, и о нуждѣ въ деньгахъ: "хотълъ скоръй заръзать кого-нибудь, а достать три тысячи"--и все это записываютъ, записываютъ... Нѣкоторые вопросы просто сердятъ Митю.

--- Благоволите же разсказать, какъ вы вооружились пестикомъ.?

- Извольте, благоволю.

И Митя разсказалъ, какъ онъ взялъ пестикъ и бѣжалъ.

--- Но какую же цёль имёли вы въ предметё, вооружаясь такимъ орудіемъ?

— Какую цъль? Никакой цъли! Захватилъ и побъжалъ.

— Зачъмъ же, если безъ цъли?

Въ Митѣ кипѣла досада. Ему становилось все стыднѣе и стыднѣе, что онъ сейчасъ такъ искренно и съ такимъ изліяніемъ разсказалъ "такимъ людямъ" исторію своей ревности.

— Наплевать на пестикъ! вырвалось у него вдругъ.

- Однако же-съ.

— Ну, отъ собакъ схватилъ. Ну, темнота... Ну, на всякій случай. — А прежде вы тоже брали, выходя ночью со двора, какое-нибудь оружіе, если боялись такъ темноты?

— Э, чорть, тьфу! Господа, съ вами буквально нельзя говорить! вскрикнулъ Митя въ послѣдней степени раздраженія и, обернувшись къ писарю, весъ покраснѣвъ отъ злобы, съ какоюто изступленною ноткой въ голосѣ быстро проговорилъ ему:—Запиши сейчасъ... сейчасъ... "что схватилъ съ собой пестикъ, чтобы бѣжать убить отца моего... Өедора Павловича... ударомъ по головѣ!" Ну, довольны ли вы теперь господа? Отвели душу? проговорилъ онъ, установясь съ вызывомъ на слѣдователя и прокурора.

— Мы слишкомъ понимаемъ, что подобное показаніе вы дали сейчасъ въ раздраженіи на насъ и въ досадѣ на вопросы, которые мы вамъ предлагаемъ, которое вы считаете мелочными и которые въ сущности весьма существенны, сухо проговорилъ ему въ отвѣтъ прокуроръ.

--- Да, помилуйте же, господа! Ну, взялъ пестикъ... Ну, для чего берутъ въ такихъ случаяхъ что-нибудь въ руку? Я не знаю для чего. Схватилъ и побъжалъ. Стыдно, господа, passons, а то, клянусь, я перестану разсказывать...

Недоумъніе между объими сторонами все болье и болье возрастаеть, точно онъ говорять на разныхъ языкахъ. Возникаетъ подавляющая Митю путаница относильно денегъ, которыя онъ тратилъ. Насчитываютъ, что онъ въ первый кутежъ потратилъ съ Грушенькой три тысячи, а не полторы (такъ онъ въ тотъ разъ хвастался свидѣтелямъ и всѣ сочли за правду), да что теперь, послѣ убійства, у него оказались новыхъ три тысячи. Кабатчикъ показываетъ противъ Мити: "а тамъ, въ залѣ, когда хоръ подчевали, такъ прямо закричали, что шестую тысячу здѣсь оставляете,—съ прежними, то есть оно такъ понимать надо".—Показаніе о шестой тысячѣ было принято съ необыкновеннымъ впечатлѣніемъ допрашивающими. "Понравилась новая редакція: три да три—значитъ шесть, стало быть три тысячи тогда, да три тысячи теперь, вотъ онѣ и всѣ шесть—выходило ясно".

Въ связи съ этимъ возникаетъ полнъйшее недовъріе къ Митиной ладанкъ съ зашитыми будто бы въ нее полутора тысячами. Допросъ объ этой ладанкъ верхъ совершенства.

--- Ну, вотъ видите-съ, всѣ, всѣ свидѣтельствуютъ. Такъ вѣдь значитъ же что нибудь слово всю.

— Ничего не значитъ, я совралъ, а за мной и всѣ стали врать.

— Да зачѣмъ же вамъ-то такъ надо было "врать", какъ вы изъясняетесь?

— А чорть знаеть. Изъ похвальбы, можеть быть... такъ... что воть такъ много денегъ прокутилъ... Изъ того, можетъ, чтобъ объ этихъ зашитыхъ деньгахъ забыть... да, это именно оттого... чортъ... который разъ вы задаете этотъ вопросъ? Ну совралъ и кончено, разъ совралъ и не хотѣлъ ужъ переправлять. Изъ-за чего иной разъ вретъ человѣкъ?

— Это очень трудно рѣшить, Дмитрій Өедоровичъ, изъ-за чего вретъ человѣкъ, внушительно проговорилъ прокуроръ. — Скажите, однако, велика ли была эта, какъ вы называете ее, ладанка, на вашей шеѣ?

— Нътъ, невелика.

— И какой, напримъръ, величины?

— Бумажку сторублевую пополамъ сложить, вотъ и величина.

— А лучше бы вы намъ показали лоскутки? Въдь они гдъ-нибудь при васъ.

— Э, чортъ... какія глупости... я не знаю, гдѣ они.

— Но позвольте, однако: гдѣ же и когда вы ее сняли съ шеи? Вѣдь вы, какъ сами показываете, домой не заходили?

— А вотъ какъ отъ Өени вышелъ и шелъ къ Перхотину, дорогой и сорвалъ съ шеи и вынулъ деньги.

- Въ темнотъ?

— Для чего тутъ свѣчка? Я это пальцемъ въ одинъ мигъ сдѣлалъ.

— Безъ ножницъ, на улицъ?

— На площади, кажется; зачѣмъ ножницы? Ветхая тряпка сейчасъ разодралась.

— Куда же вы ее потомъ дѣли?

— Тамъ же и бросилъ.

- Гдѣ именно?

— Да на площади же, вообще на площади!

Чортъ ее знаетъ, гдѣ на площади. Да для чего вамъ это?

— Это чрезвычайно важно, Дмитрій Өедоровичъ: вещественныя доказательства въ вашу же пользу и какъ это вы не хотите понять? Кто же вамъ помогалъ зашивать мѣсяцъ назадъ?

- Никто не помогалъ, самъ зашилъ.

— Вы умѣете шить?

— Солдать долженъ умѣть шить, а тутъ и умѣнья никакого не надо.

— Гдѣ же вы взяли матеріалы, то есть эту тряпку, въ которую зашили?

- Неужто вы не смѣетесь?

 Отнюдь нѣтъ, и намъ вовсе не до смѣха, Дмитрій Өедоровичъ.

- Не помню, гдъ взялъ тряпку, гдъ-нибудь.

- Какъ бы, кажется, этого-то ужъ не запомнить?

— Да ей-Богу же не помню, можетъ, что-нибудь разодралъ изъ бѣлья.

— Это очень интересно: въ вашей квартирѣ могла бы завтра отыскаться эта вещь, рубашка, можетъ быть, отъ которой вы оторвали кусокъ. Изъ чего эта тряпка была: изъ холста, изъ полотна?

— Чортъ ее знаетъ, изъ чего. Постойте... Я, кажется, ни отъ чего не отрывалъ. Она была коленкоровая... Я, кажется, въ хозяйкинъ чепчикъ защилъ.

- Въ хозяйкинъ чепчикъ?

— Да, я у ней утащилъ.

— Какъ это утащили?

— Видите, я, дъйствительно, помнится, какъто утащилъ одинъ чепчикъ на тряпки, а можетъ, перо обтирать. Взялъ тихонько, потому никуда негодная тряпка, лоскутки у меня валялись, а тутъ эти полторы тысячи я взялъ и зашилъ... Кажется, именно въ эти тряпки защилъ. Старая коленкоровая дрянь, тысячу разъ мытая.

— И вы это твердо уже помните?

-- Не знаю, твердо ли. Кажется въ чепчикъ. Ну, да наплевать.

— Въ такомъ случав ваша хозяйка могла бы, по крайней мърв, припомнить, что у нея пропала эта вещь?

- Вовсе нѣтъ, она и не хватилась. Старая, говарю вамъ, старая тряпка, гроша не стоитъ.

— А иголку откуда взяли, нитки?

— Я прекращаю, больше не хочу. Довольно! разсердился, наконецъ, Митя.

— И странно опять-таки, что вы такъ совсѣмъ ужъ забыли, въ какомъ именно мѣстѣ бросили на площади эту... ладанку.

— Да велите завтра площадь выместь, можеть, найдете, усмѣхнулся Митя. Довольно, господа, довольно, —измученнымъ голосомъ порѣшилъ онъ. — Вижу ясно: вы мнѣ не повѣрили! Ни въ чемъ и ни на грошъ! Вина моя, а не ваша, не надо было соваться. Зачѣмъ, зачѣмъ я омерзилъ себя признаніемъ въ тайнѣ моей! А вамъ это смѣхъ, я по глазамъ вашимъ вижу. Это вы меня, прокуроръ, довели! Пойте себѣ гимнъ, если можете... Будьте вы прокляты, истязатели!

Такимъ-то способомъ Митя окончательно компрометируетъ себя и гибнетъ. Митю обыскиваютъ и раздѣваютъ--и это его приводитъ въ ужасъ, "Коли всѣ раздѣты, такъ не стыдно, а одинъ раздѣтъ, а всѣ смотрятъ-позоръ". Платье у него отбираютъ и даютъ ему чужое, которое сидитъ на немъ "унизительно узко". Въ концѣ допроса происходитъ чисто-русская сцена, характеризующая и Митю, и Грушеньку. Онъ привсталъ со стула и, обращаясь къ бывшей тутъ Грушенькѣ, торжественно произнесъ: "Вѣрь Богу и мнѣ--въ кровп убитаго вчера отца моего я неповиненъ!"

Грушенька тоже привстала и набожно перекрестилась на икону.

— Слава Тебѣ, Господи! проговорила она горячимъ проникновеннымъ голосомъ и, обратясь къ слѣдователю, прибавила:—какъ онъ теперь сказалъ, тому и вѣрьте. Знаю его: сболтнуть что сболтнетъ, али для смѣху, али съ упрямства, но если противъ совѣсти, то никогда не обманетъ. Прямо правду скажетъ, тому вѣрьте!

— Спасибо, Аграфена Александровна, поддержала душу!—дрожащимъ голосомъ отозвался Митя.

Судъ надъ Митей описанъ живо, увлекательно. Разбирательство сопровождается новыми драматическими эпизодами. Показаніе каждаго свидѣтеля возбуждаетъ интересъ. Фатальный

характеръ Мити, его патетическія выходки и наивныя безтактности постоянно вредять ему, чёмъ и довершають его цёльный, выдержанный типъ, и въ то же время волнуютъ читателя, сочувствующаго подсудимому и опасающагося за исходъ процесса. Противъ юридической техники не допущено никакихъ отступленій, кромъ развъ того, что и стороны, и эксперты безпрепятственно вступають въ роль свидѣтелей. Характерно отмѣчено, какъ на судѣ иной человъкъ является совсъмъ не съ тъмъ именемъ, къ которому привыкли его знакомые. Такъ, Грушенька оказалась Свътлова. Достоевскій поясняеть, что онъ самъ это узналъ первый разъ только во время хода процесса. И затьмъ уже и въ разспросахъ, и въ преніяхъ Грушенька вездѣ называется Свѣтловой, такъ что, если пропустить три строки, гдѣ пояснено это превращение, то можно сбиться съ толку и принять Свѣтлову за новое дѣйствующее лицо. Въ общемъ изображение суда не чуждо шаржа и сатиры по части адвокатскихъ фортелей и и софизмовъ, прокурорскаго глубокомыслія, слабости предсъдателя и горячности публики къ ораторамъ, не чуждо вообще ретушовки и преувеличеній, но во всемъ чувствуется геніальный декораторъ, у котораго и въ широкой размалевкъ видна рука истиннаго художника.

Послѣ осужденія Митя захворалъ и сталъ задумчивъ. Но судъ не сломилъ его и почти даже не измѣнилъ. Противъ ошибки суда въ немъ нѣтъ никакого негодованія. Онъ только говоритъ, что "если бить станутъ дорогой, аль *тамъ*, то я не дамся, убью и меня разстрѣляютъ". Съ благословенія Алеши, онъ принимаетъ проектъ бѣжать съ дороги, вмѣстѣ съ Грушенькой, въ Америку. Но онъ предчувствуетъ, что постъдтетъ по Россіи, стоскуется и вернется подъ чужимъ именемъ помереть на родной землѣ...

Таковъ Митя.

VI.

Но интересъ романа далеко не исчерпывается однимъ только характеромъ Мити или его приключеніями, и въ этомъ громадное преимущество "Братьевъ Карамазовыхъ" передъ прочими произведеніями Достоевскаго, въ которыхъ, какъ мы уже говорили, развитіе интриги весьма скоро ослабъваетъ. Здъсь, напротивъ. Въ промежуткъ между арестованіемъ Мити и днемъ суда надъ нимъ начинаетъ выдвигаться другая драма, еще болѣе сильная и глубокая, чъмъ катастрофа съ Митей, — это драма второго изъ братьевъ Карамазовыхъ, Ивана. Къ нему и обратимся.

Если у старика Карамазова сладострастіе является голымъ цинизмомъ, а у Мити—могучимъ соблазномъ, съ которыми постоянно борется его восторженная и безхарактерная натура, то у Ивана то же сладострастіе, путемъ образованія, работы разсудка и подъ внушеніемъ эгоизма, выработалось въ уравновѣшенное, замкнутое, упорное и систематическое жизнелюбіе. Иванъ разсчетливъ, уменъ и молчаливъ. Только разъ онъ высказался весь, съ своимъ глубоко-продуманнымъ міросозерцаніемъ, передъ Алешей, который вообще играеть въ романъ роль наперсника въ классической драмъ и передъ которымъ всъ дъйствующія лица открывають свою внутреннюю сущность, какъ бы наединѣ передъ своею совѣстью. Міросозерцаніе Ивана мы уже знаемъ. Онъ пришелъ къ отрицанію религіи и какихъ бы то ни было идеаловъ для человѣчества. Его "эвклидовскій умъ" заставилъ его въровать только въ одно-что надо пользоваться и наслаждаться жизнью. Эпикуреизмъ Ивана очень тонкій, культурный и, если хотите, даже не лишенный поэзіи. Но это все - таки — одно гастрономическое смакованіе земныхъ удовольствій во всёхъ видахъ. Воть какъ опредѣляетъ самъ Иванъ свою цѣпкую привязанность къ жизни:

"Я сейчасъ здѣсь сидѣлъ и знаешь, что говорилъ себѣ: не вѣруй я въ жизнь, разувѣрься я въ дорогой женщинѣ, разувѣрься въ порядкѣ вещей, убѣдись даже, что все, напротивъ, безпорядочный, проклятый и, можетъ быть, бѣсовскій хаосъ, порази меня хоть всѣ ужасы человѣческаго разочарованія, а я все-таки захочу жить, и ужъ какъ припалъ къ этому кубку, то не оторвусь отъ него, пока его весь не осилю! Впрочемъ, къ тридцати годамъ навѣрно брошу кубокъ, хоть и не допью всего, и отойду... не знаю куда. Но до тридцати моихъ лътъ, знаю это твердо, все побъдитъ моя молодость, -- всякое разочарованіе, всякое отвращеніе къ жизни. Я спрашивалъ себя много разъ: есть ли въ міръ такое отчаяніе, чтобы побъдило во мнъ эту изступленную и неприличную, можетъ быть, жажду жизни и рѣшилъ, что, кажется, нѣтъ такого, то есть опять-таки до тридцати этихъ лѣтъ, а тамъ ужъ самъ не захочу, мнѣ такъ кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называють часто подлою, особенно поэты. Черта-то она отчасти Карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, въ тебѣ она тоже непремѣнно сидить, но почему жъ она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей планеть, Алешка. Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логикъ. Пусть я не върю въ порядокъ вещей, но дороги мнъ клейкіе, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорогъ иной человѣкъ, котораго иной разъ, повѣришь ли, не знаешь, за что и любишь, дорогъ иной подвигъ человъческій, въ который давно уже, можеть быть, пересталь и върить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцемъ. Я хочу въ Европу съъздить, Алеша, отсюда, и повду; и ввдь я знаю, что повду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вотъ что! Дорогіе тамъ лежатъ покойники, каждый камень надъ ними гласить о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной въръ въ свой подвигъ, въ свою истину, въ свою борьбу и въ свою науку, что я, знаю заранъе, паду на землю и буду цъловать эти камни и плакать надъ ними, — въ то же время убъжденный всъмъ сердцемъ моимъ, что все это давно уже кладбище и никакъ не болъе. И не отъ отчаянія буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастливъ пролитыми слезами моими. Собственнымъ умиленіемъ упьюсь. Клейкіе весенніе листочки, голубое небо люблю я, вотъ что! Тутъ не умъ, не логика, тутъ нутромъ, тутъ чревомъ любишь, первыя свои молодыя силы любишь...

Впослѣдствіи Иванъ досадовалъ на себя за такую откровенность: "столько лётъ молчалъ и со всѣмъ свѣтомъ не удостоивалъ говорить, и вдругъ нагородилъ столько ахиней". Впрочемъ, еще въ одномъ разговоръ, съ Міусовымъ, Иванъ развилъ свою теорію гораздо болѣе сухо и сжато: "для каждаго честнаго лица, не върующаго ни въ Бога, ни въ безсмертіе свое, нравственный законъ природы долженъ немедленно измѣниться въ полную противоположность прежнему, религіозному, и эгоизмъ даже до злодъйства не только долженъ быть дозволенъ человъку, но даже признанъ необходимымъ, самымъ разумнымъ и чуть ли не благороднъйшимъ исходомъ въ его положении". -- Къ отцу своему и къ брату Дмитрію Иванъ относился крайне черство, и когда Дмитрій, въ его присутствіи, избиль отца, то Ивань, злобно скрививь лицо, шепнуль Алешь: "Одинь гадь съёсть другую гадину, обоимь туда и дорога!"—И воть такого-то крвикаго, устойчиваго, сильнаго своимь умомь и своими инстинктами человѣка, Достоевскій подвергаеть въ своемъ романѣ самому глубокому психическому кризису. Главной пружиной въ драмѣ, происходящей съ Иваномъ, является Смердяковъ. Остановимся на этомъ замѣчательномъ лицѣ — одномъ изъ самыхъ законченныхъ образовъ въ картинной галлереѣ Достоевскаго.

Смердяковъ, какъ незаконный сынъ Өедора Павловича, можетъ быть названъ однимъ изъ братьевъ Карамазовыхъ. Происхожденіе этого подкидыша, сдѣлавшагося впослѣдствіи лакеемъ, намъ уже извѣстно. Воспиталъ его старый слуга Карамазова, Григорій, но мальчикъ росъ, по замѣчанію Григорія, "безо всякой благодарности". Фигура Смердякова очерчена Достоевскимъ такъ сильно и сжато, что намъ необходимо продолжать собственными словами автора и снова прибъгнуть къ большой выпискъ:

"Въ дътствъ онъ очень любилъ въшать кошекъ и потомъ хоронить ихъ съ церемоніей. Онъ надъвалъ для этого простыню, что составляло въ родъ какъ бы ризы, и пълъ, и махалъ чъмъ-нибудь надъ мертвою кошкой, какъ будто кадилъ. Все это потихоньку, въ величайшей тайнъ. Григорій поймалъ его однажды на этомъ упражненіи и больно наказалъ розгой. Тотъ ушелъ въ уголъ и косился оттуда съ недѣлю. "Не любитъ онъ насъ съ тобой, этотъ извергъ, говорилъ Григорій Мареѣ Игнатьевнѣ, — да никого не любитъ. — Ты развѣ человѣкъ, обращался онъ вдругъ прямо къ Смердякову, — ты не человѣкъ, ты изъ банной мокроты завелся, вотъ ты кто"... Смердяковъ, какъ оказалось впослѣдствіи, никогда не могъ простить ему этихъ словъ. Григорій выучилъ его грамотѣ и, когда минуло ему лѣтъ двѣнадцать, сталъ учить Священной Исторіи. Но дѣло кончилось тотчасъ же ничѣмъ. Какъ-то однажды, всего только на второмъ или на третьемъ урокѣ, мальчикъ вдругъ усмѣхнулся.

--- Чего ты? спросилъ Григорій, грозно выглядывая на него изъ-подъ очковъ.

-- Ничего-съ. Свътъ создалъ Господь Богъ въ первый день, а солнце, луну и звъзды на четвертый день. Откуда же свъть-то сіялъ въ первый день?

Григорій остолбенѣлъ. Мальчикъ насмѣшливо глядѣлъ на учителя. Даже было во взглядѣ его что-то высокомѣрное. Григорій не выдержалъ. "А вотъ откуда!" крикнулъ онъ и неистово ударилъ ученика по щекѣ. Мальчикъ вынесъ пощечину, не возразивъ ни слова, но забился опять въ уголъ на нѣсколько дней. Какъ разъ случилось такъ, что черезъ недѣлю у него объявилась падучая болѣзнь въ первый разъ въ жизни, не покидавшая его потомъ во всю жизнь. Узнавъ объ этомъ, Θедоръ Павловичъ какъ будто вдругъ измѣнилъ на мальчика свой взглядъ. Прежде онъ какъ-то равнодушно глядълъ на него, хотя никогда не бранилъ и, встрвчая, всегда давалъ копвечку. Въ благодушномъ настроеніи иногда посылалъ со стола мальчишкъ чего-нибудь сладенькаго. Но тутъ, узнавъ о болѣзни, рѣшительно сталъ о немъ заботиться, пригласилъ доктора, сталъ было лечить, но оказалось, что вылечить невозможно. Среднимъ числомъ припадки приходили по разу въ мѣсяцъ и въ разные сроки. Припадки тоже бывали разной силы, —иные легкіе, другіе очень жестокіе. Өедоръ Павловичъ запретилъ наистрожайше Григорію наказывать мальчишку тълесно и сталъ пускать его къ себѣ наверхъ. Учить его чему бы то ни было тоже пока запретилъ. Но разъ, когда мальчику было ужъ лътъ пятнадцать, замътилъ Өедоръ Павловичъ, что тотъ бродитъ около шкафа съ книгами и сквозь стекло читаетъ ихъ названія. У Өедора Павловича водилось книгъ довольно, томовъ сотня слишкомъ, но никто никогда не видалъ его самого за книгой. Онъ тотчасъ же передалъ ключъ отъ шкафа Смердякову: "Ну, и читай, будешь библіотекаремъ, чёмъ по двору шляться, садись да читай. Вотъ прочти эту, - и Өедоръ Павловичъ вынулъ ему Вечера на хуторъ близъ Ликаньки.

Малый прочелъ, но остался недоволенъ, ни разу не усмѣхнулся, напротивъ, кончилъ нахмурившись.

7

Смердяковъ молчалъ.

— Отвѣчай, дуракъ.

— Про неправду все написано, — ухмыляясь, прошамкалъ Смердяковъ.

— Ну и убирайся къ чорту, лакейская ты душа. Стой, вотъ тебъ Всеобщая Исторія Смарагдова, тутъ все ужъ правда, читай.

Но Смердяковъ не прочелъ и десяти страницъ изъ Смарагдова, показалось скучно. Такъ и закрылся опять шкафъ съ книгами. Въ скорости Мареа и Григорій доложили Өедору Павловичу, что въ Смердяковъ мало-по-малу проявилась вдругъ ужасная какая-то брезгливость: сидитъ за супомъ, возьметъ ложку и ищетъищетъ въ супъ, нагибается, высматриваетъ, почеринетъ ложку и подыметъ на свътъ.

— Тараканъ, что ли? спроситъ бывало Григорій.

- Муха, можетъ,--замътитъ Мареа.

Ради такой чистоплотности, Смердяковъ былъ предназначенъ быть поваромъ и отосланъ для обученія въ Москву. Пробывъ тамъ нѣсколько лѣтъ, онъ возвратился сморщеннымъ, постарѣлымъ, желтымъ, похожимъ на скопца: но нравственно оставался тѣмъ же и былъ попрежнему нелюдимъ. И въ Москвѣ, впрочемъ, онъ мало на что обращалъ вниманіе. Новаго оказалось въ Смердяковѣ только то, что онъ сталъ шеголемъ и особенно любилъ чистить свои сапоги англійской ваксой, такъ, чтобы они сверкали, какъ зеркало. Все свое жалованье онъ тратилъ на платье, помаду и духи. Но женскій полъ презиралъ, держалъ себя съ ними степенно, почти недоступно. Все больше молчалъ и постоянно задумывался, — былъ "созерцателемъ".

Всѣ эти біографическія черты Смердякова въ высшей степени своеобразны, почти исключительны: церковное погребеніе кошекъ, болѣзненная брезгливость, франтовство при равнодушіи къ женщинамъ и презрѣніе къ книгамъ на ряду съ задумчивостью. Вѣроятно, все это придумано, и едва ли Достоевскій встрѣчалъ Смердякова въ жизни. Но въ этомъ-то и сказывается производительная сила поэта, что возникшій въ его фантазіи образъ такъ силенъ и такъ живучъ для его духовнаго зрѣнія, что онъ съ него пишетъ вѣрною и быстрою рукою, какъ съ живой модели. И Смердяковъ становится для насъ, дѣйствительно, вполнѣ живымъ, хотя бы и фантастическимъ лицомъ.

Къ этому-то Смердякову Иванъ Карамазовъ начинаетъ испытывать какое-то таинственное тяготѣніе, точно между ними существуетъ внутренняя, невыясненная близость. Этотъ нелюдимый лакей, одаренный острымъ, разъѣдающимъ аналитическимъ умомъ, — умомъ, также эвклидовскимъ, отрицающимъ все туманное, — оказывается будто сродни Ивану. Сперва Иванъ заинтересовался Смердяковымъ и даже пріучилъ 7* его съ собой разговаривать о философскихъ вопросахъ, но потомъ вдругъ не возлюбилъ этого человѣка, который, однако, почему-то сталъ считать себя въ чемъ-то солидарнымъ съ Иваномъ. "будто между ними было уже что-то условленное и какъ бы секретное, что-то когда-то произнесенное съ объихъ сторонъ, лишь имъ обоимъ только извъстное". Это высокомъріе, прикрытое наружной почтительностью, раздражало Ивана. Быть можеть, скажемъ мы отъ себя. Иванъ, не безъ нѣкоторой гадливости, узналъ въ Смердяковъ свои собственныя черты, но только поблекшія и безцвѣтныя, какъ бы отраженныя въ грошовомъ оловянномъ зеркалъ, безъ краски здоровья и молодости, которыми кипѣлъ онъ самъ, -- скопческія черты разочарованнаго умника, который, однако, не можетъ взять свое отъ жизни, потому что родился въ рабской доль. Какъ бы тамъ ни было. Иванъ и Смердяковъ начали, безъ словъ, понимать другъ друга. Нагляднымъ образомъ это понимание выразилось въ одномъ очень туманномъ разговорѣ, который у нихъ произошелъ за день до катастрофы. Смердяковъ, неопредѣленно намекая на близость убійства, посов втовалъ Ивану у вхать подальше отъ бѣды-и когда Иванъ, внутренне оскорбляясь за подобныя ръчи (однако, не выражая этого Смердякову), все-таки его послушался и влёзъ въ тарантасъ, ---то Смердяковъ, провожая его, весьма загадочно — не то злорадно, не то поощрительно, замътилъ: "съ

умнымъ человѣкомъ и поговорить любопытно". Иванъ бъжалъ въ Москву и дорогою думалъ: "Прочь все прежнее, кончено съ прежнимъ міромъ на въки, и чтобы не было изъ него ни въсти, ни отзыва: въ новый міръ, въ новыя мъста, и безъ оглядки!" И только уже въъзжая въ Москву, Иванъ какъ бы очнулся и прошепталъ про себя: "я подлецъ!"... Эти двъ главы пятой книги романа-VI и VII-гдъ описанъ разговоръ Ивана съ Смердяковымъ и его послъдствія, удивительны по своей тонкости. О нихъ слъдуетъ сказать то же, что о допросъ Мити на слъдствіи: ихъ необходимо перечесть по окончаніи романа еще разъ, чтобы оцѣнить, до какой степени здъсь каждый штрихъ, каждое слово умъстны и важны для будущихъ трагическихъ происшествій.

Итакъ, Иванъ увхалъ. Безъ него совершилось убійство, началось слъдствіе, и Митя, какъ виновникъ, былъ арестованъ. Вызванный телеграммой, Иванъ прівхалъ только на пятый день посль убійства, когда его отецъ былъ уже погребенъ. По всъмъ даннымъ, какія онъ узналъ на мъств, Иванъ былъ убъжденъ, что убійца--Митя. Почему-то, однако, еще въ вагонъ, летя изъ Москвы, Иванъ все думалъ про Смердякова и про свой послъдній разговоръ съ нимъ передъ отъвздомъ. Многое смущало его, многое казалось подозрительнымъ. Но, давая свои показанія слъдователю, Иванъ до времени умолчалъ о томъ разговорѣ. Все отложилъ до своего свиданія со Смердяковымъ.

И вотъ начинаются эти свиданія — не одно. а цълыхъ три. Ивана все тянетъ къ Смердякову, и каждый разговоръ съ нимъ оставляетъ въ немъ нѣчто, подталкивающее его повидаться со Смердяковымъ еще и еще. Эти сцены трехъ свиданій-замъчательныя драматическія сцены. Невозможно съ большею ироніею, медлительностью, ядовитостью, презрѣніемъ и хладнокровіемъ истерзать сердце человѣческое, какъ это дълалъ Смердяковъ, доводя Ивана сперва недомолвками, потомъ намеками, потомъ ясной логикой и, наконецъ, полнымъ разоблаченіемъ тайны убійства — до совершенно-неотразимаго убъжденія, что старика Карамазова убиль онъ, Смердяковъ, по соглашению съ нимъ, Иваномъ. "Потому и хочу вамъ въ сей вечеръ это въ глаза доказать, что главный убивецъ во всемъ здѣсь единый вы-съ, а я только самый не главный, хоть его я и убилъ. А вы самый законный убивецъ и есть!" И, дъйствительно, Смердяковъ это доказываетъ. Ни въ единомъ cause célébre такъ называемая интеллектуальная виновность не была еще установлена съ такою безпощадною и потрясающею ясностью, какъ виновность Ивана въ убійствъ отца, въ непогръшимой и леденящей аргументаціи Смердякова. Несмотря на то, что всѣ три разговора Смердякова съ Иваномъ ведутся на одну и ту же тему, въ этихъ разговорахъ столько движенія, борьбы, неожиданныхъ изворотовъ мысли, столько возрастающаго драматическаго интереса, что взятые даже отдъльно отъ фабулы романа, они могли бы произвести большой эффекть на сценъ. Къ концу послъдняго свиданія Иванъ такъ подавленъ, что онъ даже не возражаетъ Смердякову, а Смердяковъ до того сознаетъ свою близость къ Ивану, что довърчиво передаетъ ему похищенныя имъ послѣ убійства всѣ три тысячи, оставшіяся нетронутыми-и Иванъ ихъ беретъ! Все это происходитъ какъ разъ наканунъ суда надъ Митей. Иванъ твердо ръшается все раскрыть завтра передъ судьями, Смердяковъ и тутъ добиваетъ его глубоно кимъ презрѣніемъ: "не пойдете показывать!" Отъ Смердякова Иванъ уходитъ какъ помъшанный и, придя домой, впадаеть въ бредъ. Этоть бредъ, занимающій цёлую главу подъ названіемъ "Кошмаръ", конечно, безсмысленъ, но онъ описанъ такъ, какъ могъ изображать бредъ и галлюцинаціи только писатель съ нервами Достоевскаго. Особенность здъсь въ томъ, что, напримъръ, Ивану является чортъ, но онъ представленъ вовсе не въ видѣсимволическаго призрака, а-напротивъ-и это дъйствуетъ гораздо сильнѣе--въ видѣ какого-то господина, лътъ уже немолодыхъ, въ коричневомъ пиджакъ, съ подробнымъ описаніемъ бълья, которое, если приглядъться, было грязновато, съ пуховой шляпой и съ видомъ приживальщика хорашаго тона и т. д. И когда, видя передъ. собой именно такого господина у противоположной стѣны на диванѣ. —Иванъ вступаетъ съ цимъ въ бесѣду, подозрѣвая, что въ дѣйствительности его нѣтъ—и прибъгаетъ къ прикладыванію мокраго полотенца на голову, чтобы тотъ, наконецъ, исчезъ—и все-таки его видитъ—тогда, дѣйствительно, читателя, пожалуй, и знобить начнетъ... Среди ночи бредъ Ивана прерывается стукомъ въ окно: Алеша пришелъ извѣстить его, что часъ тому назадъ Смердяковъ повѣсился!

Можно ли придумать болѣе страшный и въ то же время болѣе натуральный эффектъ, довершающій послѣднюю мѣру страданій для человѣка, въ которомъ и умъ, и гордость, и честь, и самое право на свободу—все это уже осмѣяно, поругано и искалѣчено!..

На утро Иванъ приходитъ въ судъ совершеннымъ идіотомъ, передаетъ судьямъ три тысячи, говоря, что получилъ ихъ вчера "отъ убійцы, отъ Смердякова", но тутъ же примѣшиваетъ свой бредъ, говоритъ, что у него есть свидѣтель только "съ хвостомъ, ваше превосходительство, не по формѣ будетъ",--никто ему не вѣритъ и его, какъ больного, уводятъ.

Такъ онъ и остается въ концѣ романа больнымъ. Но братья, Дмитрій и Алеша, выражаютъ надежду, что Иванъ "сложенія сильнаго" и что онъ выздоровѣетъ.

VII.

Положительный элементъ въ романѣ представленъ младшимъ изъ братьевъ Карамазовыхъ, Алешей, а также монастырской братіей, со старцемъ Зосимой во главѣ, и наконецъ, молодыми всходами новаго поколѣнія или "мальчиками", сгруппированными возлѣ Коли Красоткина.

Алеша, этотъ "ранній человѣколюбецъ", уже намъ извъстенъ. Этотъ идеалъ Достоевскаго отчасти выраженъ имъ въ романъ "Идіотъ", герой котораго весьма похожъ на Алешу, съ тою, однако, разницею, что Алеша здоровъ, не проявляеть никакихъ странностей, трезво относится къ жизни и дъйствуетъ весьма послъдовательно. Всв его любять, всв съ нимъ дружать, а достигается это очень простыми средствами: Алеша всегда откровененъ, уступчивъ, сострадателенъ, любвеобиленъ, -- словомъ, онъ представляетъ собою тоть простой и, однако же, такъ трудно достижимый типъ, съ размноженіемъ котораго достигнуты были бы вс в лучшіе идеалы общественнаго устройства. Его прекрасно опредълилъ помъщикъ Міусовъ: "Вотъ, можетъ быть, единственный человѣкъ въ мірѣ, котораго оставьте вы вдругъ одного и безъ денегъ на площади незнакомаго въ милліонъ жителей города, и онъ ни за что не погибнеть и не умреть съ голоду и холоду, потому что его мигомъ накормятъ, мигомъ пристроятъ, а если не пристроятъ, то

онъ самъ мигомъ пристроится, и это не будетъ стоить ему никакихъ усилій и никакого униженія, а пристроившему никакой тягости, а можетъ быть, напротивъ, почтутъ за удовольствіе". Алеша глубоко религіозенъ. Однажды поразившись убъжденіемъ, что Богъ существуеть, онъ рѣшился жить для безсмертія. Онъ вступилъ на монастырскую дорогу въ видъ неофита-послушника, вовсе не обязываясь быть монахомъ, а вслъдствіе любви къ святынъ и къ святой жизни. Учитель его, старецъ Зосима, признавая законность молодости и ся увлеченій, завѣщаетъ ему оставить монастырь послѣ его кончины и идти въ міръ, гдѣ Алеша долженъ будетъ многое перенести, пока не возвратится къ монашеству.

Фигура Зосимы въ беллетристическомъ отношеніи мало выдвигается. Хотя отъ этого образа и вѣетъ благоуханіемъ чистоты и святости, хотя міровоззрѣніе и рѣчи Зосимы вполнѣ соотвѣтствуютъ народному представленію о святомъ старчествѣ, но въ общемъ лицо Зосимы слишкомъ походитъ на аллегорію, на философскій тезисъ въ монашеской рясѣ. Интересенъ только эпизодическій разсказъ изъ его біографіи, подъ заглавіемъ "Таинственный Посѣтитель", гдѣ Зосима повѣствуетъ замѣчательную исторію одного повинившагося ему преступника. Старецъ Зосима выставленъ, чтобы олицетворить собою религіозную проповѣдь, которая и выражена въ его бесѣдахъ и рукописяхъ. Въ

общихъ чертахъ мы съ ней уже знакомы. Жизнь питомца его, Алеши, протекаетъ въ романъ безъ всякихъ коллизій, за исключеніемъ краткаго смущенія, которое Алеша испытываеть послѣ смерти Зосимы, когда отъ этого святого старца, вопреки ожиданіямъ всей братіи, пошелъ "тлетворный духъ". Это смущение выражено въ главѣ "Такая минутка", въ которой у Алеши вырывается и ропоть на Бога, и какъ бы недовольство на свою воздержную жизнь. Но эта минутка быстро разсвялась, и послв одного вѣщаго сна ночью, въ монастырскомъ саду, подъ открытымъ окномъ кельи, изъ которой виднѣлся гробъ Зосимы, Алеша, освненный золотыми главами собора и звъзднымъ небомъ, палъ на землю со слезами восторга. "Онъ почуялъ въ душъ своей близость Бога и соприкосновение свое съ "міромъ инымъ". И никогда потомъ въ жизни не забылъ онъ этой минуты. -- По завъту Зосимы, черезъ три дня послѣ того, онъ оставилъ монастырь.

Наконецъ, съ фабулой романа весьма искусно переплетается чудесная и трогательная исторія "мальчиковъ" — Илюшечки и Коли Красоткина. Описаніе убогой семьи капитана Снѣгирева, отца Илюшечки, и школьниковъ — принадлежитъ къ лучшимъ страницамъ Достоевскаго, посвященнымъ изображенію дѣтей и бѣднаго люда. Разсказъ капитана Снѣгирева о нанесенной ему Дмитріемъ Карамазовымъ обидѣ, о заступничествѣ за него его маленькаго сына Илюшечки, о душевномъ потрясении и болѣзни этого мальчика, если не превосходить, то во всякомъ случаѣ равенъ по силѣ знаменитому разсказу Мармеладова изъ "Преступленія и Наказанія". Коля Красоткинъ, благородный, великодушный мальчикъ, кумиръ своихъ товарищей, превосходно обрисованъ въ главъ "Школьникъ", обрисованъ съ ръдкимъ у Достоевскаго добродушнымъ юморомъ. Дътское важничанье Коли передъ товарищемъ выражается въ его авторитетныхъ и книжныхъ выраженіяхъ, вродъ: "я люблю наблюдать реализмъ", "въ природѣ ничего нътъ смъшного", "я соціалисть, Смуровъ" и т. д. Въ этой же главъ есть замъчательная комическая сцена, когда Коля задираетъ и вышучиваеть встречныхъ на базаре мужиковъ. Отдѣлъ романа объ Илюшечкѣ, кажется, болѣе другихъ знакомъ публикъ, такъ какъ Достоевскій самъ любилъ читать отрывки изъ этого отдѣла на литературныхъ вечерахъ и чаще всего читалъ "Похороны Илюшечки". Здъсь на могилъ Илюшечки, школьники, столпившіеся вокругъ Алеши Карамазова, даютъ обътъ быть добрыми и честными, и разстаются подъ впечатлѣніемъ вѣры въ безсмертіе души. Этимъ и оканчивается романъ.

VIII.

Мы едва совладали съ громаднымъ матеріаломъ разсматриваемаго произведенія и, въро-

ятно, многое упустили. Иное дѣло своевластный и капризный художникъ, разсыпающій, какъ попало, богатство своего генія и фантазіи: иное дѣло—комментаторъ или либреттистъ, задавшійся мыслью привести въ сжатую систему, къ яснымъ положеніямъ основныя черты и мотивы грандіозной, загадочной поэмы. Все же, однако, мы можемъ сдѣлать теперъ нѣкоторые общіе выводы. Они будутъ кратки, потому что въ сущности все наше изложеніе сопровождалось комментаріями и стремилось выяснить выдающіеся моменты произведенія.

Идея романа, о которой мы говорили въ началѣ, становится теперь еще болѣе ясною. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что романъ выражаетъ протестъ противъ крайняго матеріализма той эпохи, когда онъ былъ задуманъ и написанъ. Но съ какимъ поэтическимъ могуществомъ и съ какою артистическою умѣлостью выполнена эта задача! Она исполнена помощью начертанія удивительныхъ образовъ, яркихъ и разительныхъ, совершенно независимо отъ идеи романа, и помощью такой группировки характеровъ и событій, которая, безъ всякаго подчеркиванія, предоставляетъ самому читателю углубиться въ произведеніе и додуматься до выводовъ.

Поклонникъ міра нематеріальнаго, восторженный защитникъ идеи Божества, Достоевскій задумываетъ возвъстить свои идеалы грубому, неудержимо расходившемуся въ беззаконіяхъ атеистическому поколѣнію. Какъ же онъ поступаеть?

Онъ черпаетъ основу для своего романа изъ уголовной хроники, въ которой всегда имѣется какое-нибудь злое, гадкое дъяніе. Глубокій знатокъ этой сферы, онъ изобрѣтаетъ сюжетъ, исполненный самаго увлекательнаго внѣшняго интереса. Вмъстъ съ тъмъ, чтобы не повторяться, онъ показываетъ судебный процесъ совсъмъ съ другого конца, чъмъ въ "Преступленіи и Наказаніи": тамъ онъ показалъ проницательность судебной власти, отъ которой не могъ укрыться преступникъ; здъсь, наоборотъ, онъ обличилъ близорукость той же власти, покаравшей невиннаго. Задаваясь этими цълями, какъ бы подчиненными главной идев, Достоевскій уже туть, по пути, какъ превосходный уголовный романисть, психологь и наблюдатель, усп'влъ создать множество поистинъ замъчательнаго. Для главной же своей темы, онъ выводитъ въ этомъ романъ воплощение плотоугодія въ образъ семьи Карамазовыхъ. Это – Карамазовщина, припаденіе къ кубку жизни, всемогущая любовь къ матеріи. Отецъ и три сына. Какія сильныя, незабываемыя лица! Отецъ — негодяй во всъхъ отношеніяхъ. Сыновья: злой духъ-Иванъ, добрый геній-Алеша, посрединъ-смъсь праха и божества, грѣшный, какъ всѣ, по преимуществу гръшный и притомъ вполнъ русскій, разудалый и увлекающійся, но не дурной человъкъ-Митя. Своимъ "героемъ" съ самаго начала Достоевскій упорно называеть Алешу, но когда картина произведенія стала развертываться, то героемъ съ внёшней стороны, сосредоточившимъ на себя всѣ узлы фабулы, началъ выдвигаться Митя, а когда книга была окончена, то едва ли не главнымъ героемъ вышелъ Иванъ. И въ чемъ сказалась Немезида надъ всъми порочными? Старикъ Карамазовъ, увъренный, что ему предстоять долгіе годы безпутства, черезъ день послѣ своей лекціи о разврать, прочитанной дѣтямъ, былъ умерщвленъ и палъ, разбитый, какъ негодный сосудъ, своимъ незаконнымъ сыномъ Смердяковымъ, т. е. палъ отъ той именно руки, которая появилась на свътъ вслъдствіе самаго, быть можеть, гнуснаго поступка Карамазова съ Лизаветой Смердящей. Самъ же убійца-Смердяковъ-повѣсился. Митя, грубый и необузданный, но въ существъ хорошій человѣкъ, долженъ былъ перенести большое горе несправедливаго осужденія, чтобы нравственно смягчиться. Иванъ, этотъ гордый и умный позитивисть, не могъ убъжать отъ голоса ничъмъ незаглушимой совъсти и заплатилъ своимъ безуміемъ за попраніе законныхъ требованій души. И изъ Содома всей этой нечестивой семьи выходить безвреднымъ одинъ только челов вкъ -- съ св втлой душою Алеша. Монастырь, въ который онъ постоянно навъдывается, удаляясь отъ житейскихъ дрязгъ, своей мистической поэзіей, своей св'жей природой и благочестивыми обитателями, эффектно оттъняетъ картину. Вся книга проникнута върою

въ здоровую сушность русскаго человѣка, и симпатичные образы появляющихся въ концѣ романа дѣтей окрыляють надежду писателя на приходъ и нарожденіе лучшаго поколѣнія.

Слово "карамазовщина", гораздо больше широкое, чъмъ "обломовщина", должно было бы слѣлаться всемірнымъ терминомъ для нашей эпохи. Подъ нимъ, какъ вы видите, разумъется высшій животный эгоимъ, изгоняющій все трогательное, милое, поэтическое, этическое, самоотверженное и возвышенное ради всего осязательнаго, питательнаго и лакомаго. Вонзившись въ самую суть этой черты времени, Достоевскій отмѣтилъ ее неизгладимой царапиной львинаго когтя. Не съ той же ли въ сущности "карамазовщиной" имфетъ дъло Эмиль Зола во всей своей огромной серіи Ругонъ-Макаровскихъ романовъ: "Нана", "Potbouille", "Au bonneur des dames", "La joie de vivre" и въ самыхъ послъднихъ своихъ произведеніяхъ: "Germinal" и "La terre"? Не съ той же ли "карамазовщиной" борется Левъ Толстой, отдавшись проповъди почти невыполнимаго, первобытно-христіанскаго самопожертвованія? Достоевскій также думаль разр'єшить "карамазовскій" вопросъ и романомъ, и проповъдью въ одно и то же время. Въ дъйствительности же онъ разрѣшилъ его не какъ бытописатель и не какъ проповъдникъ, а какъ поэтъ. Онъ далъ удивительный образъ Ивана Карамазова, который, подобно Макбету, стремился завла-

дъть вънцомъ невозмутимаго матеріальнаго счастья, вопреки своимъ природнымъ правамъ и который, какъ узурпаторъ, былъ застигнутъ возмездіемъ на самой вершинѣ присвоеннаго благополучія. Сверхъ того "Братья Карамазовы" важны въ томъ отношеніи, что въ нихъ отразился весь Достоевскій со всёмъ его могуществомъ и слабостями, со всёмъ своимъ міровоззрѣніемъ-до такой степени полно, что онъ могъ бы озаглавить свою книгу "Toute la lyre", кончено съ гораздо большимъ правомъ, чѣмъ Гюго, назвавшій такъ свой послъдній сборникъ. Здъсь Достоевскій развернуль всё свои способности въ ихъ высшемъ развитіи: гуманистъ и мистикъ, криминалистъ, психіатръ и психологъ, бол'взненно-чуткій сенсуалисть и сатирикъ, — всѣми этими сторонами своей сложной артистической натуры онъ обогатилъ свою обширную и глубокую работу. Здѣсь же сказалось и его поэтическое пристрастіе къ Россіи. Если, быть можеть, оно и вовлекло его въ парадоксы, какъ публициста, за то это же пристрастіе, дышащее какой-то почвенной физіологической любовью къ родинъ, помогло ему создать нъсколько причудливый и растрепанный, но удивительно-русскій образъ Мити Карамазова, какой-то миеологическій типъ грубаго и въ то же время трогательнаго неудачника, привлекательнаго, несмотря на свою стихійную разнузданность. Въ этомъ же произведеніи изобилуютъ всѣ такъ называемые литературные недостатки Достоевскаго, столь откро-8

венные, что въ нихъ могъ бы уличить нашего писателя каждый школьникъ: длинноты, излишества, однообразіе языка всвхъ двиствующихъ лицъ и часто-прямое неправдоподобіе, какъ, , напримъръ, разговоръ Ивана съ Алешей въ трактиръ, длящійся цълыхъ три главы, содержащій цълые трактаты, литературно-обдуманные и очевидно вложенные въ уста собесъдниковъ самимъ авторомъ, безъ всякой маскировки. Читатель можетъ на все это весьма законно сътовать, а комментаторъ долженъ отмѣтить въ этомъ лишь смѣлую самобытность писателя - смѣлость, напоминающую, напримъръ, Шекспира, который, какъ извъстно, не церемонился съ требованіями внѣшняго правдоподобія и у котораго и короли, и солдаты, и любовники щеголяють философіей, реторикой, каламбурами, афоризмами, и вообще всегда однимъ и тъмъ же, откровенно-шекспировскимъ языкомъ. Все это доказываетъ, что важнѣе всего-умѣть наслаждаться авторомъ, а не предписывать ему какіе бы то ни было законы творчества. Несмотря, однако, на всъ эти элементарные технические промахи, и даже вопреки положеніямъ самой модной эстетики, Достоевскій написалъ идейный, ярко-субъективный и въ то же время высоко-художественный романъ. Безсознательный революціонеръ, или, върнъе, нигилистъ въ традиціяхъ искусства, онъ показалъ еще и другое чудо: занявшись въ этомъ романъ упорной и незамаскированной публицистикой, направленной противъ явленій извъстной исторической минуты, отдавшись, такъ сказать, цъликомъ—типамъ и вопросамъ именно этой современной, быстро текущей минуты, — Достоевский создалъ произведеніе, внутренняя поэзія котораго почти сглаживаетъ въ немъ колоритъ моды и клеймо времени, и мы даже не въ состояніи представить себъ эпохи, когда бы "Братья Карамазовы" утратили свой психологическій и художественный интересъ. Такова эта глубокая философско-драматическая поэма какъ всего правильнъе слъдовало бы назвать этотъ удивительный романъ Достоевскаго.

1888 г.

Всеволодъ Гаршинъ.

Среди маленькихъ именъ нашего времени имя Всеволода Гаршина получило довольно широкую извѣстность. Прирожденная меланхолія придавала его таланту своеобразную окраску. а гуманныя начала, которымъ Гаршинъ служилъ и своею жизнью, и своимъ перомъ, сообщали ему оттѣнокъ либерала и прогрессиста. Благодаря этому, успѣхъ, достигнутый Гаршинымъ сразу при появлении его перваго замфчательнаго очерка Четыре дня, остался за нимъ навсегда, несмотря на то, что послѣдующіе его разсказы уже не дѣлали такого шума и что самое творчество его, угнетенное недугомъ, проявлялось довольно скупо, на большихъ промежуткахъ времени и, притомъ выливалось, по преимуществу, въ тв же миніатюрныя формы. Чѣмъ-то мучительнымъ и, въ то же время, привлекательнымъ вѣяло отъ этихъ рѣдкихъ, небольшихъ очерковъ. Нѣкоторыя страницы, по своей патологической красоть, будто объщали въ Гаршинѣ новаго Достоевскаго, -- разумѣется

не по направленію, а по свойству дарованія. Эта новая литературная сила была встръчена и пригръта большимъ вниманіемъ: на Гаршина возлагали надежды и Левъ Толстой, и Тургеневъ: послъдній, наблюдавшій всъхъ подвизающихся теперь литературныхъ дъятелей на первыхъ ихъ шагахъ, отозвался объ одномъ Гаршинь: "вотъ развъ изъ Гаршина что-нибудь выйдетъ". Ръпинъ далъ, на передвижной выставкѣ, чудесный, глубокій поэтическій И портреть Гаршина: худощавый, красивый брюнеть, съ пушистыми, безпорядочными волосами, мягкою бородкой и тонкими, вскинутыми бровями, съ какою-то болѣзненною и безпокойною думой смотрѣлъ на зрителя своими воспаленными и туманными глазами. Такъ обозначалась на первыхъ порахъ и затъмъ упрочивалась эта молодая, симпатичная слава. Но, какъ мы уже сказали, Гаршинъ не перешелъ за предълы разсказовъ, написалъ ихъ всего 17 и умеръ 33 лётъ, всёмъ извёстною страшною смертью, послъ паденія съ лъстницы въ припадкъ своей безжалостной болѣзни.

Разберемся теперь вънаслъдствъписателя. Мы намърены пересмотръть всъего разсказы, каждый порознь, потому что полагаться въ этомъ случаъ на память читателей невозможно, да, и, быть можетъ, вниманіе читателей обращалось къ этимъ очеркамъ совсъмъ подъ инымъ угломъ зрънія, чёмъ тотъ, подъ которымъ мы ихъ усвоили. Всѣ разсказы Гаршина могуть быть раздѣлены на три категоріи: военные (Четыре дня, Трусъ, Пеньшикъ и офицеръ. Изъ воспоминаний рядового ncuxiampuveckie. (Hovb Красный Иванова). И ивътокъ) и назидательные, переходящіе даже въ басни и параболы (Встръча, Художники, Сигналь Attalea princeps, Сказки о жабъ и розъ. То, чего не было). Подъ эти дъленія не подходять только Медеводи, гдъ трогательно и художественно описывается избіеніе, по распоряженію начальства, ручныхъ медвъдей, водимыхъ цыганами, и два разсказа, составляющіе одно цѣлое-Происшествіе и Надежда Николаевна, посвященные идеализаціи падшей женщины.

Начнемъ съ военныхъ разсказовъ.

Четыре дня считаются самою сильною вещью Гаршина. Тяжело раненый, забытый своими войсками вблизи трупа убитаго имъ врага, проводитъ четыре дня въ борьбѣ со смертью. Затѣмъ его случайно находятъ и спасаютъ. Двѣ причины помогли успѣху этого разсказа: во-первыхъ, онъ появился въ горячую минуту—въ самый разгаръ войны, и потому сильнѣе "ударилъ по серцамъ": появись онъ теперь, впечатлѣніе было бы совсѣмъ не то; во-вторыхъ, тема разсказа — удачная, счастливая. Конечно, мастерство передачи имѣетъ громадное значеніе, но, помимо его, есть такія темы, которыя сами

себѣ остаются "приснопамятными". Ихъ по всегда есть множество подъ рукою, и, тъмъ не менње, на нихъ нападають только особые счастливцы. Мы говоримъ о темахъ, имъющихъ предметомъ большія страданія. Возьмите Les derniers jours d'un condamné Виктора Гюго. Какой сюжетъ! Одно избраніе этого сюжета есть уже событіе, ---тутъ можнозабыть и объ исполненіи, потому что самая тема останется безсмертною. Вспомните также недавнюю Смерть Ивана Ильича,--чего проще, какъ описать шагъ за шагомъ умираніе обыкновеннаго человѣка отъ обыкновенной болѣзни, одинъ только этотъ процессъ, но занявшись имъ исключительно, сдѣлавъ его цѣлымъ, громаднымъ событіемъ, единственною фабулою новъсти, и, однако, никто раньше гр. Толстого не догадался этого сдълать. Это повседневное страданіе никогда не выйдеть изъ моды и никогда не перестанетъ потрясать. Такъ и въ разсказъ Гаршина. Мучение этого раненаго, хотя бы самыя войны исчезли съ лица земли, останется историческимъ фактомъ, доступнымъ пониманію и глубокому сочувствію самыхъ отдаленныхъ будущихъ читателей. Повторяемъ, тема простая и тема въчная. Она обезпечитъ этому разсказу долгую, если не безконечную жизнь въ литературъ. Она же выдвигаетъ этотъ очеркъ изъ всъхъ произведений Гаршина и заставляетъ сходиться всв вкусы въ его признаніи и оценкь. Но для знатоковъ дела, помимо содержанія очерка, тогда же, при самомъ

его появленіи, выдвинулось ум'внье начинаюшаго автора владъть своимъ предметомъ, его вкусь, тонкая простота изложенія, достигаемая только зрѣлыми талантами, чуткій выборъ яркихъ штриховъ, замъняющихъ длинныя описанія, и даже новизна всей постройки разсказа, сдёланнаго въ видъ какихъ-то небольшихъ строфъ или стансовъ въ прозъ, необыкновенно удачно выбранныхъ для передачи отрывочныхъ и перемѣнчивыхъ впечатлѣній человѣка, у котораго слабо свътится сознание въ промежуткахъ бреда и спячки. Передача такого состоянія и вообще психологический монологъ или изложеніе одинокихъ мыслей вслухъ принадлежитъ къ самымъ рискованнымъ задачамъ въ беллетристикъ. Лучшіе, самые смълые и разнородные образцы подобныхъ страницъ даны у насъ впервые Львомъ Толстымъ. Онъ первый сталъ излагать бесёду дёйствующаго лица съ самимъ собою такъ часто, что она у него сдѣлалась какъ бы неизбъжнымъ аккомпаниментомъ всего разсказа на всемъ его протяжении. Поневолъ каждый, писавшій послів гр. Толстого, заимствовалъ его пріемы. То же случилось и съ Гаршинымъ. Напримъръ, въ самомъ началъ: "Чтото хлопнуло, что-то, какъ мнѣ показалось, пролетѣло мимо; въ ушахъ зазвенѣло". "Это онъ въ меня выстрълилъ", — подумалъ я, и т. д. Въ концъ разсказа, пробуждение раненаго прямо взято съ пробужденія Пьера Безухаго въ дорогѣ, во время поѣздки изъ Москвы въ Петербургъ. Въ просонкахъ Пьеръ додумался до разгадки мучившихъ его философскихъ вопросовъ и какъ будто нашелъ истину въ формулѣ: "сопрягать надо". И онъ сталъ повторять себѣ эту фразу: "сопрягать надо". И вдругъ онъ проснулся въ своемъ экипажѣ отъ криковъ: "запрягать надо!" То же у Гаршина.

"Кусты шевелятся и шелестять, точно тихо разговаривають".—"Воть ты умрешь, умрешь, умрешь",—шепчуть они.—"Не увидишь, не увидишь, не увидишь",—отвѣчають кусты съ другой стороны.

— Да туть ихъ и не увидищь! громко раздается около меня. Я вздрагиваю и разомъ прихожу въ себя. Изъ кустовъ глядятъ на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

Впрочемъ, едва ли не больше гр. Толстого вліялъ на Гаршина другой великій мастеръ— Тургеневъ. Какъ психологическій монологъ настойчиво введенъ гр. Толстымъ, какъ Тургеневымъ созданъ другойлитературный пріемъ, также сдѣлавшійся теперь обыденнымъ. Это — особая пунктуація, разстановка знаковъ препинанія, выразительная и тонкая, дающая читателю ноты для текста, помогающая ему прочесть фразу именно въ томъ смыслѣ и съ тѣмъ выраженіемъ, какое желательно автору. Тургеневъ первый ввелъ частыя многоточія, иногда пересѣкающія предложенія въ трехъ-четырехъ мѣстахъ, оставляющія на островкѣ одно слово, даже одну букву, и это у него выходило чрезвычайно мягко и живо. Эти многоточія дѣлались имъ не только въ торопливыхъ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ или въ случаяхъ, гдѣ рѣчь или мысль обрывается, но и въ описаніяхъ, и въ спокойной экспозиціи фабулы и, въ самыхъ обыденныхъ рѣчахъ. Гаршинъ всегда и очень умѣло пользовался этою пунктуаціей. Затѣмъ вкрадчивая простота Тургеневской фразы служила ему очевиднымъ образцомъ и въ значительной степени облагородила и украсила языкъ его разсказовъ. Объ этомъ, впрочемъ, рѣчь будетъ еще впереди.

Драматизмъ Четырехъ дней заключается не только въ физическихъ мученіяхъ и въ покинутости несчастнаго раненаго, --- драматизмъ этотъ преимущественно въ томъ, что страдалецъ имѣеть нѣжную, кроткую, голубиную душу; что онъ, вспоминающій съболью въ сердцъ даже собачку, раздавленную конкой въ Петербургъ, теперь самъ сдѣлался убійцей и поставленъ судьбою лицомъ къ лицу съ трупомъ своей жертвы; что съ твла этой жертвы онъ крадетъ фляжку съ водой для продленія своей собственной жизни, и что объ этомъ врагъ своемъ онъ говоритъ и думаетъ съ глубокимъ состраданіемъ. "Ему велъли идти и онъ пошелъ. Если бы онъ не пошелъ, его бы стали бить палками, а то, быть можеть, какой-нибудь паша всадиль бы въ него пулю изъ револьвера. Онъ шелъ длиннымъ, труднымъ походомъ отъ Стамбула до Рущука. Мы напали, онъ защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящіеся его патентованной англійской винтовки Пибоди и Мартини, все лъземъ и лѣземъ впередъ, онъ пришелъ въ ужасъ. Когда онъ хотълъ уйти, какой-то маленькій человъкъ, котораго онъ могъ бы убить однимъ ударомъ своего чернаго кулака, подскочилъ и воткнулъ ему штыкъ въ сердце. Чъмъ же онъ виновать? И чъмъ виновать я, хотя я убилъ его? За что меня мучить жажда?" Трупъ феллаха изображенъ Гаршинымъ съ такою силой, что его запоминаешь навсегда: "Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная отъ природы, поблѣднѣла и пожелтѣла; раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухомъ. Тамъ копошились черви. Ноги, затянутыя въ штиблеты, раздулись и между крючками штиблеть вылѣзли огромные пузыри. И весь онъ раздулся горою... Что сдълаетъ съ нимъ солнце сегодня?" Далее: "Сосъдъ сдълался въ этотъ день страшнъе всякаго описанія. Разъ, когда я открылъ глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло съ костей. Страшная костяная улыбка, въчная улыбка смерти, показалась мнѣ такою отвратительной, такою ужасной, какъ никогда, хотя мнъ случалось не разъ держать черепа въ рукахъ и препарировать цълыя головы. Этоть скелеть въ мундиръ со свътлыми пуговицами привелъ меня въ содрогание. Это война, тодумалъ я. Вотъ ея изображеніе".

Эти два яркіе образа—уродливый мертвецъ и его полуживой убійца—освѣщають собою затаенную идею перваго разсказа Гаршина, идею выстраданнаго сомнѣнія въ необходимости войны.

Та же идея, но съ гораздо меньшею силой, вслъдствіе обилія разсужденій, трактуется и въ другомъ разсказѣ Гаршина-Ірисъ. Заглавіе это поставлено авторомъ съ ироніей. Разсказъ ведется отъ имени студента, который, "припоминая всю свою жизнь, всѣ случаи, въ которыхъ ему приходилось стоять лицомъ къ лицу съ опасностью, не можетъ обвинить себя въ трусости". "Стало быть, — говорилъ онъ, — не смерть пугаетъ меня" (на войнф).---"Ты всъмъ своимъ существомъ протестуешь противъ войны, а все-таки война заставить тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нътъ, это невозможно!.. И никакое развитіе, никакое познаніе себя и міра, никакая духовная свобода не дадуть мнъ жалкой физической свободысвободы располагать своимъ твломъ". Довольно вялое содержание этого разсказа, по отсутствію образовъ и движенія, состоить въ томъ, что авторъ записокъ, попадаетъ въ ополченіе и долженъ идти сражаться. Его сомнѣнія не разрѣшены, но все его подталкиваетъ жертвовать жизнью-и страдание отъ извъстий о нашихъ потеряхъ на полъ битвы, и то обстоятельство, что его товарищъ тутъ же, въ Петербургѣ, безъ всякой пользы для человѣчества,

умираетъ въ жестокихъ мукахъ отъ гангрены, и, наконецъ, слова одной девушки, любимой этимъ товарищемъ: "По-моему, война есть общее горе, общее страдание, и уклоняться отъ нея, быть можеть, и позволительно, но мнѣ это не нравится". Съ отъъздомъ на войну, записки студента прерываются, и затъмъ къ нимъ придѣланъ эпилогъ, изъ котораго оказывается, что въ первой же схваткъ онъ былъ убитъ. "Шальная пуля пробила ему надъ правымъ глазомъ огромное черное отверстіе. Онъ лежалъ, раскинувъ руки и неестественно изогнувъ шею". По правдъ сказать, эта смерть производить слабое впечатление. Чувствуешь, такъ сказать, ея теоретичность. Это не то, что смерть юнаго Пети Ростова въ первой стычкъ съ непріятелемъ, описанная въ Войнъ и миръ. Тамъ читатель, задолго до катострофы, живеть съ Петею его расцвѣтающею, здоровою внутреннею жизнью, знаетъ его восторженную душу, его дътскіе сны, его молодую удаль, его жизнерадостное настроеніе, его очарованный взглядъ на міръ, свойственный первому пробужденію жизненныхъ силъ, и когда Петя, кинувшись впередъ, пьяный отъ храбрости, падаетъ сразу отъ "шальной пули", жалость, содроганіе и думы самыя безотрадныя угнетають читателя. Слъдуеть, однако, сказать, что Трусъ, неудачный въ художественномъ отношении, подкупаетъ нъсколькими горячими страницами, въ которыхъ чуется любвеобильное сердце писателя,---

сердце, способное, до самозабвенія, замучиваться чужими страданіями. "Выбыло изъ строя двѣнадцать тысячъ однихъ русскихъ и румынъ, не считая турокъ... Двѣнадцать тысячъ... эта цифра то носится передо мною въ видѣ знаковъ, то растягивается безконечною лентой лежащихъ рядомъ труповъ... Если ихъ положить, плечо съ плечомъ, то составится дорога въ восемъ верстъ... Что же это такое?.. Быкъ, на глазахъ котораго убиваютъ подобныхъ ему быковъ, чувствуетъ, вѣроятно, что-нибудь похожее... Онъ не понимаетъ, чему его смерть послужитъ, и только съ ужасомъ смотритъ выкатившимися глазами на кровь и реветъ отчаяннымъ, надрывающимъ дущу голосомъ" и т. д.

Разсказъ Деньщикъ и офицеръ представляетъ картинку двухъ совершенно безполезныхъ военныхъ существованій въ мирное время—деньщика, почти идіота, оторваннаго отъ убогой крестьянской семьи, гдѣ онъ составлялъ цѣнную рабочую силу, и скудоумнаго, недоучившагося офицера, который большею частью спитъ или ругаетъ деньщика за недостаточно скорое соблюденіе разныхъ вздорныхъ услугъ, вродѣ поданія спичекъ, справокъ о погодѣ и т. п. Повъствованіе не лишено юмора, которымъ вообще Гаршинъ обладалъ несомнѣнно, и можно только пожалѣть, что, вѣроятно, подъ вліяніемъ своей мрачной болѣзни, онъ такъ скупо надѣлилъ имъ свои произведенія.

Безукоризненнымъ въ художественномъотно-

шеніи и едва ли не самымъ капитальнымъ произведеніемъ Гаршина слѣдуетъ назвать его очеркъ Изъ воспоминаний рядового Иванова. По этому поводу, кажется, не было разногласія и въ критикъ. Дъйствительно, хотя Гаршинъ, какъ вѣчно и мучительно размышляющій гуманисть и меланхоликъ, почти отсутствуетъ въ этомъ очеркѣ и съ этой стороны индивидуальныя особенности автора не такъ рельефно запечатлѣлись въ этомъ произведеніи, но ни въ какой другой вещи Гаршинъ не достигалъ такой зрълости таланта и совершенства исполнения. Въ разсказѣ нѣтъ ни завязки, ни внѣшняго интереса, ни пристегнутой идеи. Здъсь просто передается длинный переходъ одного рядового, изъ студентовъ, отъ Кишинева за Дунай въ Турцію, среди массы войска, въ неизвѣданныхъ для новобранца условіяхъ походной жизни. Но съ перваго же слова васъ увлекаетъ жизненность и яркость повъствованія. Нътъ лишней фразы, нъть расплывчатаго образа, нъть шаблонности и литературнаго гарнира.

Разсказчикъ сразу заставляетъ васъ жить общею съ нимъ жизнью: вы вступаете въ новыя для васъ мъста, попадаете въ самую середину сърой солдатской массы, переносите вмъстъ съ ней дожди, зной, жажду, тяжелую ходьбу, двигаетесь за ней къ смутной и трагической цъли, начинаете различать въ ней рельефныя лица, заинтересовываетесь всъмъ, что окружаетъ автора, и, проходя мимо забавныхъ, тяжелыхъ и мучительныхъ, или бодрящихъ и возвышающихъ душу картинъ, добираетесь, наконецъ, до перваго сраженія. Каждая фигура, попадающаяся въ разсказъ, отъ бригаднаго генерала до мелкихъ типовъ солдатъ изъ простонародья, нарисована ярко, съ трезвымъ реализмомъ, нъсколькими штрихами. Будучи поставленъ въ ближайшее соприкосновение съ народомъ-плечо къ плечу съ своими товарищами-солдатами, авторъ не впалъ въ сантиментальность и не изуродовалъ своей картины фальшью: въ его правдивомъ изображеніи народныхъ типовъ чувствуется лишь та любовь къ простому человъку, къ его силѣ, здравому смыслу, терпѣливости, юмору, къ его свѣжей и мѣткой рѣчи, которая отличала всѣхъ нашихъ лучшихъ писателей. Между эскизными и мимолетными, хотя всегда живыми типами этого очерка любопытство читателя невольно сосредоточивается на офицеръ Венцелъ. Этотъ Венцель, человѣкъ молодой, литературно-образованный и даже не чуждый любви къ поэзіи, съ невфроятною жестокостью обращается съ солдатами при малъйшемъ ихъ отступленіи отъ дисциплины. Солдаты съ трепетомъ и ненавистью произносили его имя, и однажды въ толпъ раздается даже нѣчто вродѣ загадочной угрозы: "Погоди, найдутъ и на него управу... Въ дюйстви тоже будемъ". Жестокость Венцеля непостижима: напримъръ, задремавшаго солдата онъ безпощадно бьетъ по плечамъ желѣзными ножнами своей сабли; другого, позволившаго

себѣ курить во фронтѣ, онъ съ остервенѣніемъ бьетъ по лицу, до крови, обѣими руками. Систему свою Венцель объясняетъ немногими словами: "Я дѣлаю это не изъ жестокости: во мнѣ ея нътъ. Нужно поддерживать спайку, дисциплину. Если бъ съ ними можно было говорить, я бы дъйствовалъ словомъ. Слово для нихъничто. Они чувствують только физическую боль". Однако, въ первомъ опасномъ дѣлѣ этотъ Венцель, увъренный въ безукоризненной дисциплинированности своихъ солдатъ и ничуть не боясь ихъ ненависти, ведетъ свою роту въ самый огонь; его отбивають три раза, онъ ведеть въ четвертый. Затъмъ, послъ большого урона, онъ ведеть остатки своей роты въ пятый разъ и, наконецъ, отбиваеть у турокъ позицію. Раздается "ура". Оказывается, что турокъ было втрое больше, чъмъ нашихъ. Такъ восторжествовала система Венцеля — этого, повидимому, бездушнаго фанатика дисциплины.

"Вечеромъ, — заканчиваетъ Гаршинъ, — мы были уже на старомъ мъстъ. Иванъ Платонычъ (ротный командиръ) позвалъ меня пить чай.

"- Венцеля видѣли?-спросилъ онъ.

"- Нѣтъ еще.

"— Подите къ нему въ палатку, позовите къ намъ. Убивается человъкъ... "Пятьдесятъ два, пятьдесятъ два!"—только и слышно. Подите къ нему!..

"Тонкій огарокъ'слабо осв'ящалъ палатку Венцеля. Прижавшись въ уголкъ палатки и опустивъ голову на какой-то ящикъ, онъ глухо рыдалъ".

Эта заключительная сцена одна изъ самыхъ сильныхъ во всѣхъ разсказахъ Гаршина. Воспоминанія рядового Иванова, по нашему мнѣнію, должны быть приписаны къ безусловно-лучшимъ образцамъ русской прозы.

Психіатрическими разсказами Гаршина мы назвали: *Ночь и Красный цевтокъ*. Собственно, вообще наше дѣленіе разсказовъ Гаршина сдѣлано больше для удобства изложенія, и мы за него не стоимъ, потому что и психіатрическій, и назидательный элементы болѣе или менѣе свойственны почти всѣмъ произведеніямъ Гаршина. Но въ этихъ двухъ очеркахъ авторъ, очевидно, изображаетъ душевно-больныхъ.

Ночь знакомить нась съ послѣдними думами человѣка, рѣшившагося на самоубійство. Алексѣя Петровича (такъ зовуть героя разсказа) Гаршинъ нигдѣ не называетъ сумасшедшимъ и даже, быть можетъ, въ глубинѣ души, считаетъ его высшимъ существомъ, да и самая близость геніальности и сумасшествія, какъ извѣстно, всегда допускалась; но такъ какъ внѣшняго повода для рокового исхода у Алексѣя Петровича нѣтъ, и его рѣшимость покончить съ собою оказывается принципіальною, какъ выводъ ума изъ всей жизни, то мы въ правѣ считать, что авторъ рисуетъ намъ ненормальнаго, больного человѣка. Алексѣй Петровичъ пришелъ къ самымъ безотраднымъ выводамъ и о себѣ, и о жизни. "Куда впередъ-не знаю, но только вонъ изъ этого заколдованнаго круга. Въ прошломъ нъть опоры, потому что все ложь, все обманъ..." "Онъ понялъ себя, понялъ, что въ немъ, кромъ лжи, ничего нѣтъ и не было; что если онъ сдѣлалъ что нибудь въ своей жизни, то не изъ желанія добра, а изъ тщеславія; что онъ не дълалъ злыхъ и нечестныхъ поступковъ не по неимънію злыхъ качествъ, а изъ малодушнаго страха передъ людьми". Эти мрачныя думы прерываетъ, какъ въ Фаустъ, звукъ колокола. Вспоминается дътство, религія. "Да, тогда все казалось твмъ, какъ оно казалось. Красное такъ и было красное, а не отражающее красные лучи". Захотвлось той чистой любви, которую знають только дъти. "Господи, хоть бы какого-нибудь настоящаго, неподдѣльнаго чувства, не умирающаго внутри моего я. Въдь есть же міръ! Колоколъ напомнилъ мнъ про него. Когда онъ прозвучалъ, я вспомнилъ церковь, вспомнилъ толпу, вспомнилъ огромную челов вческую массу, вспомнилъ настоящую жизнь. Вотъ куда нужно уйти отъ себя и вотъ гдъ нужно любить... Вырвать изъ сердца этого сквернаго божка, уродца съ огромнымъ брюхомъ, это отвратительное я, которое, какъ глистъ, сосетъ душу и требуетъ себѣ все новой и новой пищи..." Нужно "отвергнуть себя" (какъ сказано въ святомъ писаніи), убить свое я, бросить на дорогу...

9*

Алексви Петровичь приходить въ торжественное состояніе отъ этого открытія, и, повидимому, умираеть отъ наплыва радостныхъ чувствъ, потому что послв многоточія авторъ отъ себя прибавляетъ, что къ утру возлв трупа найдено было заряженное, попрежнему, оружіе. Болвэненный экстазъ задушилъ Алексвя Петровича, замвнивъ собою выстрвлъ, на который онъ уже рвшился. Финалъ теменъ, какъ заглавіе очерка.

Итакъ, влеченіе къ самоубіиству было безумное, но въ то же время идейное, порожденное муками альтруизма. Не знаешь, куда отнести Алексъя Петровича: къ благороднымъ ли, но несчастнымъ, заблуждающимся философамъ, или къ душевно-больнымъ, потому что физическій способъ истребленія эгоизма посредствомъ истребленія самой жизни, очевидно, не разрѣшалъ тѣхъ вопросовъ, которые замучили этого трагическаго идеалиста. И вотъ его страданія благодаря своей отвлеченности, какъ-то мало западають въ душу. Тамъ, гдъ тяжелая тоска Алексъя Петровича имъетъ неопредъленный бользненный характеръ, гдъ, напримъръ, прислушиваясь къ постукиванію часовъ, онъ доходитъ до галлюцинаціи слуха и слышитъ монотонное: "помни, помни, помни", или тамъ, гдѣ описывается его поѣздка къ знакомому доктору съ цёлью похитить револьверъ для самоубійства и его хитрое обхожденіе съ прислугой для завладёнія оружіемъ, --- разсказъ

силенъ, онъ захватываетъ, тревожитъ читателя; но какъ только Гаршинъ начинаетъ группировать въ головъ Алексъя Петровича такія размышленія, которыя должны показать намъ соціальный мотивъ его разсчетовъ съ жизнью. художественный интересъ исчезаетъ, впечатлѣніе слабъетъ и патологическій очеркъ начинаетъ сбиваться на диссертацію. Впрочемъ, ужъ такова личность Гаршина, что подъ его перомъ эти отвлеченныя мученія кажутся вполнѣ искренними: поневолѣ съ довъріемъ продолжаешь выслушивать самого автора, хотя иллюзія въ правдивости изображаемаго имъ Алексъя Петровича уже совершенно утрачивается.

То же замѣчаніе вполнѣ примѣнимо къ другому очерку этой категоріи: Красный цвютокъ. Разсказъ этотъ произвелъ большую сенсацію, преимущественно между юными поклонниками Гаршина, и ставится ими чуть ли не превыше всего, что онъ сдѣлалъ. Въ память этого произведенія, вѣнки изъ краснаго мака возлагались на гробъ Гаршина, и теперь вышелъ литературный сборникъ, подъ заглавіемъ Красный ивътокъ. Увлечение это вполнъ объяснимо. Здъсь изображенъ умирающій сумасшедшій, который принимаеть алый цв втокъ въ палисадник в больницы за обликъ злого духа, за олицетвореніе зла во всемъ мірѣ, и съ неимовѣрными страданіями срываеть его, чтобы послѣ этого усилія умереть съ измятымъ цвъткомъ въ рукъ, прижатой ко впалой груди... Въ этой картинъ есть

несомнѣнная эффектность, въ особенности для молодого воображенія, для юныхъ великодушныхъ сердецъ. Но раздвоеніе, на которое мы указали въ разсказѣ *Ночь*, выступаеть здѣсь еще рельефнѣе. Правда, что исторія знаетъ не одного геніальнаго идеалиста, который жертвовалъ жизнью за истину, за общее благо и котораго толпа считала безумцемъ, но это были, во всякомъ случаѣ, не такіе безумцы, которые, по доставленіи въ больницу, дебютировали съ высокомѣрной фразы:

"Именемъ его императорскаго величества государя императора Петра Перваго объявляю ревизію сему сумастедшему дому"!

Ясно, что это сумасшедшій въ самомъ узкомъ смыслѣ слова. Дѣйствія такого сумасшедшаго не имъютъ ровно никакой цъны. Онъ такъ же легко можетъ увлечься ролью мученика 38 правду, какъ и ролью важнаго и строгаго ревизора. И фальшь разсказа состоить именно въ томъ, что этому сумасшедшему подсказывается бредъ, въ тонкомъ литературномъ вкусѣ, бредъ съ тенденціей. Поэтому, не отрицая внѣшней, театральной красивости подобнаго замысла, мы думаемъ, что тв части разсказа, гдв описывается прівздъ сумасшедшаго въ больницу, самая больница, въ особенности первая ванна и мученія въ ней больного, его разговоры съ докторами, его блуждание среди другихъ сумасшедшихъ, постепенное ухудшение его недуга и т. п.-гораздо выше въ художественномъ отношении. Здъсь

видны правда, сила, мастерство; здѣсь чувствуется дѣйствительное, пережитое и выстраданное авторомъ—и трудно пробѣгать эти тяжкія страницы безъ содроганія и безъ угнетенія мысли чѣмъ-то чуждымъ, страшнымъ для нормальнаго человѣка.

Слѣдуетъ серія разсказовъ, которые мы назвали назидательными, со включеніемъ сюда сказокъ и параболъ.

Встръча изображаетъ намъ, какъ въ одномъ большомъ южномъ городѣ (повидимому, ΒЪ Одессѣ) встрѣтились бывшіе школьные товарищи: одинъ, назначенный туда учителемъ гимназіи, и другой, служившій тамъ инженеромъ. Учитель озадаченъ внезапнымъ разбогатѣніемъ инженера и за ужиномъ, въ его раскошной квартирѣ, узнаетъ, что онъ разжился на обкрадываніи казны. Инженеръ защищаеть теорію наживы, ссылаясь на то, что понятія о честномъ и нечестномъ зависятъ отъ взгляда, отъ извѣстной точки зрѣнія, и соблазняетъ своего друга не быть "телятиной". Учитель негодуеть, предостерегаеть товарища, не сдается на его софизмы и, въ концъ концовъ, остается при убъждении что "вольному воля". Этотъ очеркъ, какъ видите, отвѣчаетъ на живой современный вопросъ, который и разрѣшается авторомъ съ кротостью, свойственною его сердцу.

Въ разсказ В Художники представлены два

живописца: Дъдовъ, разсуждающій, что "пока ыт пишешь картину-ты художникъ, творецъ написана она-ты торгашъ", и Рябининъ, который желалъ бы "вліять" картинами на публику, проводить свои идеи. "Другіе,—говоритъ онъ, --- называють карьеру академиста художественною дѣятельностью; что это нѣчто художественное-спора нътъ, но что это дъятельность"... Рябининъ иронизируетъ и сомнѣвается. Однажды онъ отправляется съ Дъдовымъ на котельный заводъ и видитъ тамъ, какъ дѣлаютъ заклепки на швахъ котловъ. "Человъкъ садится въ котелъ и держитъ заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на нихъ грудью, а снаружи мастеръ колотитъ по заклепкъ молотомъ и выдълываетъ шляпку. Рабочіе мруть, какъ мухи: годъ-два вынесеть, а потомъ, если и живъ, то ръдко куда-нибудь годенъ. Имъ приходится грудью выносить удары молота, да еще въ котлѣ, въ духотѣ, согнувшись въ три погибели". Ихъ зовутъ "глухарями", потому что они часто глохнуть оть трезвона. И вотъ Рябининъ задумываетъ написать такого глухаря. Композиція картины прекрасна. "Вотъ онъ сидитъ передо мною-пишетъ Рябининъ, --- въ темномъ углу котла, скорчившійся, олѣтый въ лохмотья. Его совсѣмъ не было бы видно, если бы не свътъ, проходящій въ круглыя дыры, просверленныя для заклепокъ. Кружки этого просвѣта пестрять его одежду и лицо, свътятся золотыми пятнами на его лохмотьяхъ, на всклокоченной и закопченной бородъ и волосахъ, на багрово-красномъ лицѣ, по которому струится потъ, смѣшанный съ грязью, на жилистыхъ надорванныхъ рукахъ и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющійся страшный ударь обрушивается на котелъ и заставляетъ несчастнаго напрягать всѣ свои силы, чтобы удержаться въ своей невъроятной позв. Насколько можно было выразить это напряженное усиліе, я выразилъ". Надъ этою картиной Рябининъ чуть не сходить съ ума, переносить нервную горячку и по выздоровленіи бросаеть живопись. Онъ поступаеть въ учительскую семинарію. Тенденція разсказа понятна. Однако, помимо нам'вреній автора, оба художника отступають здёсь на задній планъ и дъйствительнымъ героемъ выдъляется одинъ "глухарь"---этотъ образъ изможденнаго труженика, нарисованный съ мастерствомъ и съ пламеннымъ состраданіемъ.

Въ сжатомъ и сильномъ разсказъ Сигналъ изображены два желъзнодорожныхъ сторожа: добрый и смиренный Семенъ и строптивый, завистливый и мстительный Василій. Василій ропщетъ на скудное содержаніе, ненавидитъ барствующее начальство дороги и однажды, получивъ ударъ по лицу отъ начальника дистанци, задумываетъ устроить на его участкъ катастрофу. Онъ снимаетъ съ пути рельсъ передъ самымъ прибытіемъ поъзда. По счастью, Семенъ подстерегъ Василія. Василій, завидя Семена, убъгаетъ. Растерявшійся Семенъ, не имѣя подъ рукой сигнальнаго краснаго флага, прорѣзываетъ себѣ руку, намачиваетъ кровью платокъ и подымаетъ его на палкѣ. Въ виду поѣзда, Семенъ начинаетъ слабѣть отъ потери крови и готовъ уже уронить флагъ, когда вдругъ подбѣжавшій Василій, растроганный его подвигомъ, подхватываетъ сигналъ и останавливаетъ поѣздъ. Обвелъ Василій всѣхъ глазами, опустивши голову.

"- Вяжите меня, - говорить, - я рельсъ отворотилъ".

Это покаяніе, вызванное энтузіазмомъ къ чужой душевной красоть, исполнено глубокой драматической силы.

Маленькая граціозная поэма въ прозѣ Attalea princeps воспъваетъ чудную пальму, которая задумала своимъ ростомъ достигнуть потолка теплицы и разрушить его, чтобы увидать вольное небо. Другія растенія надъ ней подтрунивали, но ей удивлялась и сочувствовала мелкая, блёдная ползучая травка. Когда же посыпались стекла крыши и надъ нею возвысилась зеленая корона пальмы, attalea почувствовала острое прикосновеніе снѣжинокъ, увидала грязное небо и готова была снова спрятаться подъ крышу отъ холоднаго вътра. Къ тому же, директоръ ботаническаго сада приказалъ спилить ее у самаго корня, чтобы она вновь не надълала бъды. Пальму спилили. Маленькая травка, обвившая ея стволъ, тоже попала подъ пилу.

"Вырвать эту дрянь и выбросить, — сказалъ директоръ. И траву выбросили на задній дворъ, прямо на мертвую пальму"...

Нужно сознаться, что это одна изъ самыхъ изящныхъ аллегорій для воплощенія идеи о тяжкой расилатъ стараго порядка со всякимъ смъльчакомъ, поднимающимъ на него руку, и о неизбъжномъ разочарованіи идеалиста при встръчъ съ дъйствительностью.

Сказка о жабъ и розъ была, очевидно, приготовлена Гаршинымъ для дътскаго журнала и написана дътскимъ языкомъ. Замыселъ ея неудаченъ. Прожорливая жаба, пріютившаяся въ одномъ цвътникъ, пожелала "слопать" прекрасную розу. Но въ ту минуту, когда жаба, обдирая себъ лапки и брюхо объ шипы, уже добиралась до цвътка, его сорвала одна дъвушка для своего умирающаго маленькаго брата. Потомъ розу поставили въ отдѣльномъ бокалѣ у гробика. Молодая дъвушка, когда ставила ее на столъ, поднесла къ губамъ, поцъловала и уронила на нее слезинку. Прикосновение этой слезинки было лучшимъ происшествіемъ въ жизни розы. Сказка неинтересна и смыслъ ея очень теменъ. Ужъ нъть ли туть намека на то, что поэзія должна утолять несчастныхъ, а не лакомить пресыщенныхъ?..

Гораздо удачнъе другая басня для дътей, напечатанная въ журналъ Родникъ: Лягушка путешественница, гдъ осмъивается хвастовство лягушки, придумавшей путешествовать съ помощью перелетныхъ утокъ. Она держалась стиснутыми челюстями за прутикъ, который несли въ своихъ клювахъ поперемѣнно двѣ утки изъ стаи. Когда же она услышала съ земли мужиковъ, восклицавшихъ: "Кто бы это придумалъ?"—она не вытерпѣла и квакнула: "Это я, я!" — и свалилась. Басенка эта художественно обработана и, конечно, сохранится въ дѣтской литературѣ.

Но выше всёхъ произведеній въ этомъ родё басня: То, чего не было. Въ ней съ очень милымъ и тонкимъ юморомъ пародируются различные взгляды на задачи жизни. Тутъ легко узнать нёкоторыя модныя общественныя теоріи. Споръ ведуть между собою навозный жукъ, муравей, кузнечикъ, лошадь, улитка, гусеница, мухи и ящерица. Всё типы соблюдены со вкусомъ и мастерствомъ. Разсказъ такъ веселъ и забавенъ, что въ немъ даже трудно узнать Гаршина. Въ символическомъ родѣ эту вещь можно назвать образцовою, достойною, по своей отдѣлкѣ и содержательности перевода на всѣ языки. Она, въроятно, относится къ самому здоровому періоду творчества Гаршина.

Наконецъ, Сказаніе о гордомъ Аггею есть искусное подражаніе послѣднимъ сказкамъ для народа гр. Л. Толстого. Особый стиль повѣствованія соблюденъ съ безупречною техникой. Гордый и богатый правитель Аггей, пройдя черезъ различныя испытанія судьбы, дѣлается поводыремъ слѣпыхъ и такъ привязывается къ новымъ обязанностямъ, что когда ангелъ Божій предлагаетъ ему вернуться къ прежней жизни, то Аггей отвѣчаетъ:

"Нѣтъ, господинъ мой, ослушаюсь я твоего велѣнія, не возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантіи. Не оставлю я слѣпыхъ братій своихъ: я имъ и свѣтъ, и пища, и другъ, и братъ. Прости ты меня и отпусти въ міръ къ людямъ: долго я стоялъ одинъ среди народа, какъ на каменномъ столпѣ, высоко мнѣ было, но одиноко; ожесточилось сердце мое, исчезла любовь къ людямъ. Отпусти меня!—И отпустилъ его ангелъ. И работалъ Аггей всю жизнь на бѣдныхъ, слабыхъ и угнетенныхъ".

Остаются затёмъ разсказы, не относимые нами ни къ какимъ категоріямъ: разсказъ Медекди, сущность котораго мы уже передали, и еще два, составляющихъ одно цёлое: Происшествіе и Надежда Николаевна.

Происшествіе состоить въ томъ, что нѣкій Иванъ Ивановичъ, влюбившись въ проститутку Надежду Николаевну (по ходячему имени — Евгенію) и убѣдившись, что она не можеть ни полюбить его, ни вернуться къ порядочной жизни, съ отчаянія застрѣливается. Надежда Николаевна нарисована нѣсколько по-книжному, съ примѣненіемъ давнишняго способа идеализаціи падшей женщины. Способъ очень простъ: такой женщинѣ обыкновенно приписываются горькія, обличительныя размышленія о мужчинахъ, а ея дальнѣйшее пребываніе, несмотря на такое воззрѣніе, въ той же профессіи объясняется истерическимъ равнодушіемъ къ будушему. Такъ сдълала и Надежда Николаевна. Она не ръшается на сближение съ Иваномъ Ивановичемъ, между прочимъ, и потому, что боится отъ него впослъдстви упрековъ за свое прошлое. Обыденность замысла и построенія не мѣшаетъ разсказу отличаться чувствомъ и драматизмомъ. Сердечность автора и здъсь подкупаетъ. Особенно сильна послѣдняя сцена "происшествія": отвергнувъ окончательно любовь Ивана Ивановича, Надежда Николаевна лишь по выходъ изъ его квартиры, уже на улицъ, начинаетъ соображать и ясно чувствовать, что теперь, въ эту минуту, онъ долженъ застрѣливаться. Опрометью бъжить она назадъ и въ то мгновеніе, когда она схватывается за ручку двери, за дверью раздается выстрѣлъ.

Незадолго до смерти Гаршину вздумалось вернуться къ Надеждѣ Николаевнѣ и дорисовать ее въ цѣлой повѣсти, озаглавленной ея именемъ. Но повѣсть эта оказалась слабѣе всего, что онъ сдѣлалъ. Мы застаемъ здѣсь Надежду Николаевну, нѣсколько лѣтъ спустя послѣ "происшествія", все въ той же профессіи, соедпняемой, при томъ, съ болѣе или менѣе постояннымъ сожительствомъ съ литераторомъ Безсоновымъ. Въ нее же влюбляется и молодой живописецъ Лопатинъ, нашедшій въ ней идеальную модель для задуманной имъ картины Шарлотта Корде. Къ этимъ лицамъ припутаны еще двѣ совершенно лишнихъ и неинтересныхъ фигуры: пріятель Лопатина, Гельфрейхъ-спеціалисть по изображению кощекъ, и содержатель меблированныхъ комнатъ, капитанъ Грумъ-Скжебицкій-полякъ, занимающійся камими-то темными дълами. Рядъ безцвътныхъ сценъ и растянутыхъ разговоровъ между этими лицами заканчивается совершеннымъ сумбуромъ: Безсоновъ изъ ревности убиваетъ Надежду Николаевну, смертельно ранить Лопатина и самъ застръливается. Весь разсказъ точно происходить подъ небосклономъ Достоевскаго, въ его атмосферѣ, въ тѣхъ особенныхъ сумеркахъ, которыя даютъ чувствовать бол взненное настроеніе писателя; но ни силы, ни глубины, ни энергіи Достоевскаго туть нѣтъ и слѣда. Въ этой предпослъдней вещи, написанной Гаршинымъ, дарованіе зам'ятно изм'янило ему...

Гаршинъ оставилъ еще фельетоны: Подлинная исторія энскаго земскаго собранія — первая печатная вещь Гаршина, имѣющая, вѣроятно, мѣстный интересъ, но ничѣмъ не превышающая обыкновенныя удачныя сатиры въ легкомъ родѣ; Очень коротенькій романъ — набросокъ въ такомъ же вкусѣ для Стрекозы — насмѣшка надъ рыцаремъ, который отправился на войну, чтобы покорить сердце возлюбленной, но потерялъ на войнѣ ногу и прозѣвалъ свою невѣсту; Ахскорское дъло — афтобіографическое сообщеніе о сраженіи, въ которомъ самъ Гаршинъ былъ раненъ въ ногу; Письма о передвижныхъ выставкахъ, полныя цённыхъ характеристикъ нашихъ художниковъ и живыхъ описаній самихъ картинъ, и, наконецъ, Петербургскія письма (въ газету Южный Край), гдё встрёчаются художественныя описанія Петергофа и того самаго Волкова кладбища, на которомъ пріютились останки нашего писателя.

Закончивъ обзоръ произведеній Гаршина, мы, прежде всего, остановимся на его писательской техникъ. Гаршинъ умълъ писать вполнъ свободно только отъ перваго лица. Въ этой любимой формѣ написаны имъ лучшіе разсказы. Когда встрвчалась необходимость завязать двйствіе между нъсколькими лицами, Гаршинъ затруднялся и всегда сбивался на дневникъ. Такъ, дневники отъ разныхъ дъйствующихъ лицъ введены въ изложение Происшествія и Надежды Николаевны и весь разсказъ Художники сдѣланъ помощью параллельныхъ дневниковъ Дъдова и Рябинина. Но развитіемъ темы Гаршинъ владълъ легко, никогда не расплывался и до такой степени очищалъ свою работу отъ праздныхъ разглагольствованій, что въ одной рецензіи разсказы его были названы "вылизанными". Не думаемъ, чтобы здъсь имъло мъсто вылизываніе: писателю, одаренному върнымъ вкусомъ, соразмърность частей дается сама собою, при самой концепціи и планировкъ его работы.

Въ слогъ и языкъ Гаршинъ былъ большимъ пуристомъ-воспитанный, какъ намъ кажется, на образцахъ Тургенева. Тургеневъ считалъ своимъ кумиромъ Пушкина; Гаршинъ учился у Тургенева, и такимъ образомъ, пушкинскій трезвый языкъ по завъту передается теперь его младщимъ литературнымъ внукамъ. Гаршинъ отличался самымъ простымъ и, въ то же время, сдержаннымъ языкомъ; пуще всего онъ остерегался отъ банальностей и отъ чужихъ готовыхъ оборотовъ и выраженій. Эти готовыя литературныя формы рвчи-самый тлетворный грибокъ для писательской работы; не пройдетъ пяти-семи лъть, какъ эти, ходившіе въ извъстный періодъ, эпитеты, метафоры и словечки начинають издавать запахъ плёсени, отдають стариною. Возьмите пушкинскую прозу и теперь: тамъ все просто и все свое; нътъ кудреватостей и нътъ затхлости: все интересно и все молодо. Такова сила сжатой и содержательной простоты изложенія. Можно и слѣдуетъ искать новыхъ формъ для мысли, свѣжихъ эпитетовъ и уподобленій, но гдъ нътъ въ нихъ надобности, тамъ всегда спасаетъ одна простота, и надо соблюдать ее во что бы то ни стало, сколько бы ни жужжало въ ушахъ готовыхъ украшеній для описанія, вродъ "свинцовыя тучи", "сердитыя волны", "угрюмыя скалы", "причудливая бахрома листьевъ" и т. д. Ктонибудь сказалъ первый "свинцовая туча"- и прекрасно, — это его собственное уподобление: 10

пусть оно за нимъ и останется. Въдь это не то, что сърая туча или черная, — иначе и сказать нельзя, цвътъ передать необходимо. Нътъ, "свинцовая туча" есть прикраса, сближеніе съ металломъ, своего рода открытіе, которымъ неловко пользоваться, по меньшей мъръ, безъ кавычекъ. Вотъ этихъ-то свинцовыхъ тучъ вы нигдъ не найдете у Гаршина. До какой степени онъ былъ щепетиленъ въ отношенін этихъ чужихъ клише, лучше всего покажетъ намъ одна цитата изъ его разсказа Встръча. Учитель гимназіи задумывается надъ своею будущею дъятельностью, — Гаршинъ пишетъ:

"Онъ думалъ, какъ онъ будетъ съ первыхъ классовъ угадывать "искру Божію" (кавычки) въ мальчикахъ; какъ будетъ поддерживать натуры, "стремящіяся сбросить съ себя иго тьмы" (все вводное предложеніе въ кавычкахъ); какъ подъ его надзоромъ будутъ развиваться молодыя, свѣжія силы, "чуждыя житейской грязи" (опять кавычки).

Мы думаемъ, что огромное большинство пишущихъ—просто, безъ всякихъ кавычекъ, поставили бы прямо отъ себя искру Божію, стремленіе сбросить иго тьмы и отчужденіе отъ житейской грязи, да и еще были бы при этомъ убъждены, что они прекрасно "владъютъ перомъ" и пишутъ блестящимъ слогомъ.

Но лучшую сторону техники Гаршина составляють описанія; зд'всь онъ—настоящій живописець. Недаромъ его всегда тянуло въ кружокъ художниковъ, гдѣ очень цѣнились его сужденія. Выставки были для цего праздникомъ: онъ на нихъ суетился, волновался и блаженствовалъ по поводу какой-нибудь художественной находки или мътко и добродушно трунилъ надъ фальшивыми пріемами. Пріемы самого Гаршина въ его словесной живописи достойны изученія; онъ сразу широко захватывалъ предметъ и давалъ только его выдающіяся черты, хорошо помня, что въ длинныхъ описаніяхъ части цѣлаго исчезають въ памяти. Онъ умѣлъ угадывать, какая именно подробность (какъ, напримъръ, штиблеты убитаго турка) выведеть описываемый образъ изъ тумана и закрѣпитъ его у читателя. Слова у него всегда выбираются самыя точныя: деревья и травы называются своимъ именемъ, какъ у Тургенева, и это гораздо сильнъе ничего не говорящихъ метафоръ; инструментъ, мелкая вещица всегда описываются наглядно, какъ на чертежѣ; никогда не разбавляеть онъ своего ландшафта чувствами, потому что хорошо написанный ландшафть самъ по себъ сообщить читателю требуемое настроеніе, безъ толкованій автора. У среднихъ дарованій сопровожденіе пейзажа изліяніями чувствъ всегда влечетъ за собою ординарность, избитость описанія и отучаеть начинающихь авторовъ отъ красокъ. Вообще лиризмъ, юморъ, олицетвореніе, фигуральность въ прозаическихъ описаніяхъ доступны только лучшимъ мастерамъ слова, да и у нихъ оправдываются исклю-10*

чительнымъ складомъ ихъ генія, особымъ богатствомъ поэзіи въ ихъ натурѣ. Таковы: Тургеневъ, Гоголь, Диккенсъ, Гюго, Гейне. Но гр. Толстой, который, въ сущности, не поэтъ а первостепенный живописецъ и психологъ,—гр. Толстой никогда не вносить лиризма въ описаніе природы; а Лермонтовъ. имѣвшій исходъ для своего кипучаго лиризма въ стихахъ, оставилъ намъ въ Въ геров нашего времени образцы самыхъ рельефныхъ описаній въ прозѣ, гдѣ вы очень-очень рѣдко встрѣтите небольшой, но всегда глубокій штрихъ, передающій душевное состояніе, но гдѣ вся сила таланта Лермонтова направлена на выпуклое, сильное п простое изображеніе самой природы.

Гаршиновскія описанія не длинны, а иногда такъ сжаты, что ихъ едва можно отмѣтить, но ихъ разбросано у него множество — въ Воспоминаніяхъ рядового Иванова: утро въ Кишиневѣ передъ отходомъ дивизіи; дороги, проходимыя войсками; дожди и жары; переправа черезъ лужу по командъ генерала; ночь и разсвѣтъ въ лагерѣ: въ разсказѣ Встръча: взморье; квартира инженера Кудряшева и его акварій; въ Медвъдяхъ: видъ съ обрыва; въ Художникахъ: разные этюды и темы картинъ и т. д.

По сущности своей, произведенія Гаршина всего менѣе могуть быть пазваны разсказами. Разсказъ, прежде всего, долженъ быть занимательнымъ: въ немъ предполагается интересное осбытіе, съ быстрою развязкой, сжатая бытовая

картинка, анекдотъ, сюрпризъ, маленькая драма или комедія, — словомъ, дъйствіе, движеніе, ускоренное и сконцентрированное на маломъ пространствъ, или характерный, животрепещушій отрывокъ изъ дъйствительности. У Гаршина только Четыре дня, Сигналъ и, пожалуй, Происшестве соотвътствуютъ типу разсказа. Въ остальныхъ преобладають картины, чувства, идеи: завязки почти нътъ-и, въ общемъ, эти очерки скорње можно назвать идейными стихотвореніями въ прозѣ, чѣмъ разсказами. Ни одного характера Гаршинъ не создалъ; дъйствующія лица очерчивались имъ всегда съ одной какой-нибудь стороны, нужной для его темы; мы знаемъ, напримъръ, какъ его художникъ, учитель, инженеръ, волонтеръ смотрфли на свои обязанности и профессію, но какіе они были люди, какова была ихъ индивидуальность-мы не видимъ. Все это фигуры безъ плоти и безъ наружностей, аллегорическіе символы въ маленькихъ поэмахъ. Исключение составляють Воспоминанія рядового Иванова, гдъ Гаршинъ писалъ чудесные, живые эскизы съ натуры. Но если Гаршинъ не владълъ главнымъ орудіемъ разсказчика, т. е. умѣньемъ подстрекать любопытство читателя самою фабулой своихъ очерковъ, за то у него гораздо болѣе цѣнный и рѣдкій даръ --- способность комбинировать ситуаціи, полныя потрясающаго внутренняго трагизма. Правда, такихъ ситуацій не много, но, въдь, много ли ихъ есть и вообще въ громадномъ и чудесномъ царствѣ вымысла? Трагическія положенія, чуждыя фальшиваго эффекта, принадлежатъ къ очень ръдкимъ цънностямъ въ поэзіи. У Гаршина мы назовемъ три такихъ ситуаціи, неотразимо волнующихъ читателя: 1) столкновение тяжело-раненаго съ трупомъ убитаго имъ врага и ограбленіе имъ этого же самаго трупа для поддержанія своей жизни; 2) запоздалую догадку Надежды Николаевны на улицъ, что въ эту самую минуту оставленный ею въ квартиръ Иванъ Ивановичъ долженъ застрѣливаться, и 3) внезапное раскаяніе въ своемъ злодѣянія Василія, при видъ изнемогающаго Семена, который, не щадя своей жизни, явился предупредить вредъ отъ его преступленія. Всв эти комбинаціи хватаютъ насъ за сердце, и сколько бы ни стало для насъ очевиднымъ, что авторъ ихъ нашелъ, выдумалъ, --- онѣ не потеряютъ своей власти надъ нами, и въ этомъ признакъ выдающейся творческой фантазіи. Добавимъ еще, что измышленіе и разработка такихъ положеній доступны только писателямъ съ глубокою и сильною душой.

Заключаемъ наши выводы.

Если Гаршинъ, несмотря на свои счастливыя вдохновенія, художественный вкусъ, наблюдательность и прекрасно выработанный языкъ, не оставилъ въ своихъ твореніяхъ памятныхъ человъческихъ образовъ, живыхъ дътей своей фантазіи, за то онъ съ удивительною прозрачностью отразиль въ своей книгъ свой собственный образъ. А этотъ образъ очень знаменателенъ. Личность Гаршина была замъчательно полнымъ, типическимъ выраженіемъ извъстнаго умственнаго теченія: Гаршинъ вииталъ въ себя и съ глубокою страстностью выразилъ въ своей книгъ весь культъ лучшей части того поколѣнія, съ которымъ онъ выросъ. Первыя впечатленія юности и затемъ развитіе полнаго самосознанія Гаршина совпадають съ періодомъ отъ сербской войны до катастрофы 1 марта 1881 года. Это былъ второй, самый напряженный послъреформенный періодъ: народничество въ литературъ, народничество въ революціи и общій подъемъ національнаго чувства передъ разразившеюся войной. Россія воевала внутри и снаружи; и тамъ, и здъсь падали жертвы. Молодыя натуры не могли, не сознавали за собою права оставаться равнодушными, -- надо было такъ или иначе служить этой взбаломученной общественной массъ. Но какъ служить? Герой предшествующаго періода, Базаровъ, уже отжилъ свое время и во многомъ вышелъ изъ моды, скомпрометированный своими преемниками. Эстетика, которую онъ отвергъ, понемногу, еще сконфуженная и большею частью подъ контрабандой, но неудержимо возвращалась; нервы, истрепанные ужасными зрѣлищами, уже не могли идти въ сравненіе

со свѣжими, базаровскими нервами, а, между тъмъ, задачи стояли еще болъе сложныя, вопіющія, неотразимыя. Вопросъ, какъ служить общественной массь, сдвлался настоящимъ мученіемъ. Уроженецъ Малороссіи, возросшій среди племени, удивительно сочетавшаго чувствительность и смышленность, одаренный чистымъ и любящимъ сердцемъ и головой, воспаленной наслъдственнымъ недугомъ, т. е. повышенно-воспріимчивой, Гаршинъ представлялъ изъ себя организмъ въ высшей степени приспобленный къ тому, чтобы сделаться самымъ типическимъ souffre-douleur'омъ этой эпохи. Трагизмъ его положенія осложнялся тѣмъ, что разсудкомъ онъ понималъ безплодность насилія, а сердцемъ отворачивался отъ него. Но онъ не оставался неподвижнымъ, -- онъ прямо жертвовалъ-не душою, а всёмъ тёломъ своимъ, на полъ битвы, гдъ и былъ раненъ. Правда, и война есть насиліе, но Гаршинъ оправдывалъ свое участіе въ ней тѣмъ, что здѣсь обязанность причинять насиліе можетъ пасть, какъ жребій, на долю каждаго, самаго незлобиваго человѣка, что здѣсь это насиліе не есть актъ индивидуальнаго сознанія, и потому шелъ на него, чтобы избавить отъ него другихъ. И въ мирное время Гаршинъ страдалъ неразрѣшимыми вопросами общаго горя-не риторически, не для фразы, а самымъ реальнымъ образомъ. Его Алексъй Петровичъ, готовый лишить себя жизни за то, что не сумълъ жить общими

интересами всего человѣчества, его сторожъ Семенъ, истекающій кровью, чтобы спасти повздъ, его безумецъ, срывающій ядовитый цвѣтокъ, чтобы избавить міръ отъ зла, его художникъ Рябининъ, чуть не помѣшавшійся отъ невозможности просвътить толпу изображеніемъ страдающаго глухаря, - все это, очевидно, самъ Гаршинъ: все это его собственная неотступная манія самопожертвованія и страданія за чужое горе, возвращавшаяся къ нему въ постоянно новыхъ и новыхъ образахъ фантазіи. Потребность выводить и рисовать эти образы была у Гаршина неудержима: онъ иллюстрировалъ ими свою горячую проповъдь, которой всегда самъ слѣдовалъ въ своей жизни, считая ее единственно-возможнымъ принципомъ существованія. Посмотрите, напримѣръ, какимъ пламеннымъ состраданіемъ, какимъ горькимъ самобичеваніемъ за невозможность оказать помощь проникнуты эти строки, обращенныя къ образу труженика-глухаря въ разсказъ Художники (стр. 144, 150, 151, ч. I). "Кто позвалъ тебя? Я, я самъ создалъ тебя здъсь. Я вызвалъ тебя, только не изъ какой-нибудь "сферы", а изъ душнаго, темнаго котла, чтобы ты ужаснулъ своимъ видомъ эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силой моей власти прикованный къ полотну, смотри съ него на эти фраки и трэны, крикни имъ: я — язва ростущая! Ударь ихъ въ сердце, лиши ихъ сна, стань передъ ихъ глазами призракомъ! Убей ихъ спокойствіе, какъ ты убилъ мое"...

"...Удары приближаются и бьють вмёстё съ моимъ пульсомъ. Во мнѣ они, въ моей головѣ, или внѣ меня? Звонко, рѣзко, четко... разъ-два, разъ-два... Бьетъ по металлу и еще по чему-то. Я слышу ясно удары по чугуну; чугунъ гудить и дрожить. Молоть сначала тупо звенить, какъ будто падаетъ въ вязкую массу, а потомъ бьетъ звонче, и наконецъ, какъ колоколъ, гудить огромный котель. Потомъ остановка, потомъ снова тихо; громче и громче, и опять нестерпимый, оглушительный звонъ. Да, это такъ: сначала быють по вязкому, раскаленному желѣзу, а потомъ оно застываетъ. И котелъ гудитъ, когда головка заклепки уже затвердѣла. Понялъ. Но тѣ, другіе звуки... Что это такое? Я стараюсь понять, что это такое, но дымка застилаетъ мнѣ мозгъ. Кажется, что такъ легко припомнить, такъ и вертится въ головъ, мучительно близко вертится, а что именно-не знаю. Никакъ не схватишь... Пусть стучитъ, оставимъ это. Я знаю, но только не помню"... "И вотъ все сливается въ ревъ и я вижу... Вижу: странное, безобразное существо корчится на землъ отъ ударовъ, сыплющихся на него со всѣхъ сторонъ. Цълая толпа бьетъ, кто чъмъ попало. Туть всв мон знакомые съ остервенвлыми лицами колотять молотами, ломами, палками, кулаками это существо, которому я не прибралъ названія. Я знаю, что это-все онъ же... Я кидаюсь впередъ, хочу крикнуть: "перестаньте! за что?" и вдругъ вижу блѣдное, искаженное, необыкновенно страшное лицо, — страшное потому, что это мое собственное лицо. Я вижу, какъ я самъ другой я самъ замахивается молотомъ, чтобы нанести неистовый ударъ"... (*Разсказы*. Первая книжка, стр. 144, 150 и 151).

Читая этоть глубоко-страстный монологъ, встръчая другія мъста въ сочиненіяхъ Гаршина, гдъ, напримъръ, онъ такъ мучительно скорбитъ о всъхъ, убитыхъ на войнъ, или съ такою жалостью вспоминаеть даже собачку, раздавленную конкой, или съ умиленіемъ подозръваетъ цълыя сокровища любви въ душъ падшей женщины, или такъ мягко пристыжаетъ своего товарища, узнавъ, что тотъ разбогатѣлъ отъ нечестной наживы, вы мало-по-малу открываете во всей книгъ всегда одно и то же: любящее, нъжное, чистое, благородное и безконечно-великодушное лицо-самого автора. Вы невольно начинаете его любить, потому что онъ самъ одна любовь, одно сострадание ко всему живущему. Искренность его ричей такъ доказательна, что на его книгъ, нигдъ не встрътивъ его самого, вы уже можете поклясться, что онъ вашъ заочный другъ въ каждомъ горѣ и что онъ окажется такимъ же на дълъ, если вы къ нему обратитесь. Такой выводъ объ авторъ въ настоящее время вполнѣ подтверждается восторженными воспоминаніями о его личности всѣхъ тѣхъ, кому довелось встрѣчать его въ жизни и знать ближе. Этоть свъть всеобъемлющей любви, исходящей изъ книги Гаршина, и объясняетъ, почему имя его нашумъло, быть можетъ, гораздо болѣе, чѣмъ онъ того заслуживалъ съ точки зрѣнія одной литературной оцънки. Вотъ почему и такая толпа молодежи провожала гробъ Гаршина. Она хоронила въ Гаршинѣ благороднѣйшаго изъ идеалистовъ, когда-либо появлявшагося въ ея рядахъ, идеалиста безъ крови, завъщавшаго жертвовать человъчеству только собой, безъ посягательства на личность другого. Поэтому всв партіи безъ различія могуть съ одинаковымъ сочувствіемъ почтить память этого чиствишаго человвка; въ сердцахъ же юношества онъ навсегда останется печальною, милою тёнью. Образъ Гаршина былъ слишкомъ пѣльнымъ, слишкомъ зависимымъ отъ его исключительнаго темперамента и отъ современной ему эпохи, чтобы онъ могъ повториться. Онъ отошелъ въ въчность безвозвратно. И если бы къ такому простому, сердечному, безыскусственному писателю, какимъ былъ Гаршинъ, было дозволительно примънить поэтическую аллегорію, мы бы назвали его passi-flora, цвъткомъ страданія, выросшимъ на почвъ, обагренной кровью, подъ темными небесами смутнаго времени.

1889 г.



О НЕКРАСОВЪ.

I.

Спорный поэтъ... И прежде другихъ, онъ самъ себя оспаривалъ: "Нътъ въ тебъ поэзіи свободной, мой суровый, неуклюжій стихъ!" "мнѣ борьба мъшала быть поэтомъ"... Какъ на крайнее мнѣніе противъ Некрасова, можно указать на отзывъ Тургенева: "я убъжденъ, что любители русской словесности будуть перечитывать лучшія стихотворенія Полонскаго, когда самое имя г. Некрасова покроется забвеніемъ. Почему же это? А просто потому, что въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна поэзія, и что въ бълыми нитками сшитыхъ, всякими пряностями приправленныхъ, мучительно высиженныхъ измышленіяхъ г. Некрасова, — ея-то, поэзіи-то и нътъ на грошъ, какъ нътъ ея, напримъръ, въ стихотвореніяхъ всѣми уважаемаго и почтеннаго А. С. Хомякова, съ которымъ, спѣщу прибавить, г. Некрасовъ не имъетъ ничего общаго" ("С.-Петербургскія Вѣдомости", 1880 г., № 8).

Комментаріемъ къ этому печатному заявленію Тургенева служить его письмо къ Полонскому изъ Веймара отъ 29-го января 1870 г.: "ты можетъ быть и правъ въ томъ, что ты говоришь мнѣ по поводу Некрасова; но, повѣрь, я всегда былъ одного мнѣнія о его сочиненіяхъ – и онъ это знаетъ; даже, когда мы находились въ пріятельскихъ отношеніяхъ, онъ ръдко читалъ мнв свои стихи, а когда читалъ ихъ, то всегда съ оговоркой: "я молъ, знаю, что ты ихъ не любишь". Я къ нимъ чувствую нѣчто въ родъ положительнаго отвращенія: ихъ "arrière goût"-не знаю, какъ сказать по-русски-особенно противенъ: отъ нихъ отзываетъ тиной, какъ отъ леща или карпа". Еще ранъе того (13-го января 1868 г.) Тургеневъ писалъ Полонскому: "г. Некрасовъ-поэтъ съ натугой и штучками; пробовалъ я надняхъ перечесть его собраніе стихотвореній... нътъ! Поэзія и не ночевала туть-и бросиль я въ уголь это жеванное папьемаще съ поливкой изъ острой водки". Природное отчуждение Тургенева отъ музы Некрасова сказалось и въ его "Призракахъ": "у раскрытаго окна высокаго дома (пролетая надъ Петербургомъ), —пишетъ Тургеневъ — я увидѣлъ дъвицу въ измятомъ шелковомъ платьъ, безъ рукавчиковъ, съ жемчужной съткой на волосахъ и съ папироской во рту. Она благоговъйно читала книгу: это былъ томъ сочинений одного изъ новъйшихъ Ювеналовъ. – Улетимъ! сказалъ я, Эллисъ" ("Призраки" XXII).--Почему же это

Тургеневъ, привътствовавшій поэзію во всемъ и всюду, отмѣтившій, напримѣръ, у Добролю-"удивительное" стихотвореніе: "пускай бова умру — печали мало", — почему Тургеневъ совсёмъ отрицалъ Некрасова? Эту, правда, нъсколько капризную и преувеличенную непріязнь Тургенева къ произведеніямъ Некрасова едва ли можно объяснить личными отношеніями между обоими писателями; въроятно, въ некрасовской лирикъ было дъйствительно нъчто такое, что болѣзненно раздражало чуткую эстетическую натуру Тургенева. И Тургеневъ былъ не одинъ. Изъ эстетиковъ, Страховъ очень смѣло и настойчиво обличалъ Некрасова въ дъланности эффектовъ и въ поэтической безтактности. Изъ либераловъ, Антоновичъ утверждалъ, что Некрасовъ "не былъ собственно лирическимъ поэтомъ, творящимъ и поющимъ въ поэтическомъ увлечении: онъ творилъ холодно-обдуманно и строго сознательно" ("Слово". Февраль 1877 г.). Самъ поэтъ въ себѣ сомнѣвается, другіе тоже. Что-нибудь туть кроется. Туть виноваты: либо природа самого таланта, либо раздвоеніе въ его функціяхъ, либо-и то и другое вињстћ.

Всѣ признавали даровитость Некрасова. Застигнутый позитивными вкусами общества, онъ искалъ новыхъ дорогъ, новыхъ пріемовъ; онъ заставилъ приверженцевъ чистаго искусства оспаривать его славу и путаться въ опредѣленіяхъ: что же такое собственно поэзія? Эта большая и мудреная литературная сила напрашивается на изученіе.

"Мнъ борьба мъшала быть поэтомъ", говорить Некрасовъ. Не одна борьба, но и время, въ которое онъ дъйствовалъ, и требованіе читателей, и вліяніе руководящихъ критиковъ и, конечно, больше всего-ссбственная натура Некрасова, самая положительная, дёльная, земная, какую только можно себъ представить. Пусть онъ былъ энергичнымъ, искреннимъ, даже пламеннымъ дѣятелемъ слова, ---все-таки грунтъ его природы былъ по преимуществу практическій, вкусы-трезвые и матеріальные. Красота, женская любовь-эти въчные родники поэзіи,-почти не пробуждали его вдохновенія. Въ женщинь онъ любилъ физическое здоровье, смуглую кожу, румянецъ, полный станъ, стройность и соразмфрность: "Она мила, дородна и красива" (на Волгъ), "соразмърная, стройная" ("Дешевая покупка"), "Гдѣ твое личико смуглое", "Тройка", "Саша" и т. д.

Всѣ лирическія пьесы Некрасова, посвященныя любви, постоянно, роковымъ образомъ, возвращаются къ домашнимъ сценамъ и распрямъ, обнаруживающимъ неуживчивость писателя съ нѣжнымъ поломъ ("Если мучимый страстью мятежной", "Поражена потерей невозвратной", "Я посѣтилъ твое кладбище... твой смѣхъ и говоръ... бѣсили мой тяжелый, больной и раздраженный умъ", "Я не люблю ироніи твоей", "Мы съ тобой безтолковые люди: что минута, то вспышка готова", "Да, наша жизнь текла мятежно, разстаться было неизбъжно", "Нервы и слезы" и пр.). Природа вызываетъ поэтическое чувство въ сердцѣ каждаго, даже не поэта; она составляетъ главное счастье простолюдина и, конечно, въ поклонникъ народа она должна была найти своего естественнаго, сильнаго пъвца. Такимъ и былъ Некрасовъ. Его обращенія къ родинъ, къ Волгѣ, къ русскому простору исполнены порою захватывающаго лиризма; они лышатъ мощью, скорбью и любовью: картины леса, деревни, крестьянскаго поля нарисованы ярко и реально, отъ нихъ в етъ то свъжестью, то грустью; въ "Сашѣ" и "Морозѣ" Некрасовъ далъ истинно-поэтическія олицетворенія лета и зимы. Но эта отзывчивость къ природъ, какъ чувство общее всъмъ, не составляетъ еще отличительной примъты богатаго поэтическаго темперамента. Да и здъсь, если вычесть исключительныя настроенія Некрасова, вы откроете въ немъ того же положительнаго человѣка: желчнаго въ ненастье, добраго на свѣжемъ морозцѣ, проклинающаго тифъ и холеру, разносимые петербургскими вътрами, вполнъ довольнаго только на охотъ, въ своей деревнъ, за городомъ:

"Любуясь мёсяцемъ, оглядывая даль, Мы чувствуемъ въ душё ту тихую печаль, Что слаще радости... Откуда чувства эти? Чёмъ такъ довольны мы... Вёдь мы уже не дёти! Ужель поденный трудъ наклонности къ мечтамъ Еще въ насъ не убилъ?.. И намъ ли, бёднякамъ,

11

На отвлеченныя природой наслажденья Свободы краткія отсчитывать мгновенья? — Э, полно разсуждать! искать всему причинз! Деревня согнала съ души давнишній сплинъ, Забыта тяжкая, гнетущая работа, Докучной бъдности безсмънная забота — И сердцу весело...

Наконецъ, въ главномъ нервъ своей дъятельности, въ томъ, что создало его великую славу, въ печаловании о народномъ горъ, въ защитъ угнетенныхъ и обездоленныхъ, — на чемъ именно Некрасовъ сосредоточивалъ всю силу своего состраданія? На нищетъ, голодъ и холодъ, на болѣзняхъ, на мукахъ отъ зноя въ страдную пору, на трудностяхъ этапнаго перехода, на удушливыхъ потемкахъ каторжныхъ норъ, на вредномъ воздухъ фабрикъ для дътей и рабочихъ, на невыносимыхъ тягостяхъ бурлацкаго труда, на убожествъ мелкихъ чиновниковъ, --словомъ, всегда и главнымъ образомъ — на матеріальныхъ невзгодахъ меньшой братіи. Ръчь его была сильная, проповёдь горячая и грозная, --- но въ основъ все-таки сидълъ человъкъ дъла, рачитель объ общественныхъ нуждахъ, красноръчивый гигіенисть или пламенный соціальный депутатъ. Великій день освобожденія крестьянъ, даровавшій народной массь блага нравственныя, встрѣтилъ со стороны Некрасова лишь весьма слабый привътъ въ видъ коротенькаго, въ 16 строчекъ, стихотворенія "Свобода"... Некрасовъ не былъ настолько экзальтированъ,

чтобы растеряться и ошалѣть въ такую минуту. Онъ тутъ же сказалъ: это не все. Тринадцать лѣтъ спустя, въ своей "Элегіи" (1874 г.), Некрасовъ писалъ:

> Я видѣлъ красный день: въ Россіи нѣтъ раба! И слезы сладкія я пролилъ въ умиленьи... "Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьи", Шепнула муза мнѣ: "Пора идти впередъ: "Народъ освобожденъ, но счастливъ линародъ?.."

Все это такъ, но ни слезъ умиленія, ни ликованія Некрасова по поводу освобожденія крестьянъ—ни въ одномъ его стихотвореніи, совпадающемъ съ этой славной эрой, вы не найдете. Неудовлетворенный съ самаго начала, онъ все ждалъ, когда же станетъ "сноснъй крестьянская страда?" когда побъжитъ "по лугу, играя и свистя, съ отцовскимъ завтракомъ довольное дитя?" Цъли земныя, насущныя, всегда оставались болъе близкими сердцу Некрасова. Такова сущность натуры поэта, обличаемая его книгой. Уже въ самой его личности есть много задатковъ для раздоровъ съ музой.

II.

Содержанію соотвѣтствуеть и форма. Стихотворный тексть точно также весьма часто выдаеть Некрасова. Кто-то, въ похвалу Некрасову, высказалъ, что достоинство его произведеній состоить именно въ томъ, что, будучи переложены въ прозу, они, въ виду своей содержа-11* тельности, ничего бы не потеряли. Предательская похвала! Въдь въ такомъ случаъ возникаеть неизбъжный вопросъ: зачъмъ же они были написаны стихами? Стихотворная форма есть законный видъ искусства, имѣющій свою особенную область. Внё этой формы предметы поэзіи дълаются неузнаваемыми. Одна лишь музыкальная рёчь способна передать и запечатлёть нёкоторыя неуловимыя настроенія; съ разрушеніемъ мелодіи все исчезаеть. А у Некрасова лъйствительно добрыхъ двъ трети его произведеній могуть быть превращены въ прозу и не только ничуть отъ этого не пострадаютъ, но даже выиграють въ ясности и полнотъ. Есть цѣлыя страницы, которыя стоить только напечатать безъ абзацовъ, съ самой незначительной перестановкой словъ, съ прибавкой двухътрехъ союзовъ, и никто не узнаетъ, что это были стихи. Воть примъръ (изъ "Русскихъ женшинъ").

"Старикъ говоритъ:

— Ты о насъ-то подумай! Въдь мы тебъ не чужіе люди: и отца, и мать, и дитя, наконецъ, ты всъхъ насъ безразсудно бросаешь. За что же?

— Отецъ! Я исполняю долгъ.

— Но за что же ты обрекаешь себя на муку?

— Я тамъ не буду мучиться. Здѣсь ждетъ меня болѣе страшная мука. Да вѣдь если я, послушная вамъ, останусь, меня разлука истерзаетъ. Не зная покоя ни днемъ, ни ночью, рыдая надъ бѣднымъ сироткой, я все буду думать о моемъ мужѣ, да слышать его кроткій упрекъ..."

Какъ видите, здѣсь нѣтъ ни малѣйшаго слѣда мелодіи, а между тѣмъ это почти буквальное перепечатываніе нижеслѣдующихъ сомнительномузыкальныхъ строкъ:

> Старикъ говорилъ: "Ты подумай о насъ, Мы люди тебъ не чужіе: И мать, и отца, и дитя, наконецъ. Ты всъхъ безразсудно бросаешь, За что же?"—"Я долгъ исполняю, отецъ!" — "За что ты себя обрекаешь На муку?"—"Не буду я мучиться тамъ! Здъсь ждетъ меня страшная мука. Да если останусь, послушная вамъ, Меня истерзаетъ разлука. Не зная покоя ни ночью, ни днемъ, Рыдая надъ бъднымъ сироткой, Все буду я думатъ о мужъ моемъ, Да слышать упрекъ его кроткій…"

Къ чему же, спрашивается, эдѣсь стихотворная форма, когда она ровно ничего не прибавляеть къ разсказу ни въ красотѣ, ни въ силѣ впечатлѣній?

И такихъ опытовъ съ некрасовскими стихами можно сдёлать множество. Что же это доказываетъ? Это доказываетъ, что стихотворная форма, по природѣ своей, не необходима для большинства сюжетовъ, изображаемыхъ авторомъ, и не существенна для передачи его настроенія, что она мало пригодна для того матеріала, которымъ авторъ такъ часто наполняетъ свой тексть. "Языкъ боговъ" не сливается съ этимъ матеріаломъ въ одно цѣлое, онъ не преобразовываеть его въ нѣчто лучшее и легко спадаеть съ него, какъ бренная шелуха. А попробуйте продълать то же самое хотя бы, напримъръ, съ фетовскимъ: "Шопотъ, робкое дыханье": въ прозъ эта вещица совсъмъ погибнетъ, какъ алмазъ, перегоръвшій въ уголь. Или вздумайте, напримѣръ, перекладывать въ прозу "Демона" или "Онѣгина",—да въ этихъ стихахъ столько музыки, что вы не совладаете съ ними; рифмы будуть пъть въ прозъ, вамъ будетъ больно дълать эту ломку,-вы почувствуете, что вы терзаете, губите нѣчто живое и волшебное... А если бы вамъ и удалось разрушить метръ, напримъръ, въ какой нибудь строфъ "Онъгина", хотя бы имѣющей, повидимому, самое прозаическое содержаніе, то вы все-таки увидите, что нѣчто обаятельное исчезло, что извѣстная мелодія была туть необходима: что рифмы позлащали какую-нибудь шутку, выдвигали острое слово, что складный тонъ создавалъ готовые афоризмы, незабываемые штрихи,--что вообще къ этимъ заколдованнымъ словамъ нельзя прикасаться безнаказанно. А здъсь, у Некрасова, все это дозволено и нисколько не вредить существу дъла. Почему же Некрасовъ употреблялъ въ этомъ случав стихи? Можно думать, что Некрасовъ добросовъстно заблуждался и часто самъ не подозрѣвалъ, что пишетъ рифмованную прозу. Онъ не отличался особенною чуткостью къ формѣ и самъ сознавалъ "неуклюжесть" во многихъ случаяхъ своего стиха. Онъ даже впадалъ иногда въ смѣшныя и крупныя музыкальныя ощибки, выбирая для цёлыхъ большихъ пьесъ совсѣмъ не подходящій размѣръ. Такъ, напримъръ, "Русскихъ женщинъ" (княгиня Трубецкая) Некрасовъ написалъ такимъ же размѣромъ, какимъ Жуковскій написалъ свою сказку "Громобой", а Пушкинъ — балладу "Женихъ" (съ тою лишь разницею, что Некрасовъ совсѣмъ отбросилъ женскія рифмы). Ничего нельзя было неудачнее придумать. Что вполне годилось, по своей эффектной и звонкой монотонности, къ сказочному сюжету, - то вышло до прискорбія забавно въ примънени къ такому вполнъ достовърному событію, какъ поъздка княгини Трубецкой въ Сибирь къ сосланному мужу, ея бъдствія въ дорогѣ, дѣловые разговоры съ губернаторомъ и т. д. Или, напримъръ, на пушкинскій мотивъ: "Мчатся тучи, вьются тучи", такъ совпадающій съ круженіемъ мятели — Некрасовъ пишетъ слъдующее:

> И откуда чортъ приводитъ Эти мысли? Бороню, Управляющій подходитъ; Низко голову клоню, Поглядъть въ глаза не смъю, Да и онъ-то не глядитъ – Знай накладываетъ въ шею. Шея, въришь ли, трещитъ! Только стану забываться,

Голосъ барина: Трофимъ! Недоимку! Кувыркаться Начинаю передъ нимъ и т. д. "Ночлеги". III. У Трофима.

Итакъ, Некрасовъ могъ и самъ не подозръвать, что въ указанныхъ нами случаяхъ онъ пишетъ рифмованную прозу. Въ его время въ дълъ поэзіи (вообще разжалованной) не придавали особеннаго значенія соотвѣтствію между формой и содержаніемъ. Главное было-содержаніе. А стихотворная форма была все-таки пригоднъе для распространения содержимаго въ публикъ; стихи короче, они не утомляютъ и, по своей складности, легче запоминаются; многіе обрадовались, что могутъ читать стихи, какъ газету; читатели поощряли Некрасова, и онъ охотно върилъ, что его стихи "живъе къ сердцу принимаются", чъмъ пушкинскіе ("Поэтъ и Гражданинъ"). Некрасовъ сталъ этому поддаваться и затъмъ надолго пріучилъ русскую публику требовать отъ стиховъ прозы. Онъ повліялъ и на всѣхъ начинающихъ поэтовъ послѣдующаго періода: никто изъ нихъ не избъгъ журнальнаго языка и дѣловой обстоятельности въ самыхъ лирическихъ, по замыслу, пьесахъ. "Но въ чемъ же тутъ бъда? спросятъ насъ. "Поэтъ высказалъ все, что ему было нужно сказать; всѣ его прекрасно поняли и полюбили. Чего же больше"... Никакой бъды, конечно, нътъ и побъдителей не судятъ. Но все должно быть поставлено на свое мъсто и мы только утверждаемъ, что во многихъ случаяхъ высшая, музыкальная форма рѣчи была обращена Некрасовымъ на дѣло, несвойственное ея природѣ, или была пущена въ ходъ неумѣло, съ непониманіемъ внутреннихъ законовъ этого искусства, и потому для этихъ вещей наступитъ расплата, какъ за всякое насиліе природы: въ поэзіи онѣ жить не будутъ, это была поэзія обиходная, удешевленная для всеобщаго употребленія, поэзія-аплике, мельхіоровая; политура съ нея мѣстами уже сходитъ и современемъ сойдетъ совсѣмъ. Что дѣлать! Поэзія такъ создана, что она живетъ только въ формахъ, неразрывно слитыхъ съ ея содержаніемъ; иначе — неминуемо послѣдуетъ разложеніе.

Намъ могутъ возразить: но въдь можетъ быть поэзія и въ произведеніяхъ, написанныхъ прозою; сколько, напримфръ, поэзіи въ прозф Лермонтова, Тургенева, Гоголя и если нъкоторыя некрасовскія пьесы, при обращеніи ихъ въ прозу, ничего не теряють, то признайте же за ними поэзію, по крайней мёрё, въ этой, не стихотворной формъ. Но туть опять выступають свои непреложные законы каждаго искусства. Несомнѣнно, что и въ прозаической формѣ можетъ содержаться бездна поэзіи. Такую прозу можно перелагать въ стихи съ условіемъ, чтобы стихи внесли нѣчто новое, чего недостаетъ прозъ-окрылили скрытый въ ней напъвъ, соотвътствовали бы по своей мелодіи настроенію подлинника, какъ музыка на слова романса, и такимъ образомъ, хотя бы нъсколько расцвътили, своеобразно украсили оригиналъ. Но если вы сдълаете обратный пріемъ, т. е. если первообразъ, по замыслу автора, написанъ стихами, а вы эти стихи переложите въ прозу и не только ничего не потеряете, но, напротивъ, иногда выиграете, то будьте увърены, что это стихи весьма неважные.

Конечно, помощью такого опыта переложенія, реакцію на прозу дасть только изв'встная часть произведеній Некрасова. Но за то этоть опыть (давно, впрочемъ, изв'встный)—непогрѣшимъ, и если что потеряеть въ прозаическомъ переложеніи, то знайте, что тамъ-то именно большею частью и есть поэзія. И такой поэзіи останется у Некрасова еще очень много, — поэзіи сильной и самобытной.

Предлагаемая нами экспертиза, если вы къ ней прибъгнете, покажетъ вамъ, что Некрасовъ по преимуществу является истиннымъ поэтомъ въ тъхъ случаяхъ, когда онъ излагаетъ народныя темы народнымъ говоромъ ("Въ дорогъ", "Зеленый шумъ", "Коробейники", "Власъ", "Кому на Руси жить хорошо", "Крестьянскія дъти" и т. д.) или когда онъ пишетъ литературнымъ языкомъ пьесы безъ тенденціи ("Рыцарь на часъ", "Тишина", "Саша", "Буря", личныя стихотворенія и проч.).

Впрочемъ, обратимся къ подробностямъ.

- 171 -

Ш.

Неръдко впадая въ грубые диссонансы, не особенно чуткій къ поэтическимъ тонкостямъ, Некрасовъ, однако, благодаря своей необычайной даровитости, открылъ для русской поэзіи новые звуки, новыя оригинальныя формы. Онъ былъ къ тому вынужденъ временемъ. Время "Искры", Оффенбаха и великихъ реформъ глумленія надъ старымъ и созиданія новаго это время требовало, чтобы поэзія, если она желала имъть слушателей, понизила свой тонъ, опростилась. Некрасовъ приспособился къ этому трудному положению. Онъ извлекъ изъ забвенія заброшенный на Олимпъ анапесть и на долгіе годы сдёлаль этоть тяжеловатый, но покладистый метръ такимъ же ходячимъ, какимъ со времени Пушкина до Некрасова оставался только воздушный и пъвучій ямбъ. Этотъ облюбованный Некрасовымъ ритмъ, напоминающій вращательное движение шарманки, позволялъ держаться на границахъ поэзіи и прозы, балагурить съ толпою, говорить складно и вульгарно, вставлять веселую и злую шутку, высказывать горькія истины и незамѣтно, замедля такть более торжественными словами, переходить въ витійство. Этимъ размъромъ, начиная со вступительной пьесы "Украшають тебя добродътели", написано большинство произведеній Некрасова и потому за нимъ осталось прозваніе некрасовскаго размъра. Такимъ способомъ Некрасовъ сохранилъ вниманіе къ стихамъ въ свое трудное время и хотя-бы уже за одно это ему должны сказать большое спасибо эстетики, потерпѣвшіе отъ него столько кровныхъ обидъ. Затъмъ, унылые дактили также пришлись по сердцу Некрасову: онъ ихъ также приголубилъ и обратилъ въ свою пользу. Онъ сталъ ихъ сочетать въ раздѣльныя двустишія и написалъ такой своеобразной и красивой музыкой цёлую поэму "Саша". Нѣкоторый пуризмъ, котораго держались въ отношения народной рѣчи Кольцовъ и Никитинъ, былъ совершенно отброшенъ Некрасовымъ: онъ пустилъ ее всю цѣликомъ въ поэзію. Съ этимъ, подчасъ весьма жесткимъ матеріаломъ, онъ умѣлъ дѣлать чудеса. Въ "Кому на Руси жить хорошо" пъвучесть этой совсъмъ неочищенной народной речи иногда разливается у Некрасова съ такой силой, что въ стремительномъ потокъ напъва совершенно исчезаютъ щенки и мусоръ. Въ рифмахъ вообще Некрасовъ былъ искусенъ и богать; но особеннаго богатства онъ достигалъ въ простонародныхъ мотивахъ. Лучшимъ примъромъ тому можетъ служить "Власъ". Короткія строчки "Коробейниковъ" такъ и блещутъ чистыми, складными созвучіями.

> "Ой, полна. полна коробушка, Есть и ситцы, и парча, Пожалѣй, моя зазнобушка, Молодецкаго плеча! Выди, выди въ рожь высокую!

- 173 -

Тамъ до ночки погожу. А завижу черноокую-Всѣ товары разложу. Цёны самъ платилъ не малыя, Не торгуйся, не скупись: Подставляй ка губы алыя. Ближе къ милому садись!" Вотъ и пала ночь туманная. Ждетъ усталый молодецъ. Чу, идетъ! Пришла желанная, Продаетъ товаръ купецъ. Катя бережно торгустся, Все боится передать. Парень съ дъвицей цълуется, Проситъ цёну набавлять. Знаетъ только ночь глубокая. Какъ полалили они. Распрямись ты, рожь высокая, Тайну свято сохрани!

Развѣ это не самая неподдѣльная поэзія и развѣ все это возможно передѣлать въ прозу? Невольно продолжаемъ выписку, чтобы показать, что переходъ къ болѣе будничной темѣ нисколько не ослабляетъ блеска и художественности выполненія:

> "Ой! легка, легка коробушка, Плечъ не ръжетъ ремешокъ! А всего взяла зазнобушка Бирюзовый перстенекъ. Далъ ей ситцу штуку цълую. Ленту алую для косъ. Поясокъ-рубаху бълую Подпоясать въ сънокосъ--Все поклала ненаглядная Въ коробъ, кромъ перстенька:

"Не хочу ходить нарядная Безъ сердечнаго дружка!" То-то дуры вы, молодочки! Не сама ли принесла Полуштофикъ сладкой водочки? А подарковъ не взяла! Такъ постой же! Нерушимое Объщаньице даю: У отца дитя любимое! Ты попомни ръчь мою: Опорожнится коробушка, На покровъ домой приду. И тебя, душа-зазнобушка. Въ Божью церковь поведу!" и т. д.

А какъ, напримѣръ, складны торговые выкрики дядюшки Якова:

> "Новы коврижки— Гляди-ка: книжки! Мальчикъ-сударикъ, Купи букварикъ! Отпы почтенны! Книжки нецѣнны: По гривнъ штука-Дъткамъ наука! Для ребятишекъ Тимошекъ, Гришекъ, Гаврюшекъ, Ванекъ... Букварь не пряникъ. А почитай-ка-Языкъ прикусишь... Букварь не сайка, А какъ раскусишь, Слаще орѣха! Пятокъ-полтина, Глянь-и картина!

— 175 —

Ей-ей, утёха! Уменъ съ нимъ будешь, Денегъ добудешь... По буквари! По буквари! Хватай-бери! Читай-смотри!"

Хотя это сдълано по системъ раешниковъ и разносчиковъ, но обиліе созвучій (почти по слову въ строкѣ) обличаетъ несомнѣнную виртуозность автора въ рифмъ. Была у Некрасова и недюжинная способность находить удачные припъвы: "Умеръ, Касьяновна, умеръ, голубушка, и приказалъ долго жить", "Холодно, странничекъ, холодно, голодно, родименькій, голодно". "Вотъ прівдеть баринь: баринь нась разсудить" и т. д. Наконецъ, въ пьесахъ, написанныхъ ямбами, Некрасовъ достигалъ иногда чревычайно красивой плавности стиха ("Тишина", "На Волгъ", "Поэтъ и Гражданинъ", короткія лирическія пьесы въ родъ: "Внимая ужасамъ войны", "Прости! не помни дней паденья", элегіи "Послѣднія пѣсни" и другіе). Все это показываеть, что Некрасовъ обладалъ обширнымъ музыкальнымъ дарованіемъ, но ужъ таковъ былъ складъ натуры поэта, что онъ постоянно вступалъ въ раздоръ съ мелодіей (какъ съ тъми женщинами, которыхъ любилъ) и толкалъ эту мелодію на дъло, ей совсъмъ не подходящее, но болъе близкое собственнымъ его стремленіямъ и вкусамъ.

Послѣ уничтоженія своего перваго сборника "Мечты и звуки" (въ которомъ-невозможно вообразить!-воспѣвались привидѣнія и загробныя свиданія душъ), Некрасовъ круто повернулъ къ сатирѣ. Начавъ съ шутокъ и куплетовъ, онъ подымалъ тонъ все выше и выше, говорилъ все злѣе и свободнѣе и создалъ самыя разнообразныя формы стихотворныхъ обличеній: разсказы, маленькія поэмы, діалоги, картинки, панорамы талантливЪйшіе жизни, обширные, **VЛИЧНОЙ** фельетоны съ прихотливыми переходами сюжета и настроенія, а иногда и торжественныя проповѣди. Къ послѣднимъ относятся двѣ пьесы, прогремъвшія на всю Россію, облетъвшія всъ сцены и литературные вечера, извъстныя въ свое время каждому наизусть, и потому какъ бы наиболфе связанныя съ памятью о Некрасовѣ: "Убогая и нарядная" и "Размышленія у параднаго подъъзда". Онъ очень характерны. Дъйствіе ихъ на общество было потому такъ сильно, что въ нихъ Некрасовъ находился наиболъе въ гармоніи съ своими стремленіями и призваніемъ, а такжесъ настроеніемъ времени. По ихъ упадку можно судить и остепени обветшанія некрасовской музы. Если вернуться къ прошлому и настроить себя на тогдашній ладъ, — то эти двѣ пьесы, какъ вещи извъстнаго стиля, удержатъ и теперь еще свою особенную красоту и силу. Въ "Убогой и нарядной" первые три стиха могуть быть названы вѣчными:

Безпокойная ласковость взгляда И поддъльная краска ланить, И убогая роскошь наряда— Все не въ пользу ся говорить.

"Безпокойная ласковость взгляда", "убогая роскошь наряда" — здъсь каждый эпитетъ, каждое слово полны красокъ и содержанія; по сжатости и выразительности, по художественной правдъ, эти строки равны лучшимъ пушкинскимъ строкамъ. Семейная обстановка "убогой", вся ея недолгая карьера описаны кратко, сильно и трогательно. По адресу "нарядной" стихъ такъ и блещетъ клеймящимъ краснорѣчіемъ: "Брилліанты, цвѣты, кружева, доводящіе умъ до восторга, и на лбу роковыя слова: "продается съ публичнаго торга"... Это ръшительно неизгладимый ударъ бича! "Парадный подъвздъ", болѣе близкій сердцу автора, и поблекъ гораздо болѣе. Правда, въ этой пьесѣ всегда были преувеличенія, какъ и подобаетъ въ сатирѣ, но многое стало непонятнымъ, потому что мы слишкомъ далеко ушли отъ кръпостного права. Недавно, напримъръ, кто-то намъ замътилъ, что особенно приторно и фальшиво удаленіе крестьянъ отъ подъвзда вельможи съ непокрытыми головами: "и покуда я видёть ихъ могъ, съ непокрытыми шли головами"... - "Чего это они такъ шли!" смъясь, восклицалъ критикъ. А между тъмъ во время кръпостного права мужикъ не смѣлъ покрывать головы ни передъ однимъ прохожимъ дворянскаго вида и, слъдовательно, 12

на петербургской парадной улиць онъ едва ли имълъ случай надъть шапку. Есть преувеличенія въ этомъ стихотвореніи, но есть и большая сила. Группа челобитчиковъ нарисована выразительно и ярко, обращение поэта къ вельможъ полно благородной страсти, кончина вельможи воспъта съ предательскою музыкальностью. вслѣдъ его гробу брошенъ задавленный шопоть негодованія, тирада о народномъ стонъ дышить неподдъльной скорбью, а конецъ-вызовъ къ народу-заключаеть пьесу громаднымъ сценическимъ эффектомъ. Въ этихъ двухъ вещахъ Некрасовъ отразился весь, въ своей настоящей сущности. По природъ своей, онъ болъе всего былъ площадной ораторъ съ трагическими нотами въ голосъ, вооруженный бичомъ и жаломъ сатиры, -- адвокатъ голодающей и приниженной массы, дъйствующій воплями, гиперболами, вымыслами, документами, насмъшками, иногда безъ разбора, чъмъ попало, но всегда дающій сильно почувствовать свое негодующее слово. Недаромъ Некрасовъ, какъ бы обмолвясь, самъ назвалъ себя витіей: "и погромче насъ были витіи-да не сдълали пользы перомъ". Не безъ основанія и Достоевскій называль Некрасова "глашатаемъ".

Кстати о гиперболѣ. Она, конечно, допустима въ сатирѣ, какъ пряность. Но Некрасовъ нѣсколько злоупотреблялъ ею. Уже Страховъ ставилъ ему въ вину такія преувеличенія, что какой-то жалкій чиновникъ (въ стихотвореніи

Digitized by Google

"О погодѣ") "четырнадцать разъ погораль, что во время наводненія "цѣлую ночь пушечный громъ грохоталъ" и "вся столица молилась", что однажды въ сильный морозъ "на пространствѣ пяти саженей" можно было насчитать "до сотни отмороженныхъ щекъ и ушей". Но у Некрасова бывають и болѣе коварныя преувеличенія, не въ одномъ словѣ или сравненіи, а въ цѣломъ тонѣ картины, и притомъ—выраженныя съ такимъ апломбомъ, что читатель сразу и не опомнится. Зато тѣмъ горше дѣлается впослѣдствіи, когда вдругъ, съ послѣднимъ ударомъ кисти, мгновенно почувствуется фальшь цѣлаго образа. Вотъ, напримѣръ:

> Въ нашей улицъ жизнь трудовая: Начинають ни свъть, ни заря, Свой ужасный концертъ, припъвая, Токари, ръзчики, слесаря, А въ отвътъ имъ гремитъ мостовая! Дикій крикъ продавца-мужика, И шарманка съ пронзительнымъ воемъ. И кондукторъ съ трубой, и войска, Съ барабаннымъ идущія боемъ, Понуканые измученныхъ клячъ, Чуть живыхъ, окровавленныхъ, грязныхъ, И дътей раздирающій плачъ На рукахъ у старухъ безобразныхъ. Все сливается, стонеть, гудеть, Какъ-то глухо и грозно рокочеть, Словно цёпи кують на несчастный народъ. Словно городъ обрушиться хочетъ.

Видалъ ли кто-нибудь, въ какіе бы то ин было часы дня или почи, такую "трудовую" 12* улицу въ Петербургѣ, при вступленіи въ которую его бы охватилъ слитный неистовый гулъ и грохотъ, описанный поэтомъ? Какъ всѣ улицы Петербурга, болѣе или менѣе удаленныя отъ центра, подобная трудовая улица обыкновенно представляетъ изъ себя наружный видъ холоднаго благообразія, порядка и сравнительной безлюдности. И читатель невольно раздражается неправдой...

Этотъ дешевый эффектъ—стращать фальшивыми звуковыми впечатлѣніями — составляетъ слабую струнку Некрасова. Мы укажемъ еще одно мѣсто въ "Русскихъ женщинахъ", т. е. уже не въ сатирѣ, а въ поэмѣ. Княгиня Трубецкая разговариваетъ съ мужемъ на свиданіи въ Петропавловской крѣпости. И вдругъ говоритъ:

> "О, милый! что сказаль ты? Словъ Не слышу я твоихъ. То этоть *страшный* бой часовъ, То крики часовыхъ!"

Возможно ли, чтобы меланхолическій звонъ курантовъ и окликъ часового сочетались въ такой оглушительный звукъ, который бы не позволилъ разслышать словъ собесъдника на самомъ близкомъ разстояніи, въ уединенной камеръ? Чего другого, а тишины въ Петропавловской кръпости, кажется, достаточно. Такихъ безвкусныхъ пересоловъ у Некрасова найдется много. Шаржъ въ описаніяхъ, въ сравненіяхъ портитъ иногда самыя дивныя страницы. Напримъръ, въ "Тишинѣ", послѣ прекраснаго и поэтическаго воззванія къ родинѣ, поэть описываеть поля съ рожью колосистой, лѣсъ—и вдругъ, выѣхавъ на дорогу, радуется, что "пыль не стоитъ уже столбами, прибитая къ землю слезами рекрутскихъ женъ и матерей". Этотъ невообразимый дождь. освѣжившій большую дорогу—совершенно нестерпимъ.

Возвращаясь къ сатирамъ, надо сказать, что въ нихъ все-таки виденъ огромный талантъ Некрасова. Въ большихъ сатирахъ ("Кому холодно --- кому жарко", "Газетная", "Балетъ", "Герои и современники", "Медвъжья охота" и др.), Некрасовъ возвысилъ стихотворный фельетонъ до значенія крупнаго литературнаго произведенія. Оригинальная мозаика этихъ причудливыхъ очерковъ содержить превосходные этюды Петербурга того времени. Здъсь постоянно смъняется крикливая каррикатура--върнымъ и живымъ образомъ, желчная иронія-задушевнымъ словомъ, журнальная проза-неожиданной поэтической строфой. Такъ, послъ указаннаго нами описанія "трудовой улицы" слъдуеть нъжное, лирическое обращение къ столичнымъ дътямътруженикамъ; послѣ невѣроятно-трагическихъ приключеній чиновника, погоръвшаго четырнадцать разъ, встрвчается знаменитая трогательная строфа о примътахъ, по которымъ можно розыскать могилу ппсателя и учителя; въ "Балетв" есть полное грусти, набросанное живыми красками, описаніе рекрутскаго обоза; въ "Герояхъ О поэмахъ Некрасова мы уже отчасти говорили. Въ нихъ повторяется то же чередованіе поэзіи и прозы, перемѣшанныхъ, какъ суша съ водою, въ хаосъ. Раздълять ихъ, указывать подробности мы не станемъ. Остановимся на "Русскихъ женщинахъ" — самомъ неудачномъ и поучительномъ произведении Некрасова. Здъсь онъ виденъ весь насквозь съ своей закулисной искусственной работой и слабымъ художественнымъ чутьемъ. Нѣкоторые крупные недостатки были уже нами указаны. Но и въ цёломъ, этовещь отъ начала до конца прозаическая. Планъ поэмы весьма нехитрый: въ первой части описывается долгій и мучительный путь княгини Трубецкой въ Сибирь; во второй, чтобы избъгповтореній — прибытіе другой героини, нуть княгини Волконской, на каторгу, самая каторга и свидание объихъ женъ съ мужьями. Для размазыванія повъствованія Некрасовъ поручаеть княгинъ Трубецкой переживать свои собственныя путевыя впечатлънія въ Римь. а княгинъ Волконской-въ Крыму. Княгиню Трубецкую онъ даже заставляеть уже прямо à la Некрасовъ переноситься мыслью изъ Ватикана на Волгу. къ бурлакамъ. Пользуясь біографіей Пушкина и онъгинской строфой о ножкахъ, Некрасовъ на минуту показываеть намъ тънь великаго поэта рядомъ съ Волконской. Но этотъ образъ вышелъ безцвътнымъ. Автору "Аріона" и "Посланія въ Сибирь", — воспріимчивому, какъ порохъ, свободолюбивому, смѣлому и (непростительно забывать) геніальному Пушкину -- Некрасовъ влагаетъ въ уста водянистые стихи, нъсколько приглаженные "ради формы" и богато уснащенные архаизмами: "сей", "хладъ", "пенаты отцовъ", "съни домашняго сада", "осушатся полныя чаши" и т. п., какъ будто этотъ старинный языкъ, отъ котораго самъ Пушкинъ такъ рано отсталъ, былъ характерною чертою его поэзіи. Одинъ изъ критиковъ, благопріятныхъ Некрасову, объяснялъ неудачу "Русскихъ женщинъ" темъ, что здесь Некрасовъ вышелъ изъ своей привычной сферы. Едва ли это такъ. Политическая ссылка-тема вполнъ некрасовская. Его постоянно тянуло къ этому сюжету, но и въ приторномъ разсказъ "Дъдушка", и въ поэмъ "Несчастные" (гдѣ есть превосходное описаніе петербургскаго утра)-фигуры ссыльныхъ ему не удавались. Върнъе, что Некрасову недоставало настоящаго творчества, умѣнія понять и воспроизвесть минувшее время, исчезнувшіе характеры; а для изображенія судьбы Волконской и Трубецкой требовался еще и настоящій лиризмъ, чувство глубокое и простое, чуждое паеоса и риторики. Всего этого не было у Некрасова. Голые факты изъ жизни двухъ декабристокъ всегда будуть производить болъе трогательное впечатлёніе, чёмъ затёйливые узоры, росписанные Некрасовымъ на ихъ основъ. А сострадание къ ссыльнымъ глубже И сильнъе, чъмъ во всъхъ измышленіяхъ Некрасова, звучить въ слъдующихъ простыхъ словахъ Пушкина:

> "Во глубинъ сибирскихъ рудъ Храните гордое терпънье; Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ И думъ высокое стремленье.

Любовь и дружество до насъ Дойдутъ сквозь мрачные затворы, Какъ въ ваши каторжныя норы Доходитъ мой свободный гласъ.

Оковы тяжкія падуть, Темницы рухнуть—и свобода Вась приметь радостно у входа И братья мечь вамь отдадуть".

На этотъ сердечный и цълящій голосъ пришелъ даже благодарный отвътъ Одоевскаго изъ каторги: "струнъ въщихъ пламенные звуки до слуха нашего дошли"... - 185 ---

IV.

Лирическія стихотворенія Некрасова отличаются тою особенностью, что за которое бы изъ нихъ вы ни взялись, вы въ немъ найлете одного только Некрасова, -- не широкую индивидуальность поэта, не то "я", которымъ многіе поэты начинають свои стихотворенія съ общаго голоса всего человъчества, но именно-одного только Некрасова съ исключительными чертами его жизни и личности. Никогда, читая его, вы не забудетесь настолько, чтобы передъ вами исчезъ авторъ, чтобы въ его пъсняхъ вы нашли что-то свое, до такой степени интимное, будто кто-то невъдомый подслушалъ ваше собственное сердце. Въ личныхъ стихотвореніяхъ онъ всегда остается личнымъ и въ большинствъ случаевъ-немного театральнымъ. Его чувство часто бываетъ глубокимъ, сильнымъ, но никогда простымъ, наивнымъ, а всегда--съ оттънкомъ торжественности. Почти всѣ его лирическія пьесы дёлятся на двё равныхъ половины: одна касается пререканій съ женщинами, другая-литературной делятельности и общественной роли самого поэта. Въ объихъ сферахъ вамъ трудно перенести что бы то ни было на себя: со многимъ вы можете согласиться, но все остается достояніемъ рѣзкой личности самого автора. Некрасовъ говоритъ вамъ, напримъръ, о своей музѣ, о ея назначеніи, о томъ, что онъ завидуетъ "незлобивому поэту;" онъ опровергаетъ взводимыя на него клеветы, клянется въ своей искренности — опасается, что его имя будетъ забыто, или надъется, что его помянутъ добрымъ словомъ, даже пророчитъ себѣ славу, -или зоветь толпу вмёстё съ нимъ помянуть несчастныхъ, или даетъ завъщательныя наставленія, описываеть свой недугь-и все это рышительно неотдѣлимо отъ представленія о немъ самомъ. Такъ что во всѣхъ этихъ стихотвореніяхъ Некрасовъ почти никогда не бываетъ невидимымъ другомъ, двойникомъ своего читателя. Едва ли можно насчитать у Некрасова до десяти стихотвореній, имѣющихъ болѣе или менѣе общее примѣненіе, въ родѣ: "Внимая ужасамъ войны", "Разбиты всѣ привязанности. Разумъ вступилъ въ свои холодныя права". "Я сегодня такъ грустно настроенъ", "Прости! не помни дней паденья", "Бьется сердце безпокойное" и прелестнъйшая элегія: "Ахъ! что изгнанье, заточенье!" Кажется, кромъ этихъ пьесъ, нътъ больше ни одной.

Но во всѣхъ стихотвореніяхъ, въ которыхъ Некрасовъ говоритъ о своей миссіи, есть несомнѣнная поэзія. Въ нихъ прежде всего—полная гармонія между формой и содержаніемъ. Всѣ они написаны плавнымъ, выразительнымъ, отдѣланнымъ стихомъ. Въ нихъ Некрасовъ будто прихорашивался, покидая свой поденный трудъ, и выходилъ на эстраду передъ толпой, въ вѣнкѣ и тогѣ, въ настоящемъ костюмѣ поэта. Онъ любилъ эти большіе выходы, эти праздничные наиѣвы своей музы, нѣсколько эффектные, но всегда искренніе, вызванные мучительнымъ сомнѣніемъ, что его не понимаютъ, что ему не вѣрятъ, что самую лиру считаютъ въ его рукахъ незаконнымъ орудіемъ борьбы. И онъ бывалъ въ этихъ пѣсняхъ очень силенъ, очень краснорѣчивъ; онѣ помогали его дѣлу, увеличивали число его союзниковъ и поклонниковъ. Изъ нихъ можно было бы составить цѣлый кодексъ тенденціозной поэзіи, самую сильную ея защиту. Почти всѣ эти стихотворенія заучивались наизустъ, почти всѣ они прекрасны.

Увы! пока народы Влачатся въ нищеть, покорствуя бичамъ, Какъ тощія стада по скошеннымъ лугамъ, Оплакивать ихъ рокъ, служить имъ будетъ муза, И въ мірв нѣтъ прочнѣй, прекраснѣе союза!.. Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ Въ то время, какъ она ликуетъ й поетъ, Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра— Чему достойнѣе служить могла бы лира?

Я лиру посвятилъ народу своему. Быть можетъ, я умру невъдомый ему, Но я ему служилъ—и сердцемъ я спокоенъ... Пускай наноситъ вредъ врагу не каждый воинъ, Но каждый въ бой иди! А бой ръшитъ судьба... ("Элегія" А. Н. Е-ву).

Иногда въ этихъ пѣсняхъ Некрасовъ достигалъ истиннаго величія:

> .. Но съ дътства прочнаго и кровнаго союза Со мною разорвать не торопилась муза; Чрезъ бездны темныя насилія и зла, Труда и голода она меня вела—

> > Digitized by Google

Почувствовать свои страданья научила И свъту возвъстить о нихъ благословила...

("Муза").

Здёсь уже поэзія, конечно. не въ теоріяхъ, которыя проповёдуетъ поэтъ, а въ его собственной участи, въ его роли, въ его страстной личности, мучимой чужими, безотвётными для него страданіями.

Въ "Послъднихъ пъсняхъ" стихъ Некрасова получилъ какую-то особенную чистоту и прелесть: его "Баюшки-баю" положительно напоминаетъ Пушкина. Къ числу лирическихъ пьесъ мы относимъ также большое стихотвореніе или цѣлую поэму "Рыцарь на часъ" — самое совершенное создание Некрасова. Въ ясную морозную ночь, среди деревенскаго поля, подстрекаемый чуткою тишиной, поэть вглядывается въ свое прошлое, переносится мыслью на могилу матери и глубоко терзается своими заблужденіями. Трезвая четкость ландшафта, написаннаго рукою мастера, здёсь какъ-то страшно сочетается съ такимъ же яснымъ взглядомъ поэта въ глубину своей совъсти. Выливаются чудныя строфы покаянія... На утро — благая ръшимость туски ветъ и исчезаетъ. Эта яркая, простая и потрясающая пьеса принадлежить къ лучшимъ созданіямъ русской музы. Читатель всёхъ временъ остановится на ней съ любовью; онъ невольно поддастся обаянію животрепещущихъ движеній души, запечатлѣнныхъ въ ея сильной и грустной музыкъ.

Наконецъ остается общій вопрось о народьобъ униженныхъ и оскорбленныхъ. Эти два слова неизбъжно напоминаютъ Достоевскаго. Намъ кажется, что будущій историкъ литературы сумфетъ угадать родственныя черты въ демократизмѣ Некрасова и Достоевскаго. Недаэти два писателя вмъстъ проливали ромъ свои кношескія слезы надъ романомъ "Бѣдные люди". Недаромъ Некрасовъ писалъ Достоевскому, что подъ именемъ Крота въ "Несчастныхъ" онъ желалъ изобразить его, Достоевскаго, въ ссылкъ. Способъ достиженія у этихъ двухъ писателей прогивоположный, но сущность очень близка. Вспомните монологъ Мармеладова, соціальныя теоріи Раскольникова, проповъди отца Зосимы. Разница въ томъ, что одинъ дъйствовалъ буйно и открыто, чуть ли не съ мечемъ гражданина въ рукъ, какъ принято изображать Минина, а другой-подъ смиренной монашеской рясой... Но не въ томъ дъло. Постоянно возбуждался вопросъ: искренно ли любилъ Некрасовъ русскій народъ и обездоленныхъ вообще? Для насъ этотъ вопросъ, внѣ всякихъ біографическихъ развѣдокъ, имѣетъ значение лишь въ такомъ смыслѣ: чувствуется ли любовь Некрасова къ народу въ его произведеніяхъ?

Страховъ, одинъ изъ авторитетныхъ изслъдователей нашей словесности, высказалъ со-

мнѣніе въ искренности Некрасова или, вѣрнѣе, отмѣтилъ у него высокомѣрную нотку въ отзывахъ о народъ. "Некрасовъ, —пишетъ Страховъ, --- никогда не можетъ воздержаться оть роли просв'ященнаго, тонко развитаго истербургскаго чиновника (?) и журналиста, и, такъ или иначе, но всегда выкажеть свое превосходство надъ темнымъ людомъ, которому сочувствуетъ. Цълый рядъ стихотвореній этого поэта посвященъ изображенію грубости и дикости русскаго народа. Какъ изящное чувство г. Некрасова оскорбляется передникомъ, завязаннымъ подъ мышки, такъ его гуманныя и просвъщенныя иден постоянно въ разладъ съ грубымъ бытомъ, съ грубыми понятіями, съ грубой душою и ричью простыхъ людей. Онъ пишетъ особыя стихотворенія на такія, будто бы, глубоко народныя темы: "Милаго побои недолго болять!" (Катерипа), или: "Намъ съ лица не воду пить и съ корявой можно жить". Онъ всегда не прочь грустно посмъяться или тоскливо поглумиться надъ народомъ"...

> "Въ насъ подъ кровлею отеческой Не запало ни одно Жизни чистой, человъческой Плодотворное зерно".

"Вотъ настоящій взглядъ г. Некрасова на Россію и русскій народъ; при такихъ взглядахъ мудрено быть народнымъ поэтомъ и бросить лучи сознанія на пути Провидънія, выразившіеся "въ нашей исторіи" (Замътка о Пушкинъ, стр. 136 и 137). Въ предисловіи къ своей книгъ Страховъ предваряетъ, что нѣкоторыя его статьи "имъютъ слишкомъ крикливый тонъ, отзывающійся дурными привычками журналистики" (XVIII). Кажется, приведенныя нами цитаты принадлежать именно къ такимъ злополучнымъ страницамъ. Тутъ, повидимому, объизмѣнила Страхову. Стихи, ективность взятые имъ изъ Некрасова, нисколько не доказывають его положений. Грубая живопись Некрасова соотвътствуетъ грубости предмета; она разсчитана на то, чтобы показать убожество жизни крестьянина, его почти животное существованіе, его ироническое примиреніе со всякими невзгодами; глумленія же надъ народомъ самого поэта нигдъ ръшительно нътъ и слъда въ его произведеніяхъ. "Чувства изящнаго" въ Некрасовъ было весьма мало и вотъ ужъ кто никогда бы не сталъ имъ гордиться! Наконецъ, строфа о "Кровлѣ отеческой" взята г. Страховымъ изъ колыбельной ивсни Еремушкъ, которую Некрасовъ напъваетъ крестьянскому ребенку, и здъсь поэтъ говоритъ о своей кровлѣ, о своемъ крюпостническомъ воспитании, о воспитании отживающаго поколѣнія и предваряеть ребенка, чтобы тотъ не вливалъ въ "старую, готовую форму" новую силу благородныхъ юныхъ дней. Гдъ же здъсь непонимание России или непонимание народа?

Для насъ все равно: върно или невърно разумълъ Некрасовъ исторію русскаго народа и высшія судьбы его призванія. Для насъ важно одно: видна ли его любовь къ народу въ его произведеніяхъ? На этотъ вопросъ не можетъ быть иного отвѣта, кромѣ утвердительнаго. Эта любовь — не только къ народу, но, и ко всѣмъ обездоленнымъ и голодающимъ — течетъ у Некрасова лавою по всёмъ его произведеніямъ. Она имѣетъ всѣ оттѣнки: раздирающей душу скорби ("Морозъ"), смѣлой защиты передъ сильными міра ("Парадный подътздъ"), доброй ласки отца ("Крестьянскія дѣти"), горячей заботы публициста ("Плачъ дътей", "Желъзная дорога"), вдохновеннаго увлеченія поэта ("Коробейники", "Зеленый шумъ") и т. д., и т. д. Какой же источникъ этой любви? Намъ кажется, здѣсь вліяли два фактора: во-первыхъ, эпоха общей влюбленности въ крестьянскую массу; во-вторыхъ, событія въ личной жизни поэта.

Помимо всёмъ извёстныхъ впечатлёній дётства, на Некрасова самымъ рёшительнымъ образомъ повліяла нищета, перенесенная имъ въ Петербургѣ, въ годы юности. Страшно читать въ его біографіи, какъ онъ умиралъ съ голоду, какъ онъ лишился своего бѣднаго угла за неимѣніе средствъ его оплачивать, какъ всѣми покинутый, онъ дрогнулъ отъ холода на улицѣ, какъ надъ нимъ сжалился какой-то нищій, который увелъ его съ собою въ отдаленный ночлежный пріютъ и какъ здѣсь, среди оборванной толпы, Некрасовъ добылъ себѣ кусокъ хлѣба составленіемъ прошенія, за которое получилъ 15 к. "Я поклядся не умереть на чердакѣ, я убивалъ въ себъ иделизмъ, я развивалъ въ себъ практическую жилку", говорилъ онъ впослъдствіи, вспоминая это время. Въ тѣ горькіе, незабываемые дни этотъ человъкъ взглянулъ глазами пролетарія на красивую жизнь столицы; глубоко и навсегда засъло въ немъ чувство обиды. И когда онъ выбрался изъ "бездны труда, голода и мрака", онъ понялъ, что значитъ матеріальный достатокъ. "Одинъ я между идеалистами былъ практикъ", говорилъ Некрасовъ о кружкъ своихъ литературныхъ друзей и сподвижниковъ. И вотъ, содъйствовать по мъръ силъ болѣе равномѣрному распредѣленію земныхъ благъ — стало его завътной думой. Для этого передъ нимъ раскрылась модная, богатая, неисчерпаемая тема-народъ. Въ то время вся лучшая доля нашего общества видъла въ народной массъ свою надежду, свое возрождение; мечтали о "разрушении ствны", о "слитии интеллигенціи съ народомъ" и о "великихъ результатахъ" такого еще неиспробованнаго, грандіознаго дѣла. Долгіе годы теперь, кажется, показали, что, по мфрф претворенія крестьянина въ интеллигента, интеллигенція можетъ численно разростаться, но ея природныя черты едва ли отъ этого измѣнятся. Впрочемъ, проницательный Некрасовъ и тогда не заносился въ облака; но общее тяготъніе къ народу, съ которымъ онъ бокъ-о-бокъ выстрадалъ голодъ,-

было ему наруку. Изъ жизни этого народа онъ сталъ брать темы для своихъ потрясающихъ картинъ. Онъ увидълъ свой успъхъ; эта работа его увлекла. По натуръ сдержанный и крутой, почти не отзывчивый на чувство прекраснаго, человѣкъ сильный и глубокій, но изуродованный и огорченный жизнью, — Некрасовъ нуждался въ отмшении за обиды судьбы и онъ полюбилъ мстить самодовольнымъ за несчастныхъ. Граница между искреннимъ и искусственнымъ у него потерялась. Часто онъ любилъ только "мечту свою", часто обливался слезами "надъ вымысломъ". Но онъ чувствовалъ себя хозяиномъ скорбящаго народнаго царства,--этихъ необозримо-богатыхъ владѣній для извлеченія изъ нихъ въ каждую минуту чего нибудь ужасающаго для "сильныхъ міра". Народъ безмолвствовалъ", но это только придавало еще болѣе трагическій оттёнокъ пёснямъ Некрасова. Онъ увлекался своею миссіей, облагораживался въ возвышался до голоса истиннаго граней. жданина, видълъ въ ней свою славу, свое искупленіе за какой-то гръхъ, на который содержатся горькіе, сдержанные намеки въ его поэзіи. Въ теченіе многихъ лътъ на глазахъ цълой Россіи развертывался этотъ романъ Некрасова съ народомъ. Поэзія была уже не только въ томъ, что онъ писалъ, но въ самой его роли, въ этой исторіи нераздъленной, болъзненной любви Некрасова къ народу. Такъ что, когда онъ умеръ, то его, издавна уже избалованнаго богатствомъ, несмѣтная толпа хоронила со слезами, какъ страдальца за народъ и убогихъ.

Что же осталось отъ этой яркой и шумной дѣятельности? Нужно сказать правду, что вкладъ Некрасова въ въчную сокровищницу поэзіи гораздо меньше его славы, его имени. И теперь уже, по истечении двинадцати лить, самыя шумныя его вещи значительно утратили свое обаяніе. Онъ во многомъ и такъ скоро сдѣлался положительно старомоднымъ. Трудно заглядывать въ будущее, но, быть можетъ, правы тѣ, которые говорять, что все, чёмъ блисталъ Некрасовъ, забудется, а что, напротивъ, его произведенія, незамѣченныя въ свое время, всплы. вутъ и останутся в'вчными. Впрочемъ, въ произведеніяхъ Некрасова слишкомъ много ума, чтобы они утратили интересъ историческій. Соціальному вопросу еще долго, долго cvждено существовать. Какъ документъ, свидътельствующій о горячей борьбѣ, какъ иллюстрація къ общественному злу, книга Некрасова можетъ еще не разъ всплывать, служить орудіемъ, неречитываться. Но практические интересы, съ которыми она связана, всегда будуть ниже внутренней, общей жизни человъчества. Не всъ люди составляють изъ себя ландверъ для завоеванія гражданской свободы, — а тъмъ, которые не входятъ въ такой ландверъ, книга Некрасова рѣдко доставить отраду. Всѣ русскіе люди, конечно, прочтутъ ее обязательно и, мъстами, съ удивленіемъ передъ его талантомъ, но по 13*

собственному побужденію брать и перечитывать ее можно лишь въ особенномъ, исключительномъ настроеніи.

Впрочемъ, общій голосъ, какъ бы по инстинкту, произнесъ Некрасову точно такой же приговоръ еще въ минуту самаго жаркаго поклоненія. Его прозвали "поэтомъ-гражданиномъ". Что это значить? Къ чему эта прибавка къ слову поэтъ? Коренное слово такъ велико, что всякая приставка можетъ только уменьшить его... Лестно ли для поэтической славы сказать "поэтъ-гласный Думы" или даже "поэтъ-полководецъ". Мы знаемъ, напримъръ, "поэта-партизана" Давыдова. Это произвище говорить намъ, что Давыдовъ прежде всего партизанъ, но что онъ былъ, между прочимъ, и поэтъ. И у Некрасова "гражданинъ" звучитъ сильнѣе, чъмъ поэтъ: это название также свидътельствуеть, что Некрасовъ былъ больше гражданинъ, чъмъ поэтъ. Поэтому мы думаемъ, что Некрасовъ не великій, но зам'вчательный, самобытный поэть вообще и поэть народной скорби въ особенности; но болње всего Некрасовъ-это неотразимо-яркое, незабвенное имя въ исторіи нашей гражданственности.

1889 г.

ЛЕРМОНТОВЪ.

ХАРАКТЕРИСТИКА.

I.

Этотъ молодой военный, въ николаевской формъ, съ саблей черезъ плечо, съ тонкими усиками, выпуклымъ лбомъ и горькою складкою между бровей, былъ одною изъ самыхъ феноменальныхъ поэтическихъ натуръ. Исключительная особенность Лермонтова состояла въ томъ. что въ немъ соединялось глубокое пониманіе жизни съ громаднымъ тяготвніемъ къ сверхчувственному міру. Βъ исторіи поэзін едва ли сыщется другой подобный темпераменть. Нътъ другого поэта, который бы такъ явно считалъ небо своей родиной и землю--своимъ изгнаніемъ. Если бы это былъ характеръ дряблый, мы бы получили поэзію сантиментальную, слишкомъ эеирную, стремление въ "туманную даль", второго Жуковскаго -- и ничего болње. Но это былъ человъкъ сильный, страстный, ръшительный, съ яснымъ и острымъ умомъ, вооруженный волшебною кистью, смотрѣвшій глубоко въ дѣйствительность, съ ядомъ ироніи на устахъ,—и потому прирожденная Лермонтову неотразимая потребность въ признаніи иного міра разливаетъ на всю его поэзію обаяніе чудной, божественной тайны.

Чтобы не возвращаться более къ этому вопросу, а также, чтобы настоящій очеркъ не показался одностороннимъ, предваряемъ, что, какъ сейчасъ было сказано, мы признаемъ въ произведеніяхъ Лермонтова чрезвычайную близость ихъ интересамъ дъйствительности. Чувство природы, пылкость страстей, глубина любви и трогательная теплота привязанностей, реализмъ красокъ, историческое чутье, способность создавать самыя простыя жизненныя фигуры, какъ, напримъръ, Максимъ Максимычъ, или самые върные бытовые очерки, какъ "Бородино", "Казачья колыбельная пъсня", "Валерикъ", — вся эта сторона таланта Лермонтова, такъ сказать, реальная-давно всъми признана. Мы же остановимся теперь исключительно на другой сторонѣ этого великаго дарованія, болѣе глубокой и менње изслѣдованной, — на сторонѣ сверхчувственной.

Пересмотрите въ этомъ отношеніи всемірную поэзію, начиная отъ среднихъ вѣковъ. Здѣсь мы нисколько не сравниваемъ писателей по ихъ величинѣ, а лишь останавливаемся на отношеніи каждаго изъ нихъ къ вопросамъ вѣчности.

Дантъ-католикъ; его въра ритуальная. Шекспиръ въ "Гамлетъ" задумывается надъ вопросомъ: есть ли тамъ "сновидѣнья"? а позже, въ "Буръ", склоняется къ пантеизму. Гете-поклоняется природъ. Шиллеръ-прежде всего гуманистъ и, повидимому, христіанинъ. Байронъ, подъ вліяніемъ "Фауста", совершенно запутывается въ "Манфредъ"; эта драматическая поэма проникнута горчайшимъ пессимизмомъ, за который Гете, отличавшійся душевнымъ здоровьемъ, назвалъ Байрона ипохондрикомъ. Мюссе-сомнъвается и пишетъ философское стихотвореніе "Sur l'existence de Dieu", гдъ приводить читателя къ стень, потому что заставляетъ все человъчество пъть гимнъ Богу, чтобы Онъ отозвался на безконечный призывъ любви, -- и Богъ, какъ всегда, безмолвствуетъ. Гюго красиво и часто воспъвалъ христіанскаго Бога и въ дътскихъ стихотвореніяхъ, и въ библейскихъ поэмахъ, и въ романахъ. Но всякому чувствовалось, что Гюго любить этоть образь, какъ патетическій эффекть; въ концѣ жизни и Гюго сознался, что пантеизмъ, исчезновение въ природъ кажется ему самымъ въроятнымъ исходомъ. Пушкинъ относился трезво къ этому вопросу и осторожно ставилъ вопросительные знаки. Тургеневъ всю жизнь былъ страдающимъ атеистомъ. Достоевскій держался очень исключительной и мудреной въры въ духъ православія. Толстой пришелъ къ въръ общественной, къ практическому ученію діятельной любви. Одинъ Лермонтовъ нигдъ положительно не высказалъ (какъ и слѣдуетъ поэту), во что онъ върилъ, но за то во всей своей поэзіи оставилъ глубокій слъдъ своей непреодолимой и для него совершенно ясной связи съ въчностью. Лермонтовъ стоитъ въ этомъ случав совершенно одиноко между всёми. Если Данть, Шиллеръ и Достоевскій были върующими, то ихъ въра, покоящаяся на общеизвъстномъ христіанствъ, не даетъ читателю ровно ничего болѣе этой вѣры. Въра, чъмъ менъе она категорична, тъмъ болве заразительна. Все, ръзко обозначенное, подрываетъ ее. Одинъ изъ привлекательнъйшихъ мистиковъ, Эрнестъ Ренанъ, въ своихъ религіозно-философскихъ этюдахъ всегда сбивался на поэзію. Но Лермонтовъ, какъ върно замътилъ В. Д. Спасовичъ, даже и не мистикъ: онъ именно-чистокровнъйшій поэтъ, "человъкъ не отъ міра сего", забросившій къ намъ откуда-то, съ недосягаемой высоты, свои чарующія пъсни...

Смало вполит изволино Пориония

Digitized by Google

- 201 --

Конецъ! какъ звучно это слово! Какъ много-мало мыслей въ немъ! Послвдній стонъ—и все готово, Безъ дальнихъ справокъ—а потомъ?.. Потомъ наслѣдникъ... Простивъ вамъ каждую обиду, Отслужитъ въ церкви панихиду, Которой (я боюсь сказать) Не суждено вамъ услыхать.

Въ "Сашкъ":

Пусть отдадуть меня стихіямь! Птица, Звѣрь, и огонь и вѣтеръ, и земля — Раздѣлятъ прахъ мой, я *душа моя* Съ душой вселенной, какъ зеиръ съ зеиромъ, Сольется и—развѣется надъ міромъ. (сашка", LXXXIII).

Вотъ едва ли не всъ цитаты, составляющія исключенія изъ общаго правила. Однако и тутъ видно, что Лермонтовъ никакъ не могъ помириться съ мыслью о своемъ ничтожествъ. Даже, исчезая въ стихіяхъ, Лермонтовъ отдъляетъ свою душу отъ праха, желаетъ этой душою слиться со вселенной, наполнить ею вселенную...

Съ этими незначительными оговорками, неизбѣжность высшаго міра проходитъ полнымъ аккордомъ черезъ всю лирику Лермонтова. Онъ самъ весь пропитанъ кровною связью съ надзвѣзднымъ пространствомъ. Здѣшняя жизнь ниже его. Онъ всегда презираетъ ее, тяготится ею. Его душевныя силы, его страсти — громадны, не по плечу толпѣ; все ему кажется жалкимъ, на все онъ взираетъ глубокими очами вѣчности, которой онъ принадлежить: онъ съ ней разстался на время, но непрестанно и безутѣшно по ней тоскуетъ. Его поэзія, какъ бы по безмолвному соглашенію всѣхъего издателей, всегда начинается "Ангеломъ", составляющимъ превосходнѣйшій эпиграфъ ко всей книгѣ, чудную падпись у входа въ царство фантазіи Лермонтова. Дѣйствительно, его великая и пылкая душа была какъ бы занесена сюда для "печали и слезъ", всегда здѣсь "томилась" и

> Звуковъ небесъ замѣнить не могли Ей скучныя пѣсни земли.

Все этимъ объясняется. Объясняется, почему ему было "и скучно, и грустно", почему любовь только раздражала его, ибо "вѣчно любить невозможно"; почему ему было легко лишь тогда, когда онъ твердилъ какую-то чудную молитву, когда ему вѣрилось и плакалось; почему морщины на его челѣ разглаживались лишь въ тѣ минуты, когда "въ небесахъ онъ видѣлъ "Бога"; почему онъ благодарилъ Его за "даръ души, растраченный въ пустынѣ", и просилъ поскорѣе избавить отъ благодарности; почему, наконецъ, въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ стихотвореній онъ воскликнулъ съ увѣренностью ясновидца:

> Но я безъ страха жду довременный конецъ: Давно пора мню мірз увидють новый.

Это быль человькь гордый и въ то же время огорченный своимъ божественнымъ происхожде-

Digitized by Google

ніемъ, съ глубокимъ сознаніемъ котораго ему приходилось странствовать по землѣ, гдѣ все казалось ему такъ доступнымъ для его ума и такъ гадкимъ для его сердца.

Еще недавно было высказано, что въ поэзіи Лермонтова слышатся слезы тяжкой обиды и что это будто бы объясняется твмъ, что не было еще временъ, въ которыя все завътное, чъмъ наиболѣе дорожили русскіе люди, съ такою безцеремонностью приносилось бы въ жертву идеъ холоднаго бездушнаго формализма, какъ это было въ эпоху Лермонтова, и что Лермонтовъ славенъ именно тъмъ, что онъ по истинъ геніально выразилъ всю ту скорбь, какою были преисполнены его современники!.. Можно ли болње фальшиво объяснить источникъ скорби Лермонтова?!. Точно и въ самомъ дълъ, послъ николаевской эпохи, въ періодъ реформъ, Лермонтовъ чувствовалъ бы себя какъ рыба въ водъ! Точно послъ освобожденія крестьянъ и въ особенности въ шестидесятые годы открылась дъйствительная возможность "въчно любить" одну и ту же женщину? Или совсѣмъ искоренилась "лесть враговъ и клевета друзей"? Или "сладкій недугъ страстей" превратился въ безконечное блаженство, не "исчезающее при словѣ разсудка"? Или "радость и горе" людей, отходя въ прошлое, перестали для нихъ становиться "ничтожными"?.. И почему этими въковѣчными противорѣчіями жизни могли страдать только современники Лермонтова, въ эпоху

формализма? Современный Лермонтову формализмъ не вызвалъ у него ни одного звука протеста. Обида, которою страдалъ поэтъ, была причинена ему "свыше", — Тѣмъ, Кому онъ адресовалъ свою ядовитую благодарность, о Комъ онъ писалъ:

> Ищу кругомъ души родной. Повъдать, что мню Богз готовилз, Зачъмъ такъ горько прекословилз Надеждамъ юности моей! Придетъ ли въстникъ избавленья Открыть мнъ жизни назначенье, Цъль упованій и страстей?

Ни въ какую эпоху не получилъ бы онъ отвѣтовъ на эти вопросы. Консервативный строй жизни въ лермонтовское время несомнѣнно вліялъ и на его поэзію, но какъ разъ съ обратной стороны. Быть можеть, именно благодаря патріархальнымъ нравамъ, строго религіозному воспитанію, кіоту съ лампадой въ спальнъ своей бабушки, Лермонтовъ съ младенчества началъ улетать своимъ умственнымъ взоромъ все выше и выше надъ уровнемъ повседневной жизни и затъмъ усвоилъ себъ тотъ величавый, почти божественный взглядъ на житейскія дрязги, ту широту и блескъ фантазіи, которые составляютъ всю прелесть его лиры и которые едва ли были бы въ немъ возможны, если бы онъ воспитывался на книжкахъ Молешота и Бюхнера.

Безъ вѣчности души, вселенная, по словамъ Лермонтова, была бы для него "комкомъ грязи". - 205 -

И, презръвъ дътства милые дары, Онъ началъ думать, строить міръ воздушный, И въ немъ терялся мыслію послушной. ("Сашка", LXXI). Люблю я съ колокольни иль съ горы, Когда земля молчитъ и небо чисто, Теряться взорами средь цъпи звъздъ огнистой; И мнится, что межъ ними и землей Есть путь давно измъренный душой — И мнится, будто на главу поэта Стремятся вмъстъ всъ лучи ихъ свъта. ("Сашка" XLVIII).

Никто такъ прямо не говорилъ съ небеснымъ сводомъ, какъ Лермонтовъ, никто съ такимъ величіемъ не созерцалъ эту голубую бездну. "Прилежнымъ взоромъ" онъ умѣлъ въ чистомъ эеирѣ "слѣдить полетъ ангела", въ тихую ночь онъ чуялъ, какъ "пустыня внемлетъ Богу и звѣзда съ звѣздою говоритъ". Въ такую ночь ему хотѣлось "забыться и заснуть", но ни въ какомъ случаѣ не "холоднымъ сномъ могилы". Совершеннаго уничтоженія онъ не переносилъ.

II.

Онъ не терпѣлъ смерти, т. е. безсознательныхъ, слѣпыхъ образовъ и фигуръ, даже въ окружающей его природѣ. "Хотя безъ словъ", ему "былъ внятенъ разговоръ" шумящаго ручья, – его "немолчный ропотъ, вѣчный споръ съ упрямой грудою камней". Ему "свыше было дано" разгадывать думы -- темныхъ скалъ, Когда потокъ и раздѣлялъ: Простерты въ воздухѣ давно Объятья каменныя ихъ И жаждутъ встрѣчи каждый мигъ; Но дни бѣгутъ, бѣгутъ года – Имъ не сойтиться никогда!..

Такъ онъ, по-своему, одухотворялъ природу, читалъ въ ней исторію сродственныхъ ему страданій. Это былъ настоящій волшебникъ, когда онъ брался за баллалу, въ которой у него выступали, какъ живыя лица-горы, деревья, море, тучи, ръка, "Дары Терека", "Споръ", "Три пальмы", "Русалка", "Морская царевна", "Ночевала тучка золотая", "Дубовый листокъ оторвался отъ вътки родимой"-все это такія могучія олицетворенія природы, что пикакіе успѣхи натурализма, никакія перемёны вкусовь не могутъ у нихъ отнять ихъ ввчной жизни и красоты. Читатель съ самымъ притупленнымъ воображеніемъ всегда невольно забудется и повѣритъ чисто человъческимъ страстямъ и думамъ Казбека и Шатъ-горы, Каспія и Терека, тронется слезою стараго утеса и залюбуется мимолетной золотою тучей, ночевавшей на его груди. Одно стихотворение въ такомъ же родъ, "Сосна", заимствовано Лермонтовымъ у Гейне. У Гейне есть еще одна подобная вещица "Лотосъ". Всѣ названныя лермонтовскія пьесы и эти два стихотворенія Гейне составляють все, что есть самаго прекраснаго въ этомъ родѣ во

всемірной литератур'ь; но Лермонтовъ гораздо богаче Гейне. Баллада Гете "Л'ѣсной царь", чудесная по своему звонкому, сжатому стиху, всетаки сбиваетъ на д'ѣтстую сказочку. Н'ѣжное, фантастическое подъ перомъ Гете меньше трогаетъ и не даетъ полной иллюзіи.

Презрѣніе Лермонтова къ людямъ, сознаніе своего духовнаго превосходства, своей связи съ божествомъ сказывалось и въ его чувствахъ къ природѣ. Какъ уже было сказано, только ему одному—но никому изъ окружающихъ — свыше было дано постигать тайную жизнь всей картины творенія. Устами поэта Шатъ-гора съ ненавистью говоритъ о человѣкъ вообще...

> Онъ настроитъ дымныхъ келій По уступамъ горъ; Въ глубинѣ твоихъ ущелій Загремитъ топоръ, И желѣзная лопата Въ каменную грудь, Добывая мѣдь и злато, Врѣжетъ страшный путь. Ужъ проходятъ караваны Черезъ тѣ скалы, Гдѣ носились лишь туманы Да цари-орлы! Люди хитры!..

Въ "Трехъ пальмахъ"--тотъ же мотивъ: пальмы были не поняты человѣкомъ и изрублены имъ на костеръ. Въ "Морской царевнѣ" витязь хватаетъ за косу всплывшую на волнахъ русалку, думая наказать въ ней нечистую силу, и когда вытаскиваетъ добычу на песокъ-передъ нимъ лежитъ хвостатое чудовище и

> Блѣдныя руки хватаютъ песокъ, Шепчутъ слова непонятный упрекъ.

И

Бдетъ царевичъ задумчиво прочь.

Въ этой прелестной фантазіи снова повторяется какая-то недомолвка, какой-то роковой разладъ между человъкомъ и природой.

III.

Всегда природа представляется Лермонтову созданіемъ Бога ("Мцыри", XI, "Когда волнуется желтъющая нива", "Выхожу одинъ я на дорогу" и т. д.); ангелы входять въ его поэзію, какъ постоянный привычный образъ, какъ знакомыя. живыя лица. Поэтому сюжеть, связанный съ легендой мірозданія, съ участіемъ безплотнаго духа, съ грандіозными пространствами небесныхъ сферъ, неминуемо долженъ былъ особенно привлекать его воображение. И Лермонтовъ, съ пятнадцати лётъ, замыслилъ своего "Демона". Время показало, что эта поэма изъ всѣхъ большихъ произведений Лермонтова какъ бы наиболѣе связана съ представленіемъ о его музѣ. Поэтъ, повидимому, чувствовалъ призваніе написать ее и отдѣлывалъ всю жизнь. Всю свою неудовлетворенность жизнью, т. е. здѣшнею жизнью, а не тогдашнимъ обществомъ, всю

исполинскую глубану своихъ чувствэ, превышающихъ обыденныя человъческія чувства, всю необъятность своей скучающей на земль фантазіи, — Лермонтовъ постарался излить устами Демона. Концепція этого фантастическаго образа была счастливымъ, удачнымъ дѣломъ его творчества. Тѣ свойства, которыя казались напыщенными и даже отчасти каррикатурными въ такихъ дѣйствующихъ лицахъ, какъ гвардеецъ Печоринъ, свътскій дэнди Арбенинъ или черкесъ Измаилъ-Бей, побывавшій въ Петербургѣ, всѣ эти свойства (личныя свойства поэта) пришлись по мѣркѣ только фантастическому духу, великому падшему ангелу.

Строго говоря, "Демонъ" — даже не падшій ангелъ; причина его паденія осталась въ туманѣ; это скорѣе—ангелъ, упавшій съ неба на землю, которому досталась жалкая участь.

Ничтожной властвовать землей.

Короче, это — самъ поэтъ Интродукція въ поэму воспѣваетъ.

Лучшихъ дней воспоминанья

. Тъ́хъ дней, когда въ жилищъ свъта Блисталъ онъ, чистый херувимъ.—

точно поэть говорить о себѣ до рожденія. Чудная строфа объ этихъ воспоминаніяхъ обрывается восклицаніемъ:

> И много, много... и всего Припомнить не имѣлъ онъ силы,

> > 14

какъ будто самъ поэтъ потерялъ эту нить воспоминаній и не можетъ самъ себѣ дать отчета, какъ онъ очутился здѣсь. Этотъ скорбящій и могучій ангелъ представляетъ изъ себя тотъ удивительный образъ фантазіи, въ которомъ мы поневолѣ чувствуемъ воплощеніе чего-то божественнаго въ какія-то близкія намъ человѣческія черты. Онъ привлекателенъ своею фантастичностью и въ то же время въ немъ нѣтъ пустоты сказочной аллегоріи. Его фигура изъ траурной дымки почти осязаема:

Ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свътъ.

какъ опредѣляетъ его самъ Лермонтовъ.

То не былъ ада духъ ужасный, —о нѣтъ!

спѣшитъ добавить авторъ и ищетъ къ нему нашего сочувствія. Демонъ, ни въ чемъ опредѣленномъ не провинившійся, имѣетъ, однако, нъкоторую строптивость противъ неба; онъ иронизируетъ надъ другими ангелами, давая имъ эпитеты "безстрастныхъ"; онъ еще на небѣ невыгодно выдѣлился между другими тѣмъ, что былъ "познанья жаднымъ"; онъ и въ раю испытывалъ, что ему чего-то недостаетъ (впослѣдствіи онъ говоритъ Тамарѣ:

> Во дни блаженства мнѣ въ раю Одной тебя недоставало);

наконецъ, онъ преисполненъ громадною энергіею, глубокимъ знаніемъ человѣческихъ слабостей, отъ него пышетъ самыми огненными чувствами. И все это приближаетъ его къ намъ.

Пролетая надъ Кавказомъ, надъ этой естественной ступенью для нисхожденія съ неба на землю, Демонъ плъняется Тамарой. Онъ сразу очаровался. Онъ

> ...позавидовалъ невольно Неполной радости земной.

(Какой эпитетъ!)

Въ немъ чувство вдругъ заговорило Роднымъ когда-то языкомъ,

потому что на землъ одна только любовь напоминаетъ блаженство рая. Онъ не можетъ быть злымъ, не можетъ найти въ умъ коварныхъ словъ. Что дълать?

> Забыть! Забвенья не далъ Богъ, Да онъ и не езялъ бы забеенья

для этой минуты высшаго счастья. Можно ли сильнве, глубже сказать о прелести первыхъ впечатлвній любви!

Въ любви Демона къ Тамаръ звучатъ всъ любимыя темы вдохновеній самого Лермонтова. Демонъ старается поднять думы Тамары отъ земли, — онъ убъждаетъ ее въ ничтожествъ земныхъ печалей. Когда она плачетъ надъ трупомъ жениха, Демонъ напъваетъ ей плънительныя строфы о тъхъ чистыхъ и безпечныхъ облакахъ и звъздахъ, къ которымъ такъ часто любилъ 14* самъ Лермонтовъ обращать свои пѣсни. Онъ говоритъ Тамарѣ о "минутной" любви людей:

Иль ты не знаешь, что такое Людей минутная любовь?— Волненье крови молодое! Но дни бъгутъ и стынетъ кровь. Кто устоитъ противъ разлуки, Соблазна новой красоты, Противъ усталости и скуки Иль своенравія мечты?

Все это лишь развитіе того же мотива, о любви и страсти, который уже вылился отъ лица самого поэта въ стихотвореніи: "И скучно, и грустно". Въ другомъ мъстъ Демонъ восклицаетъ:

> Что люди? Что ихъ жизнь и трудъ? Они прошли, они пройдутъ!

Едва ли не съ этой же космической точки зрѣнія, т. е. съ высоты вѣчности, Лермонтовъ обратилъ къ своимъ современникамъ свою знаменитую "Думу":

Печально я гляжу на наше поколѣвье!

Его поколѣніе было лучшее, какое мы запомнимъ, — поколѣніе сороковыхъ годовъ — и онъ, однако, пророчилъ ему, что оно пройдетъ "безъ шума и слѣда"; онъ укорялъ его въ томъ, что у него нѣтъ "надеждъ". что его страсти осмѣяны "невѣріемъ", что оно изсушило умъ "наукою безплодной" и что его не шевелятъ "мечты поэзіи", — словомъ. онъ бросилъ укоръ, который можно впредь до окончанія міра повторять всякому покол'внію, какъ и двустишіе "Демона":

> Что люди? Что ихъ жизнь и трудъ? Они пришли, они пройдутъ!

Передъ ръшительнымъ свиданіемъ съ Тамарой у Демона на минуту пробуждается невольное сожалѣніе къ ней. Эта странная, едва уловимая горечь смущенія внушается природой каждому передъ порогомъ дъвственности.

То было злое предвъщанье...

Дъйствительно, передъ Демономъ тотчасъ же открыто выступилъ защитникомъ невинности ангелъ. Демонъ идетъ "любить готовый, съ душой открытой для добра"—и вдругъ эта непонятная сила, почему-то воспрещающая радость, называющая радость зломъ!

> Зло не дышало здъсь понынъ! Къ моей любви, къ моей святынъ Не пролагай преступный слъдъ!

Тогда въ душъ Демона проснулся "старинной ненависти ядъ" къ посланнику этой странной силы.

> "Она моя! сказалъ онъ грозно, Оставь ее! Она моя, Явился ты, защитникъ, поздно И ей, какъ мнѣ, ты не судья! На сердце, полное гордыни, Я наложилъ печать мою; Здѣсь больше нѣтъ твоей святыни, Здѣсь я владѣю и люблю!"

И ангелъ грустными очами На жертву бъдную взглянулъ И, медленно взмахнувъ крыламп, Въ земръ неба потонулъ...

Ангелъ уступилъ безъ боя.

Слъ́дуетъ дивная сцена объясненія въ любви. Затъ́мъ поцъ́луй—и смерть Тамары; передъ смертью она вскрикнула; въ этомъ крикъ́ было все:

> …любовь, страданье, Упрекъ съ послѣднею мольбой, И безнадежное прощанье, Прощанье жизни молодой…

Ангелъ уноситъ ея душу. Демонъ, у котораго "вѣяло хладомъ отъ неподвижнаго лица", останавливаетъ его: "она моя", но ангелъ на этотъ разъ не уступаетъ:

> Ея душа была изъ тѣхъ, Которыхъ жизнь—одно мгновенье Невыносимаго мученья, Недосягаемыхъ утѣхъ; Творецз изъ лучшаго звира Соткалъ живыя струны ихъ, Онгъ не созданы для міра, И міръ былъ созданъ не для нихъ! Цѣной жестокой искупила Она сомнѣнія свон... Она страдала и любила— И рай открылся для любви!"

А между тъмъ на лицъ Тамары въ гробу

Улыбка странная застыла: Что въ ней? Насмъшка-ль надъ судьбой, -- 215 ---

Непобѣдимое-ль сомнѣнье, Иль къ жизни хладное презрѣнье, Иль съ небомз гордая вражда?

И Демонъ остался

Одинъ, какъ прежде, во вселенной Безъ упованья и любви!..

IV.

Каждый возрасть, какъ извъстно, имъетъ своихъ поэтовъ, и "Демонъ" Лермонтова будетъ вѣчною поэмою для возраста первоначальной отроческой любви. Тамара и Демонъ, по красотѣ фантазіи и страстной силь образовъ, представляють чету, превосходящую всв влюбленныя пары во всемірной поэзіи. Возьмите другія четы, хотя бы, напримъръ, Ромео и Джульету. Въ этой драмъ достаточно цинизма, а въ монологъ Ромео подъ окномъ Джульеты вставлены такіе мудреные комплименты насчеть звѣздъ и глазъ, что ихъ сразу и не поймешь. Наконецъ, перипетіи оживанія и отравленія въ двухъ гробахъ очень искусственны, слишкомъ отзываются разсчетомъ дъйствовать на зрительную залу. Вообще на юношество эта драма не дъйствуетъ. Любовь Гамлета къ Офеліи слишкомъ элегична, почти безкровна; любовь Отелло и Дездемоны, напротивъ, слишкомъ чувственна. Фаустъ любить Маргариту не совсёмъ по-юношески; неподдѣльнаго экстаза, захватывающаго сердце дъвушки, у него нътъ; Мефистофелю пришлось подсунуть ему брилліанты для подарка Маргаритѣ—истинно стариковскій соблазнъ. Да, Фаустъ любить, какъ подмоложенный старикъ. Здѣсь не любовь, а продажа невинности чортомъ старику. Между тѣмъ первая любовь есть состояніе такое шалое, мечтательное, она сопровождается такимъ расцвѣтомъ фантазіи, что пара фантастическая потому именно и лучше, пышнѣе, ярче вбираетъ въ себя всѣ элементы этой зарождающейся любви.

Обѣ фигуры у Лермонтова воплощены въ самыя благодарныя и подходящія формы. Мужчина всегда первый обольщаетъ невинность, онъ клянется, обѣщаетъ, сулитъ золотыя горы; онъ илѣняетъ энергіею, могуществомъ, умомъ, широтой замысловъ – демонъ, совершенный демонъ! И кому изъ отроковицъ не грезится именно такой возлюбленный? — Дѣвушка плѣнительна своей чистотой. Здѣсь чистота еще повышена ореоломъ святости: не просто дѣвственница, а больше—схимница, обѣщанная Богу, хранимая ангеломъ:

Зло не дышало здъсь понынъ!

Понятно, какой эффекть получается въ результатѣ. Взаимное притяженіе ростетъ неодолимо, идетъ чудная музыка возрастающихъ страстныхъ аккордовъ съ объихъ сторонъ—и что же затѣмъ? Затѣмъ обладаніе — и смерть любви... Развѣ не такъ? Вѣдь и Фаустъ Пушкина соглашается съ Мефистофелемъ, что даже въ то блаженнъйшее время, когда онъ завладълъ своей возлюбленной, т. е. въ то время,

Когда не думаетъ никто,---

онъ уже думалъ:

…Агнецъ мой послушный! Какъ жадно я тебя желалъ!.. Что жъ грудь моя теперь полна Тоской и скукой ненавистной?..

Ангелъ уносить Тамару, но, конечно, только ту Тамару, которая была до прикосновенія къ ней Демона, невинную — тоть образъ, къ которому разъ дотронешься — его ужъ нѣтъ, — то видѣніе, которое "не создано для міра" — и перегорѣвшій мечтатель "съ хладомъ неподвижнаго лица" остается обманутымъ — одинъ, какъ прежде, во вселенной.

Итакъ, вотъ какова участь поэта, родившагося въ раю, когда онъ, изгнанный на землю, вздумалъ искать здѣсь, въ счастіи земной любви, слѣдовъ своей божественной родины... Есть еще у Лермонтова одна небольшая загадочная баллада "Тамара", въ сущности, на ту же тему, какъ и "Демонъ". Тамъ только развязка обратная: отъ поцѣлуевъ красавицы умираютъ всѣ мужчины. Это будто Das ewig Weibliche, которое каждаго манитъ на свой огонь, но затѣмъ отнимаетъ у людей всѣ ихъ лучшія жизненныя силы и опускаетъ ихъ отъ себя живыми мертвецами.

- 218 -

Любовь дразнила Лермонтова своимъ неизмънно повторяющимся и каждый разъ исчезающимъ подобіемъ счастья. Онъ любилъ мстить женщинамъ за это постоянное раздраженіе. Едва ли не отсюда произошло его злобное донъ-жуанство, холодное кокетство съ женщинами, вызвавшее столько нареканій на его память. Печоринъ самъ презираетъ въ себъ эту недостойную игру съ женщинами, но сознается, что никакъ не можетъ отъ нея отстать: "Я только удовлетворялъ странную потребность сердца, съ жадностью поглощая ихъ чувства, ихъ нъжность, ихъ радости и страданія—и никогда не могъ насытиться".

...,Некстати было бы мнѣ говорить о нихъ съ такою злостью, —мнѣ, который, кромѣ ихъ, на свътъ ничего не любитъ, – мнъ, который всегда готовъ былъ имъ жертвовать спокойствіемъ, честолюбіемъ, жизнью... Но въдь я не въ припадкъ досады и оскорбленнаго самолюбія стараюсь сдернуть съ нихъ то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взоръ проникаетъ. Нътъ, все, что я говорю о нихъ, есть слъдствіе-,ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ зам'втъ"... "Первое страдание даетъ удовольствие мучить другого"... "Я былъ готовъ любить весь міръ--меня никто не понялъ; и я выучился ненавидътъ". Эти признанія поэта подтверждають нашу характеристику. Въ самомъ заглавіи романа "Герой

нашего времени" слышится невольная иронія поэта, будто онъ хотвлъ сказать: вотъ какой "герой" только и можеть нравиться женщинамъ! Многихъ своихъ критиковъ Лермонтовъ поймалъ на удочку названіемъ своего романа и въ особенности ---- предисловіемъ ко второму изданію, гдѣ, открещиваясь отъ своего сходства съ Печоринымъ, поэтъ высказалъ, будто характеръ Печорина "составленъ изъ пороковъ всего нашего поколънія" и что автору "было весело рисовать современнаго человъка, какимъ онъ его понимаеть, и какого къ его, и къ вашему несчастію, слишкомъ часто встрвчалъ". Послв этого начали искать въ Печоринъ признаковъ "типа", видѣли въ немъ обобщеніе. Но типа Печорина никогда не существовало. На Печоринѣ, конечно, есть внѣшняя печать времени. модная одежда эпохи: его дэндизмъ, пристрастіе къ породѣ и аристократизму, бретерство, фатовство, позированіе à la Байронъ своею холодною гордостью, его практика въ любовныхъ приключеніяхъ по рецепту: "чъмъ меньше женщину мы любимъ, тъмъ больше нравимся мы ей". Но все это - замашки, а не сущность его натуры. Резочарованность, которою свѣтскіе львы того времени щеголяли, гораздо болфе выдержана въ Онъгинъ. Онъгинъ, напримъръ, какъ вполнъ пропитанный благороднымъ сплиномъ, ругаетъ луну, а роща, холмъ и поле, уже на третій день пребыванія въ деревнѣ, наводять на него сонъ. Печоринъ же всегда наединъ съ

природой остается поэтомъ и, отправляясь на дуэль, готовый умереть, онъ жадно, какъ ребенокъ, любуется каждой росинкой на листахъ виноградниковъ. Онъгинъ почти нигдъ не измъняеть благовоспитанному равновъсію чувствъ (только въ послъдней главъ, изъ тщеславнаго каприза, подъ вліяніемъ препятствій, онъ воспламеняется къ Татьянъ). Печоринъ же на каждомъ шагу бываетъ готовъ кинуться, отъ полноты чувства, на шею или къ ногамъ твхъ, кого онъ затъмъ безжалостно терзаетъ-и у него "царствуеть въ душѣ какой-то холодъ тайный, когда огонь кипитъ въ крови". Онъ полонъ роковыхъ противоръчій, терзавшихъ самого Лермонтова, у котораго во всей поэзіи нѣжность отзывается злобой, а злоба-нѣжностью. Напрасно поэтъ старается оправдать себя тъмъ, будто такихъ темпераментовъ было много и что въ Печоринѣ онъ изобразилъ человѣка своего времени. Нътъ! такихъ яркихъ, разительныхъ, привлекательныхъ въ самой своей ходульности и порочности, людей, какъ Печоринъ, -- мы не знаемъ. Дъло въ томъ, что поэтъ не долюбливалъ себя, какъ Михаила Юрьевича Лермонтова, т. е. задорнаго, весьма тяжелаго для жизни гвардейца-и окъ готовъ былъ свалить всв свои непривлекательныя свойства на эпоху; но въ немъ былъ и другой челов вкъ. Объ этомъ дуализмѣ Печоринъ говоритъ Вернеру передъ своей дуэлью: "во мнъ два человъка: одинъ живеть въ полномъ смыслѣ этого слова, дру-

гой мыслить и судить его; первый, быть можеть, черезъ часъ простится съ вами и міромъ навъки, а второй... второй?" — Печоринъ прерываеть себя: "посмотрите, докторъ: это, кажется, наши противники". Вотъ этотъ-то второй, безсмертный, сидъвшій въ Печоринъ, и былъ поэть Лермонтовъ, и ни въ комъ другомъ изъ людей той эпохи этого великаго человѣка не силѣло. Только этотъ одинъ могъ сказать о себѣ отъ имени Печорина: "зачѣмъ я жилъ? для какой цёли я родился?.. А, вёрно, она существовала и, върно, было мнъ назначение высокое, потому что я чувствую въ душъ моей силы необъятныя"... У насъ любили загадывать: что бы могло выйти изъ необъятныхъ силъ. скрытыхъ въ Лермонтовъ, при иныхъ, болъе благопріятныхъ для него обстоятельствахъ? При этомъ выводили на справку его безшабашную жизнь и укоряли великосв'тское общество. Пора бы бросить это гаданье. Изъ Лермонтова вышелъ одинъ изъ великихъ поэтовъ міра: какой еще болње высокой роли, какой еще болње могучей дъятельности отъ него требуютъ?!..

VI.

Сожительство въ Лермонтовъ безсмертнаго и смертнаго человъка составляло всю горечь его существованія, обусловило весь драматизмъ, всю привлекательность, глубину и ъдкость его поэзіи. Одаренный двойнымъ зръніемъ, онъ всегда своеобразно смотрѣлъ на вещи. Людской муравейникъ представлялся ему жалкимъ поприщемъ напрасныхъ страданій. Когда, напримѣръ, послѣ одной битвы, генералъ, сидя на барабанѣ, принималъ донесенія о числѣ убитыхъ и раненыхъ, офицеръ Лермонтовъ "съ грустью тайной и сердечной" думалъ о людяхъ:

> Жалкій человёкъ! Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно; Подъ небомъ много мёста всёмъ: Но безпрестанно и напрасно Одинъ враждуетъ онъ... Зачёмъ?

Поэтъ никогда не пропускалъ случая доказать людямъ ихъ мелочность и близорукость. Громадныя фигуры Наполеона и Пушкина вдохновили его написать горячія импровизаціи - "Послъднее новоселье" и "На смерть Пушкина"--пьесы, вылившіяся однимъ потокомъ и потому написанныя, вопреки обычаю Лермонтова, пестрымъ размъромъ, съ произвольнымъ количествомъ стопъ въ отдѣльныхъ строкахъ. Суетпость, преходимость и случайность здъшнихъ привязанностей вызывали самыя глубокія и трогательныя созданія лермонтовской музы. Не говоримъ уже о романсахъ, о неувядаемыхъ пъсняхъ любви, которыя едва ли у кого другого имъютъ такую мужественную крепость, соединенную съ такою граціею формы и силою чувства, но возьмите, напримфръ, поэму о купцъ Калашкиковъ: Лермонтовъ сумълъ едва уловимыми чертами привлечь всѣ симпатіи чита-

теля на сторону Кирибъевича, т. е. на сторону нарушителя законнаго и добронравнаго семейнаго счастья, и скорбно воспълъ роковую силу страсти. передъ которою ничтожны самыя добрыя намъренія... Или вспомните "Колыбельную пѣсню"-самую трогательную на свътъ: одинъ только Лермонтовъ могъ избрать темою для нея... что же?--неблагодарность! "Провожать тебя я выйду-ты махнешь рукой!.." И не знаешь, чему больше дивиться: безотрадной ли и невознаградимой глубинъ материнскаго чувства, или чудовищному эгоизму цвътущей юности, кото-. рая сама не въ силахъ помнить добро и благодарить за него?

VII.

Оцѣнивая Лермонтова въ своей пламенной и обширной статьъ, Бълинскій прекрасно понималъ всю силу возникшаго передъ нимъ глубокаго таланта. Въ двухъ-трехъ мъстахъ, небольшими фразами, онъ даже будто обмолвился тъмъ взглядомъ на поэзію Лермонтова, который теперь, на разстоянии полувъка, конечно, дается гораздо легче, въ особенности послъ появленія "Демона", вовсе не разобраннаго Бълинскимъ. Такъ, Бълинскій, между прочимъ, замътилъ, что "произведенія Лермонтова поражаютъ читателя безотрадностью, безвъріемъ въ жизнь и чувства человъческія, при жаждъ жизни и избыткъ чувства" (т. IV, ст. 285). Или, приведя стихотвореніе "И скучно и грустно", Бѣлинскій восклицаеть: "Страшенъ этотъ глухой могильный голось не здъшней муки"... (Тамъ же, ст. 312). Но эти намеки Бълинскаго совершенно исчезають въ другомъ его взглядъ на поэта,--чисто-публицистическомъ. Здъсь уже Бълинский не преминулъ пожурить Лермонтова за то, что онъ въ своей "Думъ" назвалъ науку безплодной: "Мы изсушили умъ наукою безплодной"--выраженіе, которое, съ нашей точки зрѣнія на поэта, вполнъ понятно. (Подобный же упрекъ, по недоразумѣнію, былъ сдѣланъ Бѣлинскимъ и Баратынскому). Или, напримёръ, въ другомъ мѣстѣ: передъ роковой, трагической развязкой пъсни о купцъ Калашниковъ, Бълинскій, уже вполнѣ по Гегелю, предается чувствамъ, на которыя Лермонтовъ никогда и не думалъ разсчитывать, которыхъ онъ всего меньше могъ желать отъ своего читателя. Критикъ проповъдуетъ: "да перемънится же наша печаль на радость во имя побъды общаго надъ частнымъ! Благословимъ непреклонные законы бытія и міродержавныхъ судебъ!.." (Т. IV, ст. 301). Могъ ли когда-нибудь сниться подобный гимнъ умиленія и чуть ли не благодарности передъ "бурями рока" автору знаменитой и ужасной "Благодарности"?!.

Многое можно было бы сказать о другихъ произведеніяхъ Лермонтова, въ особенности объ "Измаилъ-Беѣ" и "Сашкъ", недостаточно извъстныхъ и оцъненныхъ, — о его языкъ, въ поэзіи и прозъ, о богатствъ напъвовъ, объ особенномъ, такъ сказать, въскомъ ритмъ его стиха, о раннихъ самостоятельныхъ эпитетахъ, которыми онъ создавалъ новые образы, объ источникъ нъкоторыхъ его риторическихъ пріемовъ, о неровности его творчества, о заимствованіяхъ у Байрона и Пушкина, но о всемъ этомъ надо бесъдовать съ книгою въ рукахъ. приводя цитаты, читая, перечитывая и подробно развивая свои положенія, — да и все это увлекло бы насъ въ сторону отъ главнаго намъренія: сдёлать однимъ штрихомъ болёе или менёе цѣльный очеркъ поэтической индивидуальности Лермонтова. Эта индивидуальность всегда будеть намъ казаться загадочною, пока мы не загуянемъ въ "святую-святыхъ" поэта, въ ту потаенную глубину, гдъ горълъ его священный огонь. Здъсь мы пытались указать лишь на внутреннее озарение тъхъ богатыхъ реализмомъ твореній, которыя зав'ящаль намъ Лермонтовь. Подкладка его живыхъ пъсенъ и яркихъ образовъ была нематеріальная. Во всемъ, что онъ писаль, чувствуется взоръ человѣка, высоко парящаго "надъ гръшною землей", человъка, "несозданнаго для міра"...

Излишне будетъ касаться въчнаго и безплоднаго спора въ публикъ: кто выше—Лермонтовъ или Пушкинъ? Ихъ совсъмъ нельзя сравнивать, какъ нельзя сравнивать сонъ и дъйствительность, звъздную ночь и яркій полдень. Лермонтовъ, какъ поэтъ, явно недовольный жизнью 15

давно причисленъ къ пессимистамъ. Но это пессимисть совершенно особенный, существующій въ единственномъ экземпляръ. Глава пессимистовъ нашего вѣка, Шопенгауеръ, острымъ орудіемъ своего ума искололъ всъ радости человъческія, не оставилъ въ природѣ человѣка живого мъстечка и съ неумолимою логичностью доказалъ, что существо нашей породы таково, что ни при какихъ рътительно условіяхъ, ни на какой иной планеть и ни въ какомъ иномъ мірь мы не можемъ быть счастливы: это пессимизмъ, не оставляющій никакой належды. находящій свое послъднее слово въ отчаяніи. Но не такое впечатлѣніе даетъ намъ поэзія Лермонтова. Въ Лермонтовъ живутъ какіе-то затаенные идеалы, его взоры всегда обращены къ какомуто иному, лучшему міру. Что воспѣваетъ Лермонтовъ? То же самое, что и всъ другіе поэты, разочарованные жизнью. Но у другихъ вы слышите минорный тонъ, жалобы на то, что молодость исчезаеть, что любовь непостоянна, что всему грозить неумолимый конецъ, словомъ, вы встрвчаете пессимизмъ безсильнаго унынія. У Лермонтова, наоборотъ, ко всему этому слышится презрѣніе. Онъ будто говорить: "все это глупо, ничтожно, жалко --- но только я-то для всего этого не созданъ!.."-"Жизнь-пустая и глупая шутка"...-"Къ ней, должно быть, гдъ-то существуетъ какое-то дополнение: иначе вселенная была бы комкомъ грязи"... И съ этимъ убъжденіемъ онъ бросаетъ свою жизнь, безъ надобности

щутя, подъ первой пріятельской пулей… Итакъ, лермонтовскій пессимизмъ есть пессимизмъ силы; гордости, пессимизмъ божественнаго величія духа. Подъ куполомъ неба, населеннаго чудною фантазіею, обличеніе великихъ неправдъ земли есть, въ сущности, самая сильная поэзія въры въ иное существованіе. Только поэтъ могъ дать почувствовать эту въру, какъ сказалъ самъ Лермонтовъ:

> Кто толпѣ мои разскажетъ думы? — Или поэтъ, или никто.

И чъмъ дальше мы отдъляемся отъ Лермонтова, чъмъ больше проходитъ передъ нами поколъній, къ которымъ равно примъняется его горькая "Дума", чъмъ больше лътъ звучитъ съ равною силою его страшное "И скучно и грустно" на землъ—тъмъ болъе выростаетъ въ нашихъ глазахъ скорбная и любящая фигура поэта, взирающая на насъ глубокими очами полубога изъ своей загадочной въчности...

1889 г.

15*

ИЗЪ МЫСЛЕЙ О ЛЬВѢ ТОЛСТОМЪ.

I.

"Всегда объ одномъ и томъ же говорятъ морскія волны", зам'тилъ маленькій Павелъ Домби послѣ долгихъ, внимательныхъ и чуткихъ, наблюденій за морскимъ шумомъ... "Всегда объ одномъ и томъ же говорятъ великіе писатели"--можно было бы сказать вслёдъ за нимъ, т. е. въ сущности во всъ времена "однозвученъ" шумъ жизни. Особенность каждаго большого таланта состоить въ томъ, что у каждаго есть свой ладъ, своя манера, свой тонъ говорить о жизни, своя техника въ ея изображеніи, свой новый подходъ къ тому же давно извъстному содержанію, своя преобладающая способность захватывать ть или другія стороны жизни. "Трудно говорить своеобразно о томъ, что знаетъ всякій" (Difficile est communia proprie dicere), сказалъ Горацій, а въ этомъ-то именно и выражается върная примъта счастливой писательской натуры.

Какими же именно средствами достигаеть художникъ удачи? Въ чемъ своеобразная сила вотъ этого писателя въ отличіе отъ прочихъ? Какою именно своею способностью онъ больше всего на васъ дѣйствуетъ?

Ръдко можно отвътить на эти вопросы такъ ясно, какъ изучая произведенія Льва Толстого. Главное его богатство -- это безспорно: необычайная художественная память впечатлюний. Мы говоримъ "художественная"-во избъжание педоразумъній насчеть нашихъ дальнъйшихъ выводовъ. Очевидно, что не художнику эта память ровно ни къ чему бы не послужила. Нуженъ выборъ штриховъ, нужны умънье, смълость и върность рисунка; а кто не имъетъ творческаго дара, тотъ ничего этого не въдаетъ. Но въ аргистической натурѣ Толстого именно эта способность къ ясному, непогръшимо-полному возстановленію прошлаго-дала громадные результаты. Ни у одного изъ другихъ великихъ писателей мы не наблюдали этой способности въ такомъ феноменальномъ развитии.

Толстой помнить всё жизненные процессы такъ счастливо, что, вызывая ихъ изъ прошлаго въ своемъ воображеніи, онъ ихъ можетъ списывать съ дъйствительности посекундно, какъ если бы они развертывались передъ нимъ живьемъ и во всякую минуту останавливались, по его волъ, передъ его умственнымъ взоромъ, чтобы онъ успъвалъ захватить изъ нихъ всъ необходимыя ему подробности. Понятно поэтому, что, поставленный лицомъ къ лицу съ этой волшебной, ярко вспыхнувшей картиной, въ качествѣ спокойнаго наблюдателя, Толстой можеть, такъ сказать, сотворять минувшую дъйствительвторомъ экземплярѣ, безъ ность во всякой фальши, порождаемой забвеніемъ характерныхъ частностей событія или, наоборотъ, --- вызываемой ложною окраскою, произвольными ретушами того, что когда-то было такъ просто и что невольно кажется изъ отдаленія чёмъ-то непомѣрно значительнымъ. Часто бываетъ, что писатель въ своемъ отношении къ нъкогда пережитому событію смѣшиваеть впечатлѣнія прошлаго и переносить чувства, навѣянныя однимъ событіемъ,---на другое, хотя и сродное съ изображаемымъ, но во многомъ отъ него отличное, -смѣшиваетъ различные источники радости, грусти, тревоги и т. д. Съ Толстымъ ничего подобнаго не можетъ случиться. Для него не существуетъ никакихъ обмановъ зрѣнія, когда онъ смотритъ въ перспективы прошлаго. Читая толстовское описаніе бала, смерти, дождя, родовъ, сраженія, перевзда на дачу, раздумья въ кабинетъ, вънчанія и т. д.--вы удивляетесь не только всеобъемлемости воспоминаній автора, но и упорной энергіи самого описательнаго процесса. Этому художнику совсѣмъ невѣдомы такіе житейскіе факты, которые бы, несмотря на кажущуюся незначительность, не раскрыли въ себѣ, при ближайшемъ вниманіи, своихъ интересныхъ особенностей. Поэтому за что бы

ни взялся Толстой, онъ можетъ вамъ дать цѣлую главу-и вы, ни мало не безпокоясь о пріостановившейся фабуль романа, --- начинаете входить въ матерію какого-нибудь самаго будничнаго эпизода съ неизмѣнно живымъ, возрастающимъ участіемъ. Напримъръ, -- Долли Облонская перевзжаеть съ двтьми въ деревню; въ ходв романа этотъ перевздъ не возбуждаетъ ни малъйшаго любопытства. Но Толстой не торопится забавлять читателя. Вслель за сильными главами, послѣ которыхъ, казалось бы, у другого писателя и нервы упали, и вдохновеніе истощилось, Толстой всегда сохраняеть силу на то, чтобы упорно и внимательно разобрать какуюнибудь житейскую мелочь. И вотъ, васъ поглошаеть юмористическая поэзія деревенскихь неустройствъ-незапирающіеся шкафы, недочеты въ провизіи и т. д. Или-занятіе Левина косьбой. Для Толстого недостаточно отнестись къ этой барской гимнастикъ заурядно и показать одно здоровое утомленіе тѣла съ хорошимъ аппетитомъ въ результатъ. Въ ощущеніяхъ косьбы оказываются сложные безчисленные моменты и, между прочимъ, одинъ моментъ "огромнаго наслажденія". Описанію косьбы посвящено цѣлыхъ двъ главы. ("Анна Каренина", ч. III, гл. IV и V).

Спокойствіе и выдержка творческаго процесса у Толстого дѣлаютъ то, что въ предметахъ, неизбѣжно волнующихъ самого писателя, Толстой никогда не дѣлаетъ пропусковъ противъ жизни

и сколько бы ни была тяжела и мучительна тема,-Толстой никогда не утомится настолько, чтобы прозъвать правду и придти, подъ вліяніемъ собственной надорванности, къ концу ранее, чемъ следуетъ. Такъ онъ провелъ Ивана Ильича черезъ всѣ мытарства долгаго умиранія, отъ простого ощущенія неловкости до нестерпимыхъ болей, сопровождаемыхъ безознательнымъ, животнымъ выкрикиваньемъ одного лишь страшнаго звука "у! у!.." Такъ, въ описаніи смерти Николая Левина, послъ многихъ удручающихъ страницъ, предшествующихъ кончинъ, Толстой не забылъ дъйствительности и обстоятельно воспроизвелъ "вдругъ наступившее" передъ смертью улучшеніе, которое чуть не обмануло окружающихъ. Или, когда Андрей Болконский выжидалъ, въ сосъдней комнатъ, окончанія трудныхъ родовъ своей жены, Толстой не упустилъ заглянуть въ его душу въ самую мучительную, въ самую послъднюю секунду передъ развязкой, когда Болконскій, услыхавъ уже крикъ своего ребенка, продолжаетъ въ какомъ-то отупѣніи механически думать: "и зачъмъ это дитя вдругъ кричитъ? Какое это дитя?.." Помнится, въ "Голосъ" рецензентъ "Анны Карениной" сильно подтрунивалъ надъ Толстымъ за эту подробность и высказываль, что Толстой совсёмь зарапортовался, заставивъ Болконскаго недоумъвать, какое это дитя можетъ кричать, когда ему было извъстно, что его жена рожаетъ... Кто былъ отцомъ, кому доводилось выслушивать за

стѣною муки близкаго существа, пусть тоть провъритъ на себъ это, чудесно схваченное, наблюденіе: онъ, конечно, скажеть, что всегда именно такъ и бываетъ и что невѣріе мужа въ мгновенное прекращение долгихъ пытокъ жены возрастаетъ подъ конецъ до такой степени, что мужъ именно въ первую секунду-быть можетъ даже въ едва замътное дъленіе секунды-но почти всегда, услыхавъ первый крикъ дитяти, готовъ признать этотъ крикъ за что угодно-за бредъ, за необычайность, -- но никакъ не за несомиънный голосъ именно своего новорожденнаго. Но каково должно быть самообладаніе художника, чтобы не проскочить мимо этого ощущенія въ столь возбужденныя минуты творчества, и какъ детальна должна быть его память, чтобы даже эти дъленія секунды могли въ ней запечатлъваться...

Изображая прошлое по стенограммѣ своей памяти, Толстой свободно забираеть изъ нея на свои страницы все, что видить каждый и чего, однако, почти никто не помнить. Поэтому самыя обыкновенныя вещи получають у Толстого характеръ художественныхъ открытій, какъ напр., что при хожденіи, въ раздумьи, по нѣсколькимъ комнатамъ подрядъ,—на тѣхъ же переходахъ, возлѣ одной какой нибудь мебели или двери, — механически возвращаются и повторяются тѣ же мысли; или что, при обрученіи, во время вѣнчанія, всегда происходитъ путаница съ кольцами; или что священникъ, обводя молодыхъ вокругъ аналоя, всегда загибаетъ ризу, а шафера, съ вѣнцами въ рукахъ, неизбѣжно отстаютъ на поворотахъ; или что во снѣ, самый заурядный челов вкъ можетъ создавать удивительнъйшія мелодіи и управлять ими по своему произволу и т. д. Та же могучая память позволяеть Толстому видёть, чувствовать и помнить различіе сосъдственныхъ моментовъ въ са-, момъ, повидимому, однообразномъ и монотонно длящемся явленіи. Тамъ, гдъ у другого останется въ памяти лишь тусклое сплошное пятно безъ оттѣнковъ-у Толстого остается пестрый, многоцвѣтный спектръ. Такъ, у него есть разсказъ "Метель", содержание котораго состоить только въ томъ, что цѣлую ночь мело и путникъ съ ямщикомъ чуть не заблудились, но эта мутная ночь, этоть падающій снъгь и ничего болѣе — дали Толстому обширный матеріаль: чуть замътныя персмъны въ температуръ воздуха, освъщении неба и направлении вътра, всъ переходы возрастающаго обсыпанія снъгомъ ямщика, лошадей и дороги, всъ движенія колеблющагося, падающаго и крутящагося снъга,---BCE 910 воспроизведено съ такою полнотою правды, что "Метель" нисколько не скучна, потому что это повтореніе самой жизни, да еще съ тъмъ удобствомъ, что вы переживаете трудную и опасную ночь, сидя у себя дома, за книгой.

Говорить о глубинѣ и силѣ психологическаго анализа Толстого значило бы повторять общее

мъсто. Проникновеніе этого писателя въ тайники женской, дъвичьей души, въ міросозерцаніе простого народа и даже чуть ли не въ психическую жизнь животныхъ и растеній-все это принадлежить, во-первыхъ, къ числу ходячихъ истинъ, а во-вторыхъ, къ числу непроницаемыхъ богатствъ толстовскаго генія. Но, какъ мы увидимъ ниже, множество д'впствующихъ лицъ въ произведеніяхъ Толстого получили свое внутреннее освѣщение помощью перенесения на нихъ собственныхъ душевныхъ опытовъ автора. Правдивость и полнота этого освѣщенія, какъ мы старались выяснить, зависитъ главнымъ образомъ отъ необычайной, колоссальной памяти Толстого, неприкосновенно сберегающей въ себъ всъ его впечатлѣнія. Впечатлѣнія эти западають въ нее цѣликомъ, какъ червонцы въ копилку. И эта память есть наиболее деятельный союзникъ Толстого въ его чудесной работь. Одна наблюдательность сама по себъ-свойство очень вульгарное. Наблюдательные люди, наблюдательныя дъти встръчаются неръдко; ихъ много въ публикъ. Потому-то масса и оцъниваетъ Толстого общимъ голосомъ, что вся эта читающая толпа и сама не лишена наблюдательности и вотъ--она испытываеть наслаждение, встрвчая у Толстого все то, что она сама примъчала въ жизни, но какъ-то въ себѣ не удерживала. Въ наблюдательности Толстого особенно выдается, какъ индивидуальность его генія, лишь одна половина наблюдательности, а именно: самонаблюдение. Эта

способность самонаблюденія развита въ немъ въ такой же высокой степени, какъ и память. Нъть никакихъ событій, ощущеній, радостей и горестей,-не существуетъ такого душевнаго состоянія, не исключая даже и тѣхъ, подъ властью которыхъ, какъ сказалъ Пушкинъ, уже "не думаеть никто",-когда бы глазъ Толстого, обращенный на самого себя, пересталъ смотръть. Быть можеть, и даже весьма въроятно, что и большинство людей, въ сущности, не теряютъ себя изъ виду въ наивысшіе моменты такъ называемой безсознательности и потерянности; но только ничей глазъ не можетъ при этомъ сохранить такой ясности эрвнія, какая всегда остается у Толстого. Отсюда второй (въ соединения съ памятью) сильный факторъ, помогающій Толстому такъ всесторонне и правдиво изображать жизнь, --- это: самонаблюдение. Въ немъ таится родникъ знаменитаго толстовскаго "психологическаго анализа".

II.

Выступая въ нечати съ своимъ психологическимъ анализомъ, Толстой рисковалъ быть непонятымъ, потому что, наполняя свои страницы длинными монологами дъйствующихъ лицъ этими причудливыми, молчаливыми бесъдами людей "про себя", наединъ съ собою—Толстой создавалъ совершенно новый, смълый пріемъ въ литературъ. Такихъ монологовъ не писалъ еще никто. Этотъ странный, часто запутанный узоръ мыслей, проплывающій въ человѣческой головѣ совершенно невольно, при обстоятельствахъ, повидимому, самыхъ неподходящихъ,--въроятно, представлялся каждому такимъ случайнымъ, диковиннымъ явленіемъ, что не каждый бы въ немъ сознался, внутренно считая его за свою исключительную, не совствить ладную особенность, которою едва ли будетъ ловко и дозволительно подълиться съ публикой. Толстой не задумался. Онъ выставилъ цълый рядъ самыхъ здоровыхъ обыкновенныхъ людей, старыхъ и малыхъ, зрћлыхъ и юныхъ, въ самой патріархальной средѣ, въ самой будничной обстановкѣ и всѣхъ ихъ заставилъ почти что бредить на яву-въ дътскихъ комнатахъ, въ гостиныхъ, на охотѣ, въ дорожномъ экипажѣ, на дворянскихъ выборахъ и т. д., и т. д. Всъ самыя тайныя причуды мысли были выведены наружу. Кто, напримъръ, кромъ Толстого, осмълился бы заставить Наташу на святкахъ въ деревнѣ, отъ скуки, послѣ щелканія орѣховъ, ни съ того ни съ сего, громко произносить, съ разстановкой: "Ма-да-гас-каръ" и находить извъстное удовольствіе въ безсмысленномъ повтореніи этого слова, случайно попавшаго на языкъ?..

А между тъмъ всъ откликнулись, всъ поняли Толстого; всъ оказались такими же скрытыми лунатиками, выступающими твердымъ шагомъ на дъла дневныхъ заботъ съ цълымъ роемъ непонятныхъ сновидъній въ головъ. Особенно

плёнилась и продолжаеть плёняться Толстымъ (не только проповъдникомъ, но и романистомъ) молодежь нашихъ дпей, несмотря на свои положительныя требованія отъ жизни и свои прозаическіе вкусы, — пленяется потому, что для юныхъ головъ, вопросительно оглядывающихся вокругъ себя въ жизни, -- всегда кажется особенно разительнымъ это песоотвътствіе между спокойно текущею действительностью и этимъ невольнымъ сумбуромъ въ мозгу. И Толстой представляется имъ единственнымъ въщимъ человѣкомъ, которому раскрыта святая святыхъ души. Онъ одинъ ихъ понялъ,--они одному ему върятъ. Да и вообще много удивленія и много благодарности стяжалъ себъ Толстой у всѣхъ своихъ читателей за свои безбоязненныя и глубокія экскурсіи въ область пугливыхъ и тайныхъ думъ человѣческихъ...

Но дерзновеніе осталось дерзновеніемъ. Великая побъда, одержанная художникомъ въ чистой и безкровной области искусства, все-таки не обошлась безъ жертвъ... Есть жертвы, или върнъе сказать—остались горькіе плоды отъ этого побъдоноснаго вторженія въ царство тайны.

Переберите всѣхъ безчисленныхъ дъйствующихъ лицъ Толстого: кого изъ нихъ вы любите? Кто изъ нихъ—не то что хорошъ—всѣ они болѣе или менѣе хорошіе люди, нѣтъ между ними ни злодѣевъ, ни героевъ—но: кто изъ нихъ привлекателенъ? Рѣшительно никто. Съ симпатіей, съ сердечнымъ влеченіемъ вы остановитесь развѣ только на Наташѣ въ ея отроческую пору, да на Петъ Ростовъ, убитомъ на войнъ въ тѣ же отроческіе годы. И эти два образа лишь потому милье прочихъ, что они еще не дорисованы. А затьмъ? Прежде всего, всъ самыя крупныя фигуры Толстого, и въ "Войнъ и Миръ", и въ "Аннъ Карениной", заранъе поставлены имъ въ такія условія родовитости и богатства, что всё эти люди безъ всякой борьбы и помѣхи могуть предаваться карьерѣ, амурамъ, мистицизму, сельскому хозяйству и т. д. и потому въ самой своей порядочности они кажутся лишь условно порядочными людьми, т. е. что не будь у нихъ всего этого -Богъ въсть еще, что бы изъ нихъ вышло. Помимо этого, подъ вліяніемъ постоянно направленнаго внутрь этихъ людей авторскаго зеркала — мы доглядываемся до глубочайшей сущности каждаго изъ нихъ и (что, быть можетъ, было бы вполнъ справедливо и относительно большинства человѣческаго рода, если бы его можно было вывернуть на изнанку), - въ концъ концовъ мы не можемъ вполнѣ полюбить ни одно изъ этихъ дъйствующихъ лицъ. Пересмотрите даже тъ личности, къ которымъ авторъ, при всей своей почти непогръшимой объективности, все же чуточку благоволить. Пьеръ Безуховъ такъ неимовърно богатъ и настолько чудаковато-наивенъ, что къ нему вовсе нельзя приложить никакой мърки. Онъ болѣе всего интересенъ тъми оригинальными самонаблюденіями,

тъми мечтательно - философскими исканіями правды, которыя, какъ и впослъдствіи Константину Левину-внушены авторомъ Пьеру, очевидно, отъ своего лица. Константинъ Левинъ и менње богатъ и менње наивенъ, чњиъ Пьеръ Безуховъ, хотя въ немъ остаются тв же черты дътской простоты и чудачества, какъ и у Пьера. Левинъ, конечно, милъ своею правдою, искренностью, своимъ добрымъ сердцемъ и терпимостью, но такъ ужъ онъ къ себѣ прислушивается, такъ пережевываетъ свои ощущенія, такъ во всемъ, по-своему, основательно разбирается, что человъкъ этотъ, едва ли способный на глубокія увлеченія, оставляеть въ васъ холодное чувство, —чувство, хотя и дружелюбное, но сдержанное. Таковы Пьеръ и Левинъ-если не любимицы автора, то во всякомъ случавносители его собственныхъ свойствъ.

И въ "Войнѣ и Мирѣ", и въ "Аннѣ Карениной" повторяется какъ бы одно и то же созвѣздіе главныхъ лицъ. И тамъ, и здѣсь хорошая дѣвушка поставлена между блестящимъ гвардейцемъ и простодушнымъ статскимъ, и статскій выигрываетъ дѣвушку и женится на ней (Наташа—князь Андрей и Пьеръ; Кити— Вронскій и Левинъ). Въ князѣ Андреѣ проглядываетъ непріятная заносчивость и суховатый эгоизмъ; отъ Вронскаго, не смотря на его порядочность и честность, отдаетъ хорошо-выкормленною посредственностью. Наташа и Кити, привлекательныя въ началѣ, съѣзжаютъ впослъдствіи на слишкомъ узкіе супружескіе инстинкты. Стива Облонскій, добрый и чрезвычайно милый жизнелюбець, вызываеть въ читателѣ не только невольное снисхожденіе, но почти-сочувствіе. Это едва ли не единственное лицо во всей галлерев Толстого, не оставляющее болѣе или менѣе сухого впечатлѣнія, т. е. впечатлѣнія-скорѣе серьезнаго рисунка, чѣмъ легкаго, игриваго образа. Однако же и Стивой Облонскимъ мудрено увлечься, тъмъ болѣе, что надъ нимъ постоянно витаетъ иронія автора. Анна Каренина во многомъ-настоящая сестра Стивы. Она также цвътуща, красива и также легко всѣмъ нравится. Исторіи ея любви и ея отношеній къ мужу, любовнику и дътямъ-Толстой посвятилъ удивительныя, чудныя страницы, глубочайшіе этюды, согрѣтые всею правдою, всею теплотою жизни. И все же эта красивая, умная, хорошая женщина, несмотря на свои сложныя мученія и свой трагическій конецъ, не оставляеть въ васъ глубокаго очарованія; вы слишкомъ хорощо видите ея по преимуществу физическое чувство къ Вронскому, вполнѣ открытое читателю и въ началъ ея связи, когда описываются ея ощущенія передъ свиданіями, и впослёдствіи, когда она такъ часто оглядываетъ Вронскаго и засматривается на него.

Остается еще цѣлая толпа лицъ: историческія фигуры, военные и статскіе, придворные, старые родовитые дворяне, солдаты, простонародье, патріархальныя русскія семьи, ученые, 16 земцы, подростки, дамы, барышни, дёти п т. д. всѣхъ не перечислишь. Все это ярко, интересно, живо, чудно изображено и однако никто изъ этихъ людей не западаетъ въ душу, какъ милый образъ. И еще чѣмъ эпизодичнѣе лицо тѣмъ оно будто лучше; но всѣ лица, подвергнутыя болѣе или менѣе обстоятельному вскрытію, дѣлаются подъ конецъ нѣсколько чуждыми вамъ, уходятъ отъ вашей раскрывшейся симпатіи. И вспоминаются слова Достоевскаго, что "ближнихъ невозможно любить, а что можно любить развѣ лишь дальнихъ", т. е. тѣхъ, кого не успѣваешь близко разсмотрѣть.

Итакъ, не ищите между лицами Толстого образовъ истинно-прекрасныхъ или милыхъ, отрадныхъ, трогательныхъ, увлекательныхъ-въ родъ Татьяны, Лизы, Базарова, Рудина, Михалевича, Лемма, Лишняго человъка, Увара Ивановича, Максима Максимыча, старосвътскихъ помъщиковъ и т. п. Что же это значить? Неужели всъ наши художники не умѣли угадывать человѣка или рисовали его съ одной своей мечты, а не съ дъйствительности? Или: то была эпоха романтизма, время пріятныхъ заблужденій, быть можетъ искреннихъ, но твмъ не менве -заблужденій. И вотъ Толстой исправилъ эти ошибки своею трезвою живописью, своимъ глубокимъ и върнымъ анализомъ? Вполнъ ли это такъ? Не потому ли намъ такъ мало пріятны, въ большинствѣ случаевъ, дѣйствующія лица Толстого, что они какъ-то уже повсюду ходятъ съ свѣтящимися внутренностями? Дано ли одному человѣку рѣшительно всѣхъ и каждаго понимать насквозь? Не дълается ли здъсь авторомъ невольныхъ погрѣшностей, въ силу самой непроницаемости чужой души до ея настоящей глубины, по законамъ природы? Природа спрятала подъ костьми да еще прикрыла бѣлымъ тѣломъ склизкія кровянистыя внутренности и даетъ намъ возможность любоваться человѣкомъ, не взирая на эту начинку. Она же не позволила читать въ чужихъ мысляхъ. Какая бы привязанность, дружба, любовь устояла, если бы всѣ до единой мысли были вскрыты? Возможно, конечно, угадывать людей, но въ самомъ близкомъ человѣкѣ всегда останутся никѣмъ непостигнутыя думы и чувства. Поэтому даже и при громадномъ даръ проницанія въ чужую сущность, какимъ, несомнѣнно, владѣетъ Толстой. онъ все-таки за извъстными предълами, вскрывая слишкомъ глубоко другого человѣка, очевидно, заполняетъ часть сдъланнаго имъ отверстія, болѣе или менѣе наобумъ, дробя свою собственную сущность на создаваемые имъ образы. И эта окраска толстовскаго темперамента, окраска вдумчиваго генія-непрестаннаго судьи надъ собою, въчно себя разбирающаго и подводящаго себъ итоги, всегда съ оттънкомъ внутренняго недовольства, -- эта тень легла, несомнѣнно, на всъ созданія писателя, покрыла иногда едва замътнымъ (благодаря мастерству), но темъ не менте общимъ тономъ весь общир-16*

ный міръ выведенныхъ имъ людей. Въ большинствѣ случаевъ это скорѣе замаскированные приговоры, чъмъ портреты. Правда, что читатель Толстого поддается полнъйшему оптическому обману: онъ видитъ цъльныхъ, простыхъ, свободныхъ, натуральныхъ людей и не чуетъ присутствія судьи. Такъ, въ ясный осенній день воздухъ, кажется, достигаетъ небывалой чистоты и будто отъ избытка этой чистоты даже́ отливаетъ голубымъ свътомъ; чуть примътный запахъ дыма будто еще увеличиваетъ свѣжесть атмосферы. А между темъ голубоватый отливъ и этотъ запахъ разлиты въ воздухъ далекимъ обширнымъ костромъ горящаго лѣса... И Толстой, подобно этому далеко горящему лѣсу, непримѣтно для наблюденія, наполняеть и проникаетъ собою насквозь все царство своихъ созданій, всѣ фигуры и всѣ движенія своихъ дѣйствующихъ лицъ. Надъ печалями и радостями этихъ лицъ всегда витаетъ все тотъ же знакомый намъ геній; мы знаемъ, что онъ, этотъ геній, разбереть по косточкамъ каждое ихъ горе и каждую радость и дасть намъ свои выводы о жизни, — выводы человъка, одареннаго глубочайшимъ проникновеніемъвънъдра дъйствительности, который пронизываеть эту дъйствительность до самыхъ сокровенныхъ ея тайнипобуждаемый неутомимымъ исканіемъ ковъ. истины, — и который во всъхъ направленіяхъ съ горечью наталкивается въ концъ концовъ на зловѣщее сѣрое пятно, заслоняющее собою всякія дальнъйшія исканія. Вспомните эту сильную страницу въ "Войнъ и Миръ", можно сказать, руководящую –- для пониманія всей дъятельности Толстого:

"Только выпивъ бутылку и двѣ вина, Пьеръ смутно сознавалъ, что тотъ запутанный, страшный узелъ жизни, который ужасалъ его прежде, не такъ страшенъ, какъ ему казалось. Съ шумомъ въ головѣ, болтая, слушая разговоры или читая послѣ обѣда и ужина, онъ безпрестанно видѣлъ этотъ узелъ какою-нибудь стороной его. Но только подъ вліяніемъ вина онъ говорилъ себѣ: "Это ничего. Это я распутаю — вотъ у меня и готово объясненіе. Но теперь некогда, я послѣ обдумаю все это!" Но это послю никогда не наступало.

"Натощакъ, поутру, всѣ прежніе вопросы представлялись столь же неразрѣшимыми и страшными, и Пьеръ торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходилъ къ нему.

"Иногда Иьеръ вспоминаль о слышанномъ имъ разсказъ о томъ, какъ на войнъ солдаты, находясь подъ выстрълами, старательно изыскиваютъ себъ занятіе, для того, чтобы легче переносить опасности. И Пьеру всъ люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дълами. Нъть ни ничтожнаго, ни важнаго, все равно: только бы спастись отъ нея, какъ умъю!" думалъ Пьеръ. – Только бы не видать ее, эту страшную ее.

Распутанъ ли онъ и теперь, этотъ страшный узелъ жизни, нашимъ славнымъ искателемъ правды—въ его "Исповъди", въ его "Въръ", "Крейцеровой сонатъ" и во всемъ, что онъ проповъдуетъ?..

Ш.

Богъ, смерть и любовь — эти величайшія тайны міра—изслъдовались и освъщались Толстымъ различнымъ образомъ въ различные періоды его жизни, и, сообразно этимъ перемънамъ, каждый разъ совершенно иначе относились къ этимъ вопросамъ и дъйствующія лица его разсказовъ.

Начнемъ съ религия. Женщины у Толстого почти всегда върующія. Онъ держатся простой въры, завъщанной имъ отъ дътства. Даже наиболъе свободомыслящая Анна Каренина инстинктивно крестится передъ смертью. Иное дъло мужчины, т. е. въ большинствъ случаевъ-самъ Толстой. Вначалъ мы встръчаемся съ дътской и отроческой върой Иртеньева. Богъ для него есть высшій и личный судья его жизни. Его отроческая исповъдь исполнена страха, умиленія, жажды полнъйшаго очищенія и совершенства: заоывъ сказать священнику объ одномъ

изъ своихъ грѣховъ, Иртеньевъ на другой день, рано утромъ, тяготится этимъ упущеніемъ до такой степени, что, не найдя священника, торопится исповъдаться въ этомъ гръхъ какомуто иноку, въ пустынъ. Такъ же тепло, по-юношески, въруетъ Оленинъ. Однажды, задумавшись въ лѣсу, "онъ вспомнилъ о Богѣ и о будущей жизни, какъ не вспоминалъ этого давно... Онъ сталъ молиться Богу и одного только боялся, что умреть, не сдѣлавъ ничего добраго, хорошаго". Наивно относится къ Богу и Николай Ростовъ: онъ обращается къ Богу съ самыми обыденными просьбами. На охотъ, выжидая волка, --- "ну, что Тебѣ стоитъ, говоритъ онъ Ему, --сдѣлать это для меня! Знаю, что Ты великъ и что грѣхъ Тебя просить объ этомъ; но ради Бога (это особенно мило...) сдълай, чтобы на меня вылѣзъ матерый..."

Въ періодъ "Войны и Мира", въ полной зрѣлости своего таланта, Толстой, съ необычайною страстностью, глубиною и вдохновеніемъ предавался изслъдованію вопроса о Божествъ. Его мученія и думы пересказаны намъ Пьеромъ Безуховымъ и княземъ Андреемъ. Обоимъ этимъ людямъ, какъ воздуха, недостаетъ личнаго и единаго Бога.

"Какъ бы счастливъ и спокоенъ я былъ. думалъ князь Андрей, ежели бы могъ сказать теперь: Господи, помилуй меня!.. Но кому я скажу это! Или сила неопредѣленная, непостижимая, къ которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, великое все или ничего, — или это тотъ Богъ, который вотъ здъсь зашитъ, въ этой ладанкъ, княжной Марьей? Ничего, ничего нътъ върнаго, кромъ ничтожества всего того, что мнъ понятно, и величія чего-то непонятнаго, но важнъйшаго!"— (Т. V, стр. 453).

"— Ежели я вижу, ясно вижу лъстницу, которая ведетъ отъ растенія къ человъку, говорилъ Пьеръ, то отчего же я предположу, что эта лъстница прерывается со мною, а не ведетъ дальше и дальше? Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, какъ ничего не исчезаетъ въ мірѣ, но что я всегда буду и всегда былъ. Я чувствую, что кромѣ меня надо мной живутъ духи, и что въ этомъ мірѣ есть правда.

"— Да, это ученіе Гердера,—сказалъ князь Андрей, — но не то, душа моя, убѣдитъ меня, а жизнь и смерть, вотъ что убѣждаетъ. Убѣждаетъ то, что видишь дорогое тебѣ существо, которое связано съ тобой, предъ которымъ ты былъ виноватъ и надѣялся оправдаться (князь Андрейдрогнулъголосомъ и отвернулся) и вдругъ это существо страдаетъ, мучается и перестаетъ быть... Зачѣмъ? не можетъ быть, чтобъ не было отвѣта! И я вѣрю, что онъ есть... Вотъ что убѣждаетъ, вотъ что убѣдило меня, сказалъ князь Андрей.

"— Ну да, ну да, —говорилъ Пьеръ, — развѣ не то же самое и я говорю!

"- Нътъ. Я говорю только, что убъждаютъ

въ необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь въ жизни рука объ руку съ человѣкомъ, и вдругъ человѣкъ этотъ исчезнетъ *тамъ въ нигдъ*, и ты самъ останавливаешься передъ этою пропастью и заглядываешь туда. И я заглянулъ...

"— Ну, такъ что жъ! Вы знаете, что есть тамъ и что есть кто-то? Тамъ есть—будущая жизнь. Кто-то есть—Богъ... Надо жить, надо любить, надо върить,—говорилъ Пьеръ,—что живемъ не только на этомъ клочкъ земли, а жили и будемъ жить въчно тамъ во всемъ" (онъ указалъ на небо).

Князь Андрей стоялъ, облокотившись на перила парома и, слушая Пьера, не спуская глазъ смотрѣлъ на красный отблескъ солнца по синѣющему разливу. Пьеръ замолкъ. Было совершенно тихо. Паромъ давно присталъ, и только волны теченія съ слабымъ звукомъ ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волнъ къ словамъ Пьера приговаривало: "правда, вѣрь этому" (Т. VI, 154 и 155 стр.).

Извѣстно затѣмъ, что "Анна Каренина" оканчивается сложными и запутанными исканіями Божества, въ которыя пускается Левинъ. Послѣднія страницы романа уже носятъ на себѣ зачатки того языка и той аргументаціи, какія встрѣчаются во всей послѣдующей рукописной литературѣ Толстого, — въ его "Исповѣди", "Вѣрѣ" и т. д. Послѣ кризиса, описаннаго въ "Исповѣди", Толстой обратился къ вѣрѣ практической, къ ученію о дѣятельномъ добрѣ. Дѣтскіе сны исчезли, — глубокіе, страстные и поэтическіе порывы возмужалаго сердца умолкли, нѣкогда населенное небо опустѣло — и осталась прочная земля съ ея повседневными нуждами, которымъ необходимо и отрадно помогать, послѣ всѣхъ, въ концѣ концовъ утомительныхъ, треволненій житейскихъ.

То же постепенное исчезновение поэзи, по мъръ наступленія болье позднихъ лътъ, замъчается и въ отношении Толстого къ явлению смерти. Достаточно сравнить смерть князя Андрея, смерть Николая Левина и смерть Ивана Ильича. Кончина князя Андрея исполнена чудесной грезы о безсмертіи души. Насколько во власти поэзіи приподнять умирающаго надъ живымъ и здоровымъ человѣкомъ и придать самому изнеможенію кончины чувство возвышенія надъ жизнью-все это передано Толстымъ въ незабываемыхъ чертахъ, настолько же проникнутыхъ простымъ реализмомъ, сколько-и неуловимою прелестью вдохновеннаго чувства. Въ этомъ изображении авторъ нисколько не скрываетъ своего намфренія показать дуализмъ человѣческой природы, состоящей изъ души и тъла. Въ заключительныхъ строкахъ описанія прямо говорится "о послѣднихъ содроганіяхъ тѣла, покидаемаго духомъ" (Т. VII, стр. 86).

Въ кончинъ Николая Левина уже гораздо болъ отведено мъста описанію внъшней стороны педуга, чъмъ внутренняго настроенія умирающаго. Но и въ этой картинѣ еще не утраченъ колоритъ мистицизма, именно благодаря тому, что хотя авторъ и не передаетъ намъ настроенія самого больного, но за то описываетъ думы его брата:

"Левинъ положилъ брата на спину, свлъ подлѣ него и, не дыша, глядѣлъ на его лицо. Умирающій лежалъ, закрывъ глаза, но на лбу его изрѣдка шевелились мускулы, какъ у человѣка, который глубоко и напряженно думаетъ. Левинъ невольно думалъ вмѣстѣ съ нимъ о томъ, что такое совершается теперь въ немъ, но, несмотря на всѣ усилія мысли, чтобъ идти съ нимъ вмѣстѣ, онъ видѣлъ по выраженію этого спокойнаго и строгаго лица и игрѣ мускула надъ бровью, что для умирающаго уясняется и уясняется то, что все также темно остается для Левина"...

За то уже смерть Ивана Ильича есть одна голая болѣзнь, одно безысходное мученіе тѣла. Это мученіе, подобно картинамъ ада на монастырскихъ воротахъ, выведено съ умысломъ и съ угрозою передъ читателемъ, для того, чтобы онъ устраивалъ свою жизнь, въ ожиданіи подобнаго конца, не такъ мелко и поверхностно, какъ Иванъ Ильичъ,—дабы ему не пришлось впослѣдствіи испытывать въ эти невыносимыя минуты такой страшной разницы съ его прошлымъ и такого тяжкаго отчужденія отъ своихъ близкихъ. И хотя въ самую послѣднюю минуту отъ лица умирающаго говорится: "гдѣ

Digitized by Google

она? какая смерть? страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вмъсто смерти былъ свътъ",—но эти аллегорическія слова уже не производятъ на насъ впечатлѣнія да и ровно ничего не означаютъ, кромѣ прекращенія страданій.

"- Кончено!--сказалъ кто-то надъ нимъ.

"*— Кончена смерть*, — сказалъ онъ себъ. Ея нътъ больше.

"Онъ втянулъ въ себя воздухъ, остановился на половинъ вздоха, потянулся и умеръ".

Итакъ, здѣсь нарисовано лишь прекращеніе смерти, т. е. окончаніе тѣхъ мученій, съ которыми отходитъ жизнь. Играть словами такимъ образомъ, будто вся, довольно пошлая, жизнь Ивана Ильича была, такъ сказать, "смертью" это ужъ слишкомъ натянутый образъ. Иванъ Ильичъ былъ вовсе не такой грѣшникъ.

Въ сущности же Иванъ Ильичъ не умираетъ, какъ умирали князь Андрей и Николай Левинъ, а просто-на-просто околъваетъ, наводя страхъ на читателя и заставляя его призадуматься, какъ бы это и ему не пришлось, посреди такихъ же пытокъ, да еще чувствовать и такой же разладъ съ своею прошлою жизнью и съ своею семьею, какой испыталъ, при своей кончииъ, злополучный Иванъ Ильичъ.

Такъ, слѣдовательно, съ годами и въ изображеніи смерти — первоначальная поэзія смѣнилась у Толстого прозою.

То же случилось и съ любовью. Лиризмъ

князя Андрея и Пьера Безухова, увлеченныхъ Наташею, и очарованное состояніе Левина, полюбившаго Кити, переданное съ необычайнымъ мастерствомъ и удивительною свѣжестью чувства, — все это, въ концѣ концовъ, завершилось Крейцеровой сонатой, гдѣ самая любовь предается анаеемѣ и низводится на одну лишь предосудительную похоть.

По поводу всѣхъ этихъ перемѣнъ въ воззрѣніяхъ нашего великаго художника, можно только воскликнуть: "о, время!.." А насчетъ блекнущихъ, съ годами, призраковъ любви, можно бы, пожалуй, сказать стихами Апухтина: "пусть даже время рукой безпощадною мнѣ показало, что было въ васъ ложнаго, все же..." не слѣдуетъ полагаться на то, будто эта рука именно мнѣ и теперь указываетъ истину, а слѣдуетъ помнить, что та же "рука времени" другимъ, новымъ людямъ въ эту самую минуту показываетъ тѣ же самыя вещи въ совершенно пномъ освѣщеніи.

Но въ "Крейцеровой сонать", какъ въ разсказъ преднамъренномъ и нравоучительномъ, есть двъ замъчательныхъ стороны: 1) содержа въ себъ до крайности преувеличенное требованіе цъломудрія, разсказъ этотъ, написанный съ необычайной проповъднической энергіей, въ сильныхъ выраженіяхъ и образахъ, можетъ быть рекомендованъ впечатлительному юношеству, въ опасный періодъ первыхъ страстей, какъ хорошее гигіеническое средство для подавленія и угнетенія плотскихъ излишествъ; кромѣ этого временнаго сдерживающаго вліянія, соната, конечно, ничего не сдълаетъ, потому что природа возьметъ свое; 2) въ "Крейцеровой сонатъ" Толстой, со свойственною ему безбоязненною откровенностью и съ глубокимъ инстинктомъ правды, ближайшимъ образомъ подошелъ къ самому слабому мѣсту брачнаго союза. Онъ показалъ, какъ этотъ союзъ роковымъ образомъ, непремѣнно, только и держится, что на своемъ низменномъ началъ и какъ объ стороны постоянно цвпляются объ это начало и страдають отъ него. Въ этомъ много глубокой правды и "Крейцерова соната" всего болње замфчательна, какъ сенсаціонная брошюра для обсужденія брачнаго вопроса. Семья постоянно привлекала вниманіе Толстого; онъ всегда былъ ея защитникомъ. Въ двухъ крупнъйшихъ его произведеніяхъ главная роль отведена семьв. Два старозаветныхъ. устойчивыхъ семейства, Ростовыхъ и Болконскихъ--составляють прекрасный фонъ "Войны и Мира". "Анна Каранина" вся цъликомъ посвящена разработкъ семейнаго вопроса. Здъсь выведено три типа семейныхъ союзовъ: 1) бракъ безъ любви, по разсчету, съ неизбъжнымъ распаденіемъ и катастрофой-Каренины; 2) бракъ обыденный, съ эпизодической измѣной мужа, краткимъ разладомъ и плохимъ примиреніемъ, основаннымъ на дальнъйшихъ, болъе ловкихъ обманахъ мужа и невольномъ снисхожденіи жены--это: Облонскіе, и 3) бракъ хорошій, нор-

мальный, поддерживаемый глубокою привязанностью супруговъ и неуклонною върностью объихъ сторонъ,-Левины. Для такого брака Толстой, повидимому, рекомендуеть сравнительно большую разницу лъть-35 мужу и 17 женъ-(Левинъ и Кити, Сергъй Михайловичъ и Маша въ "Семейномъ счасти"), любовь, сродство натуръ, полное взаимное довъріе и безусловную вёрность. Но въ этомъ требовании вёрности и заключается роковой узель, потому что, какъ показываетъ "Крейцерова соната", эта капитальная основа брака и семьи, въ сущности,--весьма низменная. А безъ нея-безъ этой низменной основы-колеблятся и распадаются самыя лучшія привязанности. Это какъ нельзя лучше выражено на первой же страницъ "Анны Карениной":

"Все смѣшалось въ домѣ Облонскихъ. Жена узнала, что мужъ былъ въ связи съ бывшею въ ихъ домѣ француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не можетъ жить съ нимъ въ одномъ домѣ. Положеніе это продолжалось уже третій день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всѣми членами семьи и домочадцами. Всѣ члены семьи и домочадцы чувствовали, что нътъ смысла въ ихъ сожительствъ, и что на каждомъ постояломъ дворъ случайно сошедшеся люди болъе связаны между собою, чъмъ они, члены семьи и домочадцы Облонскихъ. Жена не выходила изъ своихъ комнатъ, мужа третій день не было дома. Дѣти бѣгали по всему дому какъ потерянныя; англичанка поссорилась съ экономкой и написала записку пріятельницѣ, прося пріискать ей новое мѣсто; поваръ ушелъ еще вчера со двора во время обѣда; черная кухарка и кучеръ просили разсчета".

Дъйствительно "случайно сошедшиеся на постояломъ дворъ люди болье связаны между собою, чвиъ члены семьи"-въ ту минуту, когда въ этой семь в обнаруживается, что супруги, составлявшие одно цълое, вдругъ раздълены измъною. Незнакомые между собою люди, встрвчаясь на постояломъ дворъ, связаны общечеловъческимъ, простымъ, привътливымъ и участливымъ отношеніемъ другі, къ другу. Но здѣсь, въ семьв, застигнутой измвною одного изъ супруговъ, поднимается столько горечи, взаимнаго раздраженія, разочарованія, косыхъ взглядовъ, недоумѣнія — что все, бывшее прежде сплоченнымъ, — теперь, по реакціп, взаимно отталкивается на такое разстояніе, какого не бываеть даже между совершенио незнакомыми людьми. И все это происходить исключительно природныхъ, физіологическихъ условій отъ брака. И эта прискорбная основа брака, не безъ уродливаго шаржа, но за то съ особенною выпуклостью обрисована въ "Крепцеровой сонатъ".

Но развѣ по этому поводу, т. е. по случаю одной изъ тѣхъ неизбѣжныхъ каверзъ природы и жизни, которыя встрѣчаются человѣку почти во всемъ и повсюду, — возможно отрицать любовь? Развѣ мыслимо съ безсильною бранью возставать противъ законовъ міра и осмѣивать, мѣшать съ грязью то самое чувство, которое самому Толстому нѣкогда принесло столько чистыхъ радостей вмѣстѣ съ его княземъ Андреемъ, Пьеромъ Безуховымъ, Левинымъ и т. д.?..

Приходится, такимъ образомъ, въ заключеніе этого отдѣла, оглянувшись назадъ, признать, что по всѣмъ явленіямъ жизни у Толстого замѣчается постепенная замѣна прежняго вдохновенія—разсудочностью и прозою.

IV.

Въ "Крейцеровой сонатъ" есть еще одна глубоко-знаменательная черта. Это—совершенно спокойное, убъжденное требованіе Толстого, чтобы родъ человъческій былъ прекращенъ.

Гдѣ же тогда, спрашивается, любовь къ людямъ? къ чему вся эта проповѣдь самопожертвованія, помощи ближнему, добра, смиренія и т. д., если всѣмъ этимъ людямъ и жить вовсе не слѣдуетъ? Какое бьющее въ глаза противорѣчiе!

А между тѣмъ, если вдуматься въ личность Толстого, такъ ясно обозначенную въ его произведеніяхъ, то въ этомъ кажущемся абсурдѣ раскроется извъстная послѣдовательность. Толстой, начиная съ отроческихъ лѣтъ, постоянно доискивался въ жизни счастья и правды. Онъ 17

искаль ихъ въ Богѣ, въ подвигахъ битвы, въ любви къ женщинъ, въ семьъ, школъ, сельскомъ трудѣ, земскомъ дѣлѣ, въ улучшеніи крестьянскаго быта,---во всемъ возвышенномъ, благородномъ, хорошемъ. И ото всего онъ отходилъ съ разочарованіемъ. Во всемъ онъ находилъ или противоръчія и недомолвки. чуждыя его глубокой всеобнажающей мысли, или наталкивался фальшь и грязь, претившія его чистой, на правдивой душъ. Всъ его автобіографическія дъйствующія лица гонялись за раскрытіемъ смысла жизни. Не разъ они будто подходили къ какой-то разгадкъ. Безуховъ и Левинъ, казалось, уже нащупывали пальцами какіе-то осязательные идеалы. Левинъ (въ самомъ концъ "Анны Карениной") даже дошелъ до экстаза:

"Неужели это вѣра?" подумалъ онъ, боясь върить своему счастью. "Боже мой, благодарю Тебя!"—проговорилъ онъ, проглатывая поднимавшіяся рыданія и вытирая обѣими руками слезы, которыми были полны его глаза...

"Теперь вся жизнь моя, независимо отъ всего, что можетъ случиться со мной, каждая минута ея—не только не безсмысленна, какъ была прежде, но имѣетъ несомнѣнный смыслъ добра, который я властенъ вложить въ нее!"

Но и послѣ этого Толстой, какъ извѣстно изъ его "Исповѣди", испытывалъ новыя муки невѣрія и отчаянія и даже покушался на самоубійство. Этотъ новый и, кажется, до настоящаго времени – послѣдній кризисъ разрѣшился

· Digitized by Google

проповъдью полнаго самоотреченія и обращенія всъхъ своихъ силъ на служеніе ближнему.

Но... изъ какого же, собственно, источника идетъ это самоотреченіе?

Лумается намъ, вотъ изъ какого: Толстой проанализировалъ всего себя насквозь, вдоль и поперекъ; онъ всю жизнь прислушивался къ себъ, разбиралъ до мелочей каждое свое ощущение; всѣ идеалы счастья провѣрялъ онъ этой своей внутренней, личной мъркой-и все распадалось, ничто не выдерживало его разъъдающаго и, такъ сказать, пронзительнаго анализа; ничъмъ не могъ онъ на себя потрафить. И вотъ, когда все было испробовано, явилась, наконецъ, мысль: а что если я совсѣмъ забуду себя, брошу возиться съ собою и буду жить для другихъ. Тогда въдь вся мука моей прежней жизни исчезнетъ. И не каждому ли точно также будеть легко лишь тогда, когда онъ перестанетъ носиться съ самимъ собою. съ своими личными благами, а весь уйдетъ въ заботы о благъ другихъ.

Какъ видите, мы даже довольно близко держимся текста проповъди и только происхожденіе ея объясняемъ особыми свойствами меланхолическаго толстовскаго генія. И намъ невольно вспоминается приведенная нами выше цитата изъ "Войны и Мира", которую мы, для наглядности, повторяемъ: "всъ люди представлялись Пьеру солдатами, спасающимися отъ жизни кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами... Только бы не видать ее, эту страшную ее!" И вотъ намъ кажется, что Толстой, точно такъ же, какъ

• и всѣ другіе, — для того только, чтобы не видать своей жизни, этой страшной, неразрѣшимой жизни, — занялся и предлагаетъ всѣмъ заниматься жизнью другихъ... Такого рода дѣятельность, конечно, находится всего болѣе въ гармоніи съ доброжелательной, мягкой и гуманной натурой нашего маститаго писателя.

И теперь понятно: если все это дѣлается лишь во имя того, что каждому, пока онъ будетъ на себъ сосредоточиваться, собственная жизнь всегда будетъ тягостна, неразрѣшима и страшна—то въ сущности, было бы наилучшимъ исходомъ, если бы всѣ вмѣстѣ отъ этой страшной жизни совсѣмъ отдѣлались, чтобы родъ человѣческій прекратился...

И потому "Крейцерова соната" допускаеть это такъ спокойно.

Такъ мраченъ, по своей природъ, душевный складъ разбираемаго нами великаго художника. Во всъхъ его произведеніяхъ, на самыхъ свътлыхъ страницахъ, вы чувствуете присутствіе чьего-то тяжкаго, серьезнаго взора. Нигдъ, ни разу вы не развеселитесь и не разсмъетесь отъ души. Когда онъ вамъ рисуетъ чужое счастье, онъ вамъ даетъ его почувствовать во всей его полнотъ и однако же что-то неуловимое будто говоритъ вамъ въ то же время о неполнотъ этого счастья. И созданныя Толстымъ неподражаемыя картины дъйствительности—если смотръть дальше и глубже ихъ внъшняго совершенства могли бы, по ихъ сокровенному содержанію, служить блестящими, геніальными иллюстраціями къ безутъшной философіи Шопенгауэра...

Но каковъ бы ни былъ ихъ затаенный смыслъ, художественныя. произведенія Толстого всегда будутъ занимать одно изъ первыхъ мѣстъ въ искусствѣ, по своей геніальной простотѣ, непогрѣшимой полнотѣ и правдѣ и по колоссальной силѣ творчества, черпающаго изъ жизни великое и мелкое, пестрое и монотонное, осязательное и неуловимое съ одинаковою легкостью и выразительностью исполненія.

1890 г.



ТУРГЕНЕВЪ.

Его индивидуальность и поэзія.

Имя Тургенева переживаетъ кризисъ. По временамъ, Тургеневъ предстанынѣшнимъ вляется читателю нёсколько слащавымъ, искусственнымъ и манернымъ, несмотря на поучительную простоту его языка и его художественное стремленіе къ правдъ. Вкусы "опростились" и въчная красота теперь не въ почетъ *). Изъ всёхъ отзывовъ о Тургеневъ, характеризующихъ современное отношение къ нему, мнѣ показался наиболѣе выразительнымъ импровизованный отзывъ В. В. Стасова, въ бесъдъ со мною: "Тургеневъ", сказалъ мнѣ г. Стасовъ, "это персикъ, а не бифштексъ", разумъя подъ бифштексомъ, очевидно, Льва Толстого и Эмиля Зола. Въ сущности, къ этому реалистическому парадоксу и сводятся всѣ недоразумѣнія насчеть Тургенева.

*) Это писалось въ началъ девятидесятыхъ годовъ.

I.

Каждое большое и шумное литературное явленіе должно претерпѣть реакцію отъ послѣдующаго времени. Все, что слишкомъ сильно и ярко заявляло себя при жизни, неминуемо должно испытать такой періодъ, когда, послѣ смерти, пережитое издаетъ "тлетворный духъ". Но затѣмъ, послѣ такихъ налетающихъ на него затменій, великое имя все-таки, въ концѣ концовъ, начинаетъ сіять неподвижнымъ свѣтиломъ въ памяти потомства. И это сіяніе, конечно, ожидаетъ Тургенева.

Но прежде, чѣмъ судить и рядить Тургенева, надо его понять.

Помнится, лётъ пятнадцать тому назадъ, въ "Голосъ" появлялись фельетоны Евгенія Маркова о Тургеневъ. Существенный выводъ тогдашнихъ этюдовъ г. Маркова сохранился въ моей памяти. Авторъ отмѣчалъ въ Тургеневъ, какъ его главную черту – "боязнь жизни". Эта характеристика, при чтеніи, нъсколько меня поразила, такъ какъ мнѣ самому, наобороть, всегда казалось, что Тургеневь, по преимуществу, боится именно смерти, а не жизни. Но въ то же время я смутно почувствовалъ, что и выводъ г. Маркова близокъ къ истинь. И это кажущееся, съ перваго взгляда, противорѣчіе, дѣйствительно, весьма легко примиряется, ибо тотъ, кто слишкомъ о́оится смерти, долженъ быть, въ силу этого самаго, и крайне робкимъ и неръшительнымъ въ жизни. Все дѣло въ томъ, что про Тургенева нельзя даже

сказать, чтобы онъ "любилъ жизнь" въ томъ смыслѣ, какъ мы это говоримъ о другихъ жизнелюбцахъ, т. е. чтобы онъ любилъ или умълъ "пожить". Нътъ! Тургеневъ не любилъ жизнь, а быль грустно влюблень въ нее тою д'ввственною, чистою, мечтательною и безнадежною любовью, какою былъ влюбленъ Зибель въ Маргариту. Онъ всегда страшился разочарованій; онъ зналъ, что дъйствительная основа боготворимой имъ жизни плоска, низменна и безжалостна, но онъ, по непреодолимому артистическому инстинкту, всегда отворачивалъ взоры отъ этой ужасающей подкладки бытія и баюкалъ себя своими стройными иллюзіями, мучительно въруя, что эти его иллюзіи и составляють настоящую правду, прозрѣваемую имъ сквозь шероховатую, мятущуюся и, по временамъ, отталкивающую дъйствительность. Върнъе всего было бы назвать Тургенева задумчивымь поэтомь земного существованія, который относился къ этому существованію съ чуткостью. очарованностью и грустью настоящаго влюбленнаго. Не забывайте только одного, что Тургеневъ поэтъ-и вы поймете всѣ его кажущіеся недостатки и всѣ его неоцѣнимыя достоинства.

Васъ неминуемо подкупаетъ въ Тургеневѣ вѣрность, правда, простота и естественность разсказа; но въ то же время гармоничность впечатлѣнія, которому вы уже невольно поддались-впослѣдствіи оставляетъ въ васъ подозрѣніе, будто здѣсь что-то сглажено и прикрыто, потому что вы сами, въ дъйствительной жизни, никогда не воспринимаете людей и событія въ такомъ ласкающемъ, красивомъ и мягкомъ освѣщеніи... Да! Что же дѣлать? Это и есть поэзія... Но въ чемъ же именно состоитъ поэзія? Что это? Фальшь? Прикраса? Почему она такъ плѣняетъ насъ и возвеличивается въ исторіи.--На эти вопросы превосходно отвѣчаетъ самъ Тургеневъ устами своей Зины, въ повъсти "Первая любовь": "вотъ чъмъ хороша поэзія: она говорить намъ то, чего нътъ, и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду". И намъ думается, что эти чудесныя слова должны примирить съ Тургепевымъ всѣхъ, кто требуеть оть него непремённо "бифштекса" и кто укоряетъ его за то, что онъ только "персикъ"...

Подобно Пушкину и Лермонтову, Тургеневъ принадлежалъ къ очень ръдкимъ натурамъ. Трезвый, сангвиническій, геніальный во всъхъ жизненныхъ вопросахъ Пушкинъ—умълъ, однако же, всегда оставаться художникомъ и всегда проникалъ въ сердце читателя гармоніей самаго теплаго внутренняго чувства. Точно также Лермонтовъ, зорко понимавшій дъйствительность, всегда умълъ сохранять обаяніе заоблачнаго титаническаго генія. И рядомъ съ этими двумя поэтами, Тургеневъ, всегда оставаясь върнымъ красотъ, въ то же время удивлялъ публику необыкновенно чуткимъ пониманіемъ всъхъ самыхъ жгучихъ вопросовъ современности. И, однако же,-простите ему эту провинность, строгій и скептическій читатель нашего времени,—Тургеневъ все-таки всегда былъ и оставался поэтомъ.

II.

Признаніе за произведеніями Тургенева ихъ поэтическаго характера давно уже установилось въ нашей критикъ. Но въ этомъ случаѣ какъ-то всегда отдѣлялась манера писателя отъ его духовной личности, какъ будто бы Тургеневъ писалъ такъ, а не иначе, только благодаря своему пристрастію къ извѣстнымъ литературнымъ пріемамъ, или въ силу тѣхъ ромавтическихъ вліяній, среди которыхъ онъ воспитался, а не потому, чтобы, по самому внутреннему отношенію своему къ жизни, онъ и не могъ передавать эту жизнь ни въ какихъ иныхъ формахъ.

У Тургенева всегда хвалили изящество языка, мягкость тона, красоту образовъ и грацію рисунка, но все это дѣлали, такъ сказать, между прочимъ, точно говорили при этомъ: "ужъ на это, извѣстное дѣло, онъ мастеръ!" А между тѣмъ все вниманіе обращалось только на содержаніе его каждаго новаго произведенія, и по поводу этого содержанія всегда поднимались крикливыя, будничныя распри, ибо всѣ въ нашемъ обществѣ чувствовали, что въ этихъ "благоуханныхъ" по формѣ созданіяхъ задѣвались самые настоятельные вопросы текущей

дъйствительности. Вслъдствіе такого отдъленія "манеры" отъ "сущности" (по естественной близорукости, весьма часто свойственной современникамъ), теперь получилось то, что когда практические вопросы тургеневской эпохи отшумъли свою "злобу дня", то случайность, по мнѣнію критики, красивыхъ тургеневскихъ пріемовъ кажется теперь еще более случайною, и читатель поневолъ сътуетъ, что всъ эти важныя и глубокія явленія общественной жизни воплотились у Тургенева въ такую устарѣло-граціозную и заподозриваемую въ своей натуральности оболочку. Вкусь теперешняго читателя никакъ не можетъ съ этимъ помириться. Его нъсколько мутить отъ поэтическаго "благоуханія" тургеневскихъ произведеній и ему гораздо болъе нравится тотъ "дурной запахъ изо рта", который ощущалъ Иванъ Ильичъ, цълуя свою постаръвшую жену, потому что въ этомъ безбоязненно-откровенномъ штрихѣ Льва Толстого читатель видить голую правду жизни (какъ будто онъ ранѣе не зналъ ея?) и вообще потому, что онъ предпочитаетъ ръзкое-нъжному.

А между тѣмъ, эта красивая, простая и благородная форма произведеній Тургенева составляла природную, ничѣмъ неустранимую принадлежность ихъ содержанія. И если бы Тургеневъ подчинился совѣтамъ какихъ-нибудь фанатиковъ реализма, которые бы сказали ему: "Иванъ Сергѣевичъ, все это глубоко и вѣрно, но сотрите эту эмаль, пустите здѣсь побольше

крови"... то весь смыслъ и вся естественная ц внность тургеневскихъ созданий исчезли бы безвозвратно. Исчезли бы потому, что Тургеневъ самъ всегда искалъ правды; онъ всегда слѣдоваль художественной заповѣди Гете: "запускайте руку внутрь, въ глубину челов вческой жизни", но, дѣлая это съ чуткостью первостепеннаго таланта, онъ не могъ, однако же, расходиться съ эстетическою сущностью своей природы, онъ долженъ былъ оставаться върнымъ самому себъ и не могъ рисовать дъйствительность въ иномъ освѣщеніи, какъ въ своемъ собственномъ, т. е. подъ вліяніемъ того поэтическаго міровоззрѣнія, съ какимъ онъ родился на свътъ. Какъ извъстно, Тургеневъ и дебютировалъ въ литературъ стихами. Но стихъ пе удавался ему и онъ вскоръ сознательно покинулъ эту, чуждую ему, форму. Почему бы, спрашивается, могла случиться подобная неудача съ прирожденнымъ поэтомъ? Кто изучилъ Тургенева, тотъ можетъ это понять. Для того, чтобы сделаться настоящимъ "пъвцомъ", т. е. для того, чтобы отдаться беззавѣтной, почти безсознательной и, однако, всепокоряющей музыкъ риемованной ръчи, нужно имъть въ своей натуръ хотя немножко наивности,-нужно, хотя отчасти, хотя въ невѣдомомъ туманъ, допускать чудесное... А Тургеневъ очень рано началъ страдать этою невозможностью, именно: страдать, мучиться ею. "Не привидънія, не фантастическія подземныя силы страшны", сознавался онъ. "Страшно то, что

нють ничего страшнаго, что самая суть жизни мелко неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этимъ сознаніемъ, отвъдавъ этой полыни, никакой медъ уже не покажется сладкимъ" ("Довольно").

Эта именно полынь, т. е. полынь остраго ума, "отъ младыхъ ногтей", сдълала для Тургенева невозможнымъ то безотчетное, безъ оглядки, увлечение чъмъ бы то ни было, которое одно только п способно переливаться въ метрическую мелодію, въ упоительную пѣсню словъ, хотя бы и замкнутыхъ въ условія риемы и размѣра, но совершенно превозмогающихъ эти кажущіяся преграды своею внутреннею страстью, своимъ "божественнымъ огнемъ"... Тургеневъ былъ слишкомъ уменъ (мы извиняемся заэто необходимое слово; нечего и говорить, что, какъ художникъ, онъ былъ геніаленъ), онъ былъ, повторяемъ, слишкомъ уменъ, слишкомъ отравленъ позитивизмомъ, чтобы отдаваться необузданному порыву фантазіи. И горькое раздумье выдается страдальческой нотой во всёхъ его вдохновеніяхъ.

Въ одномъ изъ прежнихъ этюдовъ я позволилъ себѣ назвать Некрасова "спорнымъ" поэтомъ, несмотря на его сильный талантъ и на его незабвенныя общественныя заслуги. Здѣсь, я могу, наоборотъ, назвать Тургенева безспорнымъ поэтомъ, хотя онъ и сдѣлался знаменитъ только благодаря своей прозѣ. И какъ Тургеневъ отозвался объ одномъ сборникѣ стихотвореній Некрасова: "поэзія туть и не ночевала",-такъ точно мы можемъ сказать о всѣхъ прозаическихъ произведеніяхъ Тургенева: "поэзія туть не удалялась ни на одно мгновеніе ни съ одной тургеневской страницы, отъ ея первой до послѣдней строки". Весь текстъ Тургенева можно было бы раздёлить цифрами на отдѣльные періоды, какъ раздѣлена библейская проза, и въ каждомъ изъ такихъ періодовъ вы нашли бы върныя, полныя мысли и гармоніи, слова, которыя весьма часто достигають такой содержательности и красоты, что напрашиваются на заучивание. И только тотъ вполнъ усвоитъ Тургенева, кто будетъ именно такимъ образомъ относиться къ его тексту. И только тогда Тургеневъ сдѣлается для васъ не только великимъ бытописателемъ русской жизни и симпатичнымъ разсказчикомъ, но и драгоцъннымъ собесъдникомъ вашего ума, сердца и воображенія. Только тогда, вдумываясь въ каждый избранный имъ энитетъ, въ каждую положенную имъ краску, въ каждую высказанную имъ мысль, - вы раскроете всѣ тайныя богатства этой предательскилегкой и музыкальной прозы, подобной стихамъ Пушкина, въ которыхъ лишь весьма поздно и весьма немногіе сумѣли раскрыть глубочайшее внутреннее содержаніе. Баратынскій, разбиравшій бумаги Пушкина уже послѣ его смерти, въ письмѣ къ одному изъ своихъ пріятелей, первый сказаль: "Можешь ты себъ представить, что меня больше всего изумляеть во всёхъ этихъ

поэмахъ? Обиліе мыслей! Пушкинъ мыслитель! Можно ли было ожидать?". Таковъ же точно и Тургеневъ съ его мнимо-деликатнымъ и воздушнымъ изложеніемъ. Отрѣшитесь на минуту отъ своего преувеличеннаго реалистическаго преклоненія передъ грубостью, и вы найдете удивительную силу живописи и захватывающую глубину мысли и чувства -- тамъ, гдъ вамъ прежде воображались только ненужныя, легковъсныя и приторныя прикрасы романтизма. И все, что вамъ представляется теперь эфемернымъ и старомоднымъ, -- окажется неимовѣрно крѣпкимъ и живучимъ, - настолько живучимъ, насколько вообще способна жить поэзія, которая, какъ извъстно, переживаетъ отдъльные народы и остается затъмъ общею и единою во всемъ человѣчествѣ.

III.

Истинную поэзію въ произведеніяхъ Тургенева умѣлъ находить даже радикальный Писаревъ. Разбирая "Отцовъ и Дѣтей", Писаревъ говоритъ: "Художественная отдѣлка безукоризненно хороша, характеры и положенія нарисованы такъ наглядно и въ то же время такъ мягко. что самый отчаянный отрицатель искусства почувствуетъ при чтенін романа какое-то непонятное наслажденіе, котораго не объяснишь ни занимательностью разсказываемыхъ событій, ни поразительною вѣрностью основной иден.

Дѣло въ томъ, что событія вовсе не занимательны, а идея не поразительно върна. Въ романѣ нѣть ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманнаго плана; есть типы и характеры, есть сцены и картины и, главное, сквозь ткань разсказа сквозить личное, глубоко - прочувствованное отношение автора къ выведеннымъ явлениямъ жизни" (ч. І, стр. 126). Писаревъ угадалъ върно. Всю прелесть Тургенева составляеть именно его личное отношение къ изображаемой жизни, т.е. то художественное освъщение, въ которомъ онъ ее воспринимаетъ и чувствуетъ. А вся таппа того непонятнаго наслажденія, о которомъ говорить Писаревъ, и заключается въ способъ передачи предмета. Здъсь потому-то и нельзя отдълить формы отъ содержанія, что они всесильны только въ своей совокупности, какъ оно всегда и бываетъ въ истинио-художественныхъ произведеціяхъ.

Писаревъ, при своей необычайной живости и даровитости, конечно, все это прекрасно понималъ. По онъ, съ безпощадною прямолинейностью молодой и задорной силы, умышленно подгибалъ все подъ свою излюбленную теорію насущной пользы. По блеску, силѣ и находчивости своей діалектики этотъ критикъ едва ли имѣетъ себѣ равнаго. Писаревъ даже не скрывалъ своего упрямства. Вотъ какими доводами онъ отбрасывалъ отъ себя всякія разсужденія о формъ художественныхъ произведеній:

"Романы Писемскаго, Гончарова и Турге-

нева имѣютъ для насъ не только эстетическій, но и общественный интересь; у англичанъ рядомъ съ Диккенсомъ, Теккереемъ, Бульверомъ и Элліотомъ есть Джонъ Стюарть Милль; у французовъ рядомъ съ романистами есть публицисты, и соціалисты; а у насъ въ изящной словесности да въ критикъ на художественныя произведенія сосредоточилась вся сумма идей нашихъ объ обществъ, о человъческой личности, о междучеловъческихъ, семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ; у насъ нѣтъ отдѣльно существующей нравственной философіи, нътъ соціальной науки; стало быть всего этого надо искать въ художественныхъ произведеніяхъ" (ч. І, стр. 37). "Для меня Тургеневъ и Писемскій важны настолько, насколько они разъясняють явленія жизни; слѣдовательно, для меня всего интереснье отношенія ихъ къ изображаемымъ ими типамъ. Что же касается до того, какъ каждый изъ нихъ рисуетъ явленія и картины, то этотъ вопросъ имфетъ для меня совершенно второстеценное значение. Пусть одинъ рисуеть крупными штрихами, а другой съ любовью отдѣлываетъ подробности-все равно: они могуть сходиться съ собою въ результатахъ. Разбирать манеру и отдѣлять ее отъ манеры другого писателя почти то же самое, что писать стилистическое изслѣдованіе; это, конечно, важно для характеристики писателя, но это не можетъ служить отвѣтомъ на нашъ вопросъ: что сдѣлали Писемскій и Тургеневъ для нашего обще-18

ственнаго сознанія?" (ч. І, стр. 58). Да, прибавимъ мы отъ себя, понимать манеру каждаго отдъльнаго писателя въ связи съ его душевною индивидуальностью настолько важно для его характеристики, что, не сдѣлавъ этого, напримѣръ, относительно Тургенева, критика совершенно исказила его значеніе въ пониманіи ближайшаго потомства. А между тѣмъ, никто превосходнѣе Писарева не высказалъ, какую драгоцѣнность въ поэтическомъ произведеніи составляетъ именно—ощущеніе въ немъ духовной личности писателя. Вотъ, что онъ сказалъ:

"Для того, чтобы печатныя строки казались намъ ръчами и поступками живыхъ людей, необходимо, чтобы въ этихъ печатныхъ строкахъ сказалась живая душа того, кто ихъ писаль; только въ этомъ соприкосновеніи между мыслью автора и мыслью читателя и заключается обаятельное дъйствіе поэзіи... На васъ дъйствуетъ чисто сила мысли, а мысль и чувство всегда бывають личными. Слъдовательно, что же останется отъ поэтическаго произведенія, если вы изъ него вытравите личность автора: вполнв объективная картина-фотографія; вполнѣ объективный разсказъ-показание свидътеля, записанное стенографомъ; вполнѣ объективная музыка-шарманка; вполнѣ добиться этой объективности. значить уничтожить въ поэзіи всякій патетическій элементь, и вмѣстѣ съ тѣмъ убить поэзію, убить искусство"... (ч. І, стр. 45).

Какая върная и какъ блестяще высказанная мысль!

Въдь, дъйствительно, самые объективные, повидимому, писатели, каковы, напримъръ, Флобэръ. Левъ Толстой. Э. Зола, сумъли, однако же. сдълаться намъ близкими, потому что, загромождая себя своими дъйствующими лицами, они тъмъ не менъе превосходно ознаномили насъ съ самими собою и вложили свою душу въ свои созданія. И только поэтому они намъ и дороги. Но если именно личность автора такъ важна для насъ въ каждомъ художественномъ произведеніи, то, съ другой стороны, спрашивается: какимъ же образомъ мы можемъ оставаться совершенно равнодушными къ самымъ завѣтнымъ наклонностямъ этого автора, къ его вкусамъ, къ его выбору средствъ, ко всей его манерѣ бесѣдовать съ нами? Какимъ образомъ можемъ мы глубоко сблизиться съ человѣкомъ, всъ привычки котораго почти на каждомъ шагу раздражають насъ или претять намъ? Одно изъ двухъ: либо мы сердечно привязываемся къ человѣку, потому что находимъ всѣ его пріемы соотвѣтствующими его сущности, либо мы только терпимъ его за нѣкоторыя его заслуги, но, находя въ то же время полную дисгармонію между его манерами и его натурой, ---мы никогда не будемъ въ состоянии его полюбить. И если къ Тургеневу существуетъ у современныхъ читателей какое-нибудь временное охлажденіе, то оно происходить исключительно отъ 18*

недоразумѣнія, порожденнаго тою исключительно русскою критическою ересью, будто отъ писателя надо воспринимать только то, что онъ успѣлъ "сдѣлать для нашего общественнаго самосознанія" и совершенно при этомъ игнорировать тотъ языкъ, на которомъ онъ съ нами говорилъ, тѣ вкусы, въ которыхъ онъ выросъ и въ которыхъ сложилась его художественная индивидуальность.

IV.

Исключительно утилитарное толкованіе нашихъ писателей критикою шестидесятыхъ годовъ проникло надолго и въ школьное преподаваніе. Въ разъясненіяхъ русскимъ дѣтямъ нашихъ выдающихся литературныхъ дѣятелей можно встрѣтить примѣры самаго изумительнаго искаженія подлинниковъ. Возьмемъ хотя бы того же самаго Тургенева въ истолкованіи такого почтеннаго и безупречно-благороднаго проподавателя, какъ покойный Стоюнинъ.

Выше мы уже говорили, на сколько Тургеневъ страдалъ отъ своего безевърія въ чудесное. "Его душа чудеснаго искала", но... не находила. Понятно поэтому, на сколько Тургеневъ жаждалъ таинственнаго, тянулся къ нему, пытался увъровать въ него и дорожилъ всякими крупицами своихъ наблюденій, всякими внушеніями овоей фантазіи, чтобы хотя посредствомъ чужихъ ощущеній переживать надежду на существование невозможнаго на землѣ... Такими побужденіями, очевидно, внушены автору: его полу-мистическій разсказъ отъ амени одного простодушнаго помъщика "Собака"; его маленькая поэма въ прозъ "Живыя мощи", въ которой умирающая мечтательница Лукерья слышитъ звонъ "съ неба"; его грустная повъсть "Фаусть" съ загадочною смертью Въры послъ появденія передъ нею призрака ея матери; его таинственная новелла "Пъснь торжествующей любви"; его послъднее произведение "Клара Миличъ", гдъ болъзненныя галюцинаціи свиданій съ умершею граничать съ самою осязательною правдою и-его первый разсказъ въ этомъ родъ "Бѣжинъ лугъ", въ которомъ, среди поэтической лътней нен, нуткія и суевърныя дъти невольно представляются читателю поставленными въ самое непосредственное общеніе съ самыми необъяснимыми явленіями природы. И вся поэтическая прелесть этого очерка, его наивысшее вліяніе, по замыслу автора, на сердце и воображение читателя, -заключены, конечно, въ тъхъ немногихъ послъднихъ строкахъ, въ которыхъ Тургеневъ сообщаетъ о дъйствительно наступившей въ слѣдующемъ году смерти мальчика Павла, который почуялъ и сообщилъ своимъ товарищамъ внезапное предзнаменованіе этой смерти, открывшееся ему еще тогда, въ ту безмолвную и загадочную ночь...

И что же мы читаемъ въ "разборъ" "Бъжина луга", составленномъ извъстнымъ педагогомъ?

"Природа сильно дъйствуетъ на воображение неразвитаго человъка, возбуждая въ немъ суевърные страхи. При совершенномъ отсутствіи науки, она постоянно поддерживаетъ суевъріе при стремленіи челов ка разъяснить себ разныя ея явленія. Слъдовательна прочное счастіе въ такой средъ невозможно. Вотъ идея произведенія. Она должна быть выведена изъ анализа частей и провърена всъми подробностями. Провърка убъждаетъ, что авторъ дыбительно имклъ въ виду опредкленную идею... Намъ даже не кажется лишнею и не идущею къ дълу замътка Тургенева, что Павлуша черезъ годъ убился, упавъ на скаку съ лошади!.. ("О преподавании русской литературы" В. Стоюнина, издание третье. 1874, стр. 135 и 136).

Что же подълаешь съ подобными толкованіями поэтическихъ произведеній? А между тъмъ сборникъ этихъ толкованій такъ понравился, что книга еще въ 1874 г. вышла третьимъ изданіемъ.

V.

Итакъ, для правильнаго усвоенія всего того, что создалъ и что хотълъ выразить Тургеневъ, нельзя отдълять его манеры и его слога отъ содержанія его произведеній. Иначе, вы хотя, быть можетъ, и сумъете истолковать эти произведенія весьма полезно для школы, для потребностей общежитія, но зато навърное истолкуете ихъ совершенно фальшиво, несоотвътственно съ намѣреніями художника и уже тъ́мъ болѣе никогда не сблизитесь съ нимъ самимъ и не узнаете его духовной личности. Вы сдѣлаете именно, то, противъ чего такъ энергично возставалъ Писъревъ: вы совершенно "вытравите личность автора" изъ его произведеній. Всегда слѣдуетъ помнить глубокое изреченіе: "слогъ—это самъ человѣкъ", а потому нельзя и разсматривать или изучать писателя помимо его слога, помимо его наклонностей къ тѣмъ или другимъ способамъ выраженія мысли.

Но если мы сольемъ то и другое воедино, то что же, спрашивается, тогда получится? Чѣмъ окажется тогда Тургеневъ?—Прежде всего онъ окажется предъ ти той цѣльной и кровной поэтической натурой, для которой и музыкальность рѣчи, и мягкость общаго колорита. и стремленіе къ совершенству подробностей—необходимы, какъ воздухъ для дыханія. И тогда вы не встрѣтите ни одного невѣрнаго звука и ни одного поддѣльнаго пріема во всѣхъ его книгахъ. И въ глубинѣ всѣхъ созданныхъ имъ картинъ вы почувствуете непрестанное присутствіе всегда одного и того же, всегда привлекательнаго, задумчиваго и нѣжнаго ихъ творца.

VI.

Каждый знаеть, на сколько личность автора, сквозящая для насъ въ его произведеніяхъ,

существуетъ для насъ совершенно независимо отъ того, какимъ бы человъкомъ онъ ни оказывался въ своей частной жизни. Эту старую истину необходимо здъсь повторить для всъхъ, кто раздуваеть посмертные толки о такъ называемой "двуличности" Тургенева или смущается этими толками. Вся эта двуличность сводится къ тому, что Тургеневъ, будто бы, держалъ себя съ утонченною любезностью и чуть ли не заискивалъ въ томъ самомъ "бомондъ", пошлость котораго онъ затъмъ такъ ослъпительно и ядовито выставилъ въ безсмертномъ романъ "Дымъ"; да еще къ тому, что въ перепискъ Тургенева и въ разныхъ "историческихъ воспоминаніяхъ" о немъ открылись его красныя словца насчетъ такихъ его пріятелей и знакомыхъ, которые, судя по личному отношенію къ нимъ Тургенева, никогда не могли ожидать отъ него ничего подобнаго. Скажите, подумаешь, какія прегрѣшенія! Да развѣ, посѣщая свѣтскіе салоны и надѣвая на себя ту личину, безъ которой никто туда не входитъ, Тургеневъ въ чемъ-нибудь закабалялъ себя передъ этими аристократами? Развъ онъ у нихъ вывъдалъ и впослъдствіи пропечаталъ какую нибудь ихъ тайну? Онъ, правда, заклеймилъ въ вымышленныхъ образахъ всю ихъ породу, но никого изъ своихъ знакомыхъ онъ предательски не вывелъ въ романѣ. А къ независимости и безпощадности Тургенева, какъ художника, всв эти персоны большого сввта, если они только читали русскія книги, должны

были быть готовы заранъе. Они должны были знать еще изъ "Записокъ охотника", изъ разсказа "Бурмистръ", что Тургеневъбываетъ иногда вѣжливъ, допускаетъ по отношенію къ себѣ кличку "moncher" и даже завтракаетъ съ такими свътскими людьми, которыхъ онъ въ то же время глубоко ненавидить своимъ сердцемъ художника. Что же касается до пріятелей и знакомыхъ, то и здѣсь Тургеневъ погрѣшилъ развѣ только языкомъ. Самыя искреннія отношенія весьма часто нисколько не вліяють на невольную злость ума. И все, что Тургеневъ говорилъ объ этихъ людяхъ, къ которымъ онъ, въроятно, относился съ неподдъльнымъ добродушіемъ --все это такъ мътко и красиво, что, право, было бы жалко лишиться всёхъ этихъ отзывовъ, ради одной только мелочной чувствительности тѣхъ господъ, которые приняли эти "красныя словца" за кровную обиду. Словомъ, въ своихъ поступкахъ Тургеневъ никогда не былъ предателемъ, если же онъ подчасъ давалъ волю своему блестящему юмору въ своихъ заочныхъ сужденіяхъ о современникахъ, то мы, читатели, никогда его за это строго не осудимъ и никогда за одно это не перестанемъ любить его попрежнему. Да и вообще каждый писатель въ томъ сознаніи, что въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ онъ отпечатлъваетъ себя для въчности.-всегда старается дать почувствовать въ нихъ, повидимому, свою прикрашенную, а въ дъйствительности-только свою самую затаенную, самую

настоящую сущность. И тоть же, напримёръ, Некрасовъ, кажется намъ гораздо болѣе вѣрнымъ самому себѣ въ то время, когда онъ пишетъ поэмы "Рыцарь на часъ" или "Морозъ", нежели, когда онъ хладнокровно и порою съ жестокою жадностью понтируеть за карточнымъ столомъ англійскаго клуба. Да и можно ли равнять непривлекательныя біографическія подробности о Некрасовѣ, Лермонтовѣ или Байронѣ съ тѣми мелкими придирками, которыми пытаются омрачить память Тургенева! А развѣ мы хотя сколько-нибудь менѣе любимъ Некрасова, Лермонтова и Байрона, послѣ того, какъ знакомимся съ недостатками и заблужденіями ихъ жизни?

Итакъ, пускай Тургенева прозвали въ большомъ свътѣ "un faux bonhomme", пускай мизерныя "разоблаченія" г-жи Головачевой намѣревались приписать ему ретроградные разговоры, эгоистическую черствость въ отношеніяхъ и смъшное самообожаніе; пусть распубликованная переписка его заставила многихъ изъ его корреспондентовъ съ огорченіемъ переглянуться между собою послѣ прочтенія его заочныхъ отзывовъ о нихъ. Все это совершенно ничтожно; все это – не болѣе, какъ шипѣніе никому неинтересныхъ самолюбій.

Вспомните, какъ Пушкинъ остерегалъ Вяземскаго отъ его любопытства насчетъ интимной жизни Байрона: "Оставь любопытство толпъ и будь заодно съ геніемъ. Толпа въ подлости 1

своей радуется униженію высокаго, слабостямъ могучаго. При открытіи всякой мерзости она въ восхищеніи. Онъ малъ, какъ мы, онъ мерзокъ, какъ мы! Врете, подлецы: онъ и малъ, и мерзокъ—не такъ, какъ вы—иначе!" ("Переписка", № 145).

Итакъ, повторяемъ, Тургеневъ и близокъ, и дорогъ намъ, и кажется намъ всегда однимъ и тъмъ же, чрезвычайно върнымъ себъ и до мельчайшихъ подробностей цъльнымъ лицомъ, во всъхъ своихъ произведеніяхъ. Мы его на столько знаемъ изъ этихъ произведеній, что намъ не нужно ръшительно никакихъ біографій для ознакомленія съ его душевнымъ обликомъ.

Когда вы читаете Тургенева, то вамъ всегда бываеть такъ любо входить въ особенный міръ его бесъды! Вы никогда и ни въ чемъ съ нимъ не расходитесь; всѣхъ его дѣйствующихъ лицъ вы судите, любите и воспринимаете всегда въ полнъйшемъ соотвътствіи съ тъмъ, какими онъ самъ ихъ рисуетъ. Его тоска прокрадывается къ вамъ въ сердце; его радость даетъ вамъ трепеть; его остроуміе васъ плѣняеть; вамъ бывають нужны именно тв разговоры, которые онъприводитъ, именно тѣ свѣдѣнія о жизни дѣйствующихъ лицъ, какія онъ даетъ, --не болѣе и не менње. Вы чувствуете, что каждый недостатокъ или излишекъ въ этомъ матеріалѣ нарушили бы ваше чистое наслаждение. И это полная гармонія, полная удовлетворенность впечатлёнія и то чувство высшей красоты, которою

всегда бываеть откуда-то озарена каждая тургеневская картина жизни, — все это неразрывными узами связываеть васъ съ самимъ авторомъ—и отдаетъ въ его власть, привлекаетъ къ его имени—всъ ваши симпатіи.

Какую же, собственно, индивидуальность представляетъ изъ себя этотъ привлекательный художникъ? — Для знакомства съ Тургеневымъ намъ не нужна его біографія; но для объясненія тѣхъ условій, при которыхъ онъ сложился, обратимся къ нѣкоторымъ историческимъ справкамъ,

VII.

Тургеневъ родился при полномъ владычествъ еще незыблемаго кръпостного права. Спъсивая и деспотическая мать воспитывала его на аристократическій ладъ. И хотя впослѣдствіи, сдѣлавшись развитымъ юношей, Тургеневъ, еще съ дътства возненавидъвшій рабство, далъ себъ "ганнибаловскую клятву" бороться съ нимъ встыи силами, но по своимъ наклонностямъ и внѣшнему обиходу онъ до конца жизни остался бариномъ. Его, отъ времени до времени, неудержимо тянуло въ тишину старинной усадьбы. Онъ былъ не въ силахъ отрѣшиться отъ любовнаго отношенія ко всей той обстановкѣ, ко всёмъ тёмъ уголкамъ земли, въ которыхъ ютились и проживали свой въкъ люди его круга. Въ высшей степени прогрессивный, Тургеневъ

однако же часто являлся невольнымъ поэтомъ старины. Его воображеніе охотно останавливалось на типахъ элодъевъ, деспотовъ и чудаковъ прошлаго столътія ("Три портрета", предки Лаврецкаго въ "Дворянскомъ гнѣздъ", "Несчастная", "Изъ воспоминаній своихъ и чужихъ", Өимушка и Өомушка въ "Нови" и т. д.) и всѣ эти образы выходили у него не лишенными поэзіи. А помъщичью усадьбу онъ любилъ настолько неотразимо, что "Записки охотника", да и почти всѣ его романы и повъсти составляютъ у насъ единственный художественный памятникъ, сохранившій всю декоративную сторону прежней дворянской жизни.

Гончаровскій "Сонъ Обломова" и гоголевскіе "Старосвътскіе помъщики" навсегда воплотили въ себѣ всю поэзію кроткаго барскаго существованія, соединеннаго съ умилительнымъ блаженствомъ сытой лёни. Въ этихъ двухъ отрывкахъ, можно сказать, погребены самыя нъжныя чувства, какія только могъ вызвать крѣпостной быть въ нашихъ лучшихъ людяхъ, невольно связанныхъ съ тою эпохою неразрывными узами счастливаго дътства. Но эти два произведеніяболѣе мелодіи, нежели картины. Единственнымъ же иллюстраторомъ нашихъ феодальныхъ владиній-нашихъ замковъ,-встхъ этихъ разнообразныхъ дворянскихъ помъстій, "на скатъ холмовъ", съ рощами, прудами, съ камердинерами, шутами, съ разнокалиберной дворней, съ

дворцами и домиками всякой архитектуры — является все-таки одинъ Тургеневъ. .

Но всѣ эти особенности составляютъ только внѣшнія примѣты Тургенева. Гораздо важнѣе для насъ внутренніе элементы его личности. А эти внутренніе элементы выработались подъ вліяніемъ двухъ взаимно-враждующихъ силъ: свободной поэзіи и точнаго знанія. Съ одной стороны, Тургеневъ сложился подъ живымъ обаяніемъ Пушкина, Байрона, Гете и Жоржъ-Занда, т. е. подъ вліяніемъ самаго благороднаго и наиболѣе близкаго къ жизни романтизма, а съ другой-онъ былъ увлеченъ, въ свои наиболье чувствительные годы, кружкомъ Бакунина, Грановскаго, Герцена и Станкевича и весь отдался наукъ. Заграничныя поъздки съ научною цѣлью, прилежное изученіе нѣмецкой философіи и обще-европейской литературы сдълали изъ него образованнъйшаго изъ писателей. какого только можетъ назвать наша словесность. Получился результать въ одно и то же время въ высшей степени мучительный и крайне благодътельный для Тургенева. Природная сладостная мечтательность и пріобрѣтенное горькое зпаніе сплелись въ Тургеневъ, "какъ пара змъй, обнялись кръпче двухъ друзей". Онъ остался на всю жизнь какъ бы раздвоеннымъ и однако же слитнымъ. Онъ воплотилъ въ себъ мечту и дъйствительность, романтизмъ и реализмъ, красоту и правду, поэзію и прозу. Вфрнве сказать, — онъ былъ самою чувствительною

Digitized by Google

писательскою натурою, пережившею на себѣ трудный переходъ отъ привлекательнаго къ насущному.

Отсюда же возникла и всегдашняя "манера" Тургенева излагать свой предметь, манера, въ наши дни столь подозръваемая въ своей искренности; поэть, --- надо въ этомъ сознаться, --- всегда въ немъ преобладалъ. И это было преобладаніе на столько законное, что тогдашніе читатели часто не умѣли во время спохватиться и уличить Тургенева. Критика, напримъръ, никогда не ловила Тургенева на томъ, что, въ "Наканунь", революціонеръ и агитаторъ Инсаровъ чуть не распъваетъ романсы, говоря Еленъ: "О, Елена! О, моя героиня", а пресловутый ультра-позитивный Базаровъ умираетъ, обращаясь къ Одинцовой съ такой фразой, которая могла сложиться только въ музыкальной и нъжной душъ поэта: "Дуньте на умирающую лампаду и пусть она погаснетъ".

"Задумчивый поэть земного существованія", какъ мы его назвали. — Тургеневъ дъйствительно имълъ исключительную способность подслушивать печальную гармонію жизни. Онъ умълъ передавать и всю безотрадную горечь, и всю невыразимую красоту нашего существованія. Онъ сознавалъ, что границами видимой природы и дъйствительности замыкается вся жизнь человъка. Поэтому онъ такъ болъзненно любилъ и эту родную природу, и эту драгоцънную жизнь. Онъ упивался и трепеталъ ея мгновенными радостями, слъдилъ и провожалъ ея непрестанный, неудержимый полеть и глубоко скорбълъ о нашемъ ничтожествѣ. Ему бы, казалось, такъ безумно хотвлось какими-то сверхъестественными силами задержать всегда неизбъжную гибель нашихъ минутныхъ очарованій. Онъ это и выразилъ, почти подъ конецъ своей жизни, въ своемъ стихотворени въ прозъ: "Стой". --"Стой", говорилъ онъ красавицъ, "какою я тебя вижу, --- останься навсегда такою въ моей памяти!.. Стой! И дай мнъ быть участникомъ твоего безсмертія, урони въ мою душу отблескъ твоей вѣчности!". Онъ страстно заглядывался на все видимое, пока только могъ смотръть, жадно вбирая въ себя всѣ звуки, всѣ краски, впредь до страшной минуты, "когда тебя положать въ гробъ и когда ты поневолъ размышлять перестанешь"... И онъ заносилъ на свои страницы, какъ въ дневникъ влюбленнаго, всѣ тончайшія впечатльнія, полученныя имъ отъ людей, отъ неба и земли. Онъ любилъ все живое, человѣческое-искусство, науку, политику, модныя теченія мысли, пеструю смѣну костюмовъ и манеръ-и все это онъ торопился запечатлѣвать въ теплыхъ образахъ и гармоническихъ картинахъ.

VIII.

Можно было бы подумать, что человѣкъ, ничего не ожидающій "за гранью бытія", скорѣе

всего долженъ былъ бы отдаться чувственности, прожиганію жизни, забвенію законовъ правды. Но ничего подобнаго не случилось съ Тургеневымъ. Онъ возлюбилъ природу и жизнь самыми чистыми сторонами своего существа. Все, проигранное имъ за предѣлами видимаго міра, возникло для него "здъсь", воплотилось въ тъхъ особенныхъ проявленіяхъ высшей красоты, которыя онъ одинъ умѣлъ открывать и чувствовать въ жизни. Эта высшая красота жизни и была его культомъ. Онъ разумѣлъ подъ нею вовсе не то, что даетъ наслажденіе глазу или вообще внѣшнимъ чувствамъ. Загадочный языкъ природы. нъжное расцвътание дъвственнаго сердца, смиреніе и добродушіе обездоленнаго русскаго мужика ("Записки охотника"), грустное безплодіе славянской даровитости (Рудинъ, Веретьевъ, Шубинъ), благородные порывы къ общественной дѣятельности (Елена), смѣлый задоръ молодой мысли (Базаровъ), трогательная дружба университетскихъ товарищей (Михалевичъ, Авениръ Сорокоумовъ), молчаливая и преданная любовь некрасивыхъ дъвушекъ (Машурина, Варвара Злотницкая) — все это плѣняло Тургенева и возбуждало въ немъ такую повышенную и, однако же, гармоническую чувствительность, что все имъ возсозданное получало, подъ его кистью, одновременное обаяние правды и поэзии.

И все-таки необходимо оговориться, что та правда, о которой мы сейчасъ упомянули, есть, такъ сказать, правда условная, правда красоты 19 и поэзіи. Тургеневъ поклонялся только ей, т. е. въ сущности, поклонялся только красотъ. Ему, по его натуръ, былъ необходимъ "фиговый листъ". И нътъ никакого сомнънія, что ръшительно всъ его изваянія имъютъ на себъ эту эстетическую заплату.

Чтобы устранить всякія недоразумѣнія насчеть тѣхъ или другихъ художественныхъ пріемовъ Тургенева, лучше всего сравнить его съ Львомъ Толстымъ. Вотъ два художника, находящіеся на двухъ противоположныхъ дорогахъ. И, однако же, они—вовсе не антагонисты. По крайней мѣрѣ, Тургеневъ открыто преклонялся передъ Толстымъ, да и Толстой высоко цѣнилъ Тургенева.

Но въ чемъ же разница? Разница въ томъ, что хотя оба они домогались истины, но Тургеневъ служилъ только красотт (т. е. возвышенной правдѣ, по нашему разумѣнію), а Толстой служилъ только правдъ въ самомъ обыденденномъ смыслѣ слова, т. е. правдѣ совершенно голой и сырой.

И посмотрите, какъ оба они совершенно различно относятся къ своимъ сюжетамъ! Тургеневъ боится разочарованій, а Толстой прямо и безстрашно беретъ ихъ приступомъ. Тургеневъ, напримъръ, въ любви изображаетъ только дѣвушекъ. Онъ знаетъ, что бракъ есть разочарованіе. Если онъ предназначаетъ дъвушку на бракъ съ извѣстнымъ дѣйствующимъ лицомъ, то уже въ обрисовкѣ ея онъ кладетъ болѣе

умъренныя краски и никогда не доходитъ до энтузіазма. Таковы, напримъръ, Катя въ "Отцахъ и дътяхъ" или Татьяна въ "Дымъ". А Толстой совсёмъ не вёдаетъ этого тургеневскаго страха. Онъ всенепремѣно доведеть и супруговъ и любовниковъ до самой настоящей прозы, до самой безпощадной житейской горечи, разрушающей всякую иллюзію. Свою поэтическую Наташу онъ показываеть намъ растолстѣвшею и озабоченною пвътомъ пеленокъ своихъ лѣтей. Вронскаго онъ доводитъ до ненависти къ мизинцу Анны Карениной. Въ "Семейномъ счастьи" онъ, подъ конецъ, изображаетъ намъ нѣкогда влюбленныхъ супруговъ совершенно уже излеченными отъ первоначальнаго бреда.

Здѣсь-то и сказывается глубокая внутренняя разница между этими двумя артистическими натурами. Тургеневъ усиленно жмурился во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ, наоборотъ, Толстой усиленно напрягалъ зрѣніе. И оба—не могли поступать иначе, и оба дѣйствовали совершенно искренно. Поэтому и языкъ у Тургенева простой и вмѣстѣ красивый а у Толстого—только простой. И обвинять Тургенева за то, что онъ въ своей живописи не придерживался способовъ Толстого такъ же безсмысленно, какъ винить, напримѣръ, человѣка за то, что онъ страдаетъ морскою болѣзнью, и ставить ему въ примѣръ другого пассажира, который на томъ же пароходѣ чувствуетъ себя совершенно бодрымъ.

Различное міросозерцаніе обоихъ писателей 19*

очень наглядно отразилось и на созданныхъ ими лицахъ. Толстой, добиваясь одной голой правды. пристально приглядывается къ людямъ и по мъръ того, какъ онъ это дълаетъ, краски, оттьняющія его дъйствующихъ лицъ между собою, мало-по-малу стираются и всё они сливаются въ одну общую массу: всѣ-люди, всѣчеловѣки. Такъ называемыхъ "типовъ" у Толстого совсёмъ нѣтъ. Вы знаете его стариковъ, юношей, двтей, женщинъ, его господъ и мужиковъ, его статскихъ и военныхъ, но типичнаго лица, т. е. такой фигуры, которая бы обобщала собою цѣлую толпу однородныхъ личностейвы у него не найдете. И не найдете именно потому, что въ своемъ всеобнажающемъ анализѣ Толстой доходить чуть не до людского скелета, на которомъ индивидуальныя черты совсѣмъ исчезаютъ.

Напротивъ, Тургеневъ, взирая на жизнь очами влюбленнаго, Тургеневъ на такую близость къ жизни не подступаетъ. Она развертывается передъ нимъ широкой и полной картиной и сверкаетъ неистощимымъ обиліемъ всевозможныхъ оттѣнковъ. Для Тургенева каждая отдѣльная человѣческая фигура имѣетъ свою особую печать. Онъ различаетъ и чувствуетъ этотъ особый отпечатокъ сразу, при первомъ ваглядѣ. Онъ чутко схватываетъ эту едва свѣтящуюся точку, составляющую сущность отдѣльнаго характера, и, благодаря этому, фиксируетъ предъ вами такую индивидуальность, которую вы никогда своимъ собственнымъ зрѣніемъ не отличите. Поэтому, за исключениемъ Лаврецкаго. Литвинова. Санина и вообще лицъ, носящихъ на себъ автобіографическія черты, вы никогда затъмъ не найдете у Тургенева не только повторяющихся, но даже сколько-нибудь схожихъ фигуръ между его самыми мелкими двиствующими лицами. Не говоря о такихъ образахъ, какъ Рудинъ, Базаровъ, Лиза, Елена, Ася, — можно сказать, что у Тургенева имъется столько же отдѣльныхъ типовъ, сколько отдѣльныхъ людей выведено на его страницахъ. Каждый крестьянинъ, кучеръ, лакей, приказчикъ, помъщикъ, каждый гость, входящій въ комнатувсе это богатъйшій и разнообразнъйшій міръ типическихъ индивидуальностей.

Изъ этого слѣдуетъ, что если у Толстого художественное зрѣніе глубже и острѣе, нежели у Тургенева, зато у Тургенева оно шире и тоньше. Толстому болѣе удаются подробности, а Тургеневу—общія очертанія. И, наконецъ, Толстой никогда не скажетъ вамъ того, чего бы вы сами никогда не знали въ жизни. Напротивъ, васъ даже удивляетъ именно постоянное совпаденіе вашего собственнаго опыта съ опытомъ этого писателя. Тогда какъ у Тургенева вы постоянно чувствуете, что хотя онъ и рисуетъ жизнь чрезвычайно вѣрно и просто, но что вмѣстѣ съ тѣмъ онъ открываетъ для васъ совершенно новое, никогда ранѣе вами неиспытанное, чрезвычайно мягкое и, такъ сказать, красивое, гармоническое воззрѣніе на жизнь. И вы при этомъ, по словамъ Писарева, испытываете "непонятное наслажденіе".

Любимыми темами для Тургенева были: природа и женщина (върнъе было бы сказать: "природа и дъвушка", какъ уже объяснено выше). Величайшимъ ужасомъ для него была—смерть. Толстовскія темы: Богъ, смерть и любовь—должны быть измънены для Тургенева такъ: Природа, смерть и любовь. У Толстого, какъ мы видъли, преобладающая задача: исканіе правды; у Тургенева—исканіе красоты. Для Толстого любовь къ женщинъ—одна изъ сложныхъ задачъ жизни; для Тургенева высшее счастье—праздникъ жизни, страшное незаслуженное блаженство—величайшая, захватывающая духъ радость сердца. Смерть для Толстого прежде всего глубокая тайна, для Тургенева—ненавистный врагъ жизни.

IX.

Природа царить какъ самое великое дъйствующее лицо во всъхъ произведеніяхъ Тургенева. Мы не знаемъ другого писателя, который оы сколько-нибудь подходилъ къ Тургеневу въ изображеніи природы. Онъ ее постигалъ и боготворилъ одновременно, какъ натуралистъ, какъ философъ, какъ живописецъ и какъ поэтъ. И, однако, на самыхъ восторженныхъ страницахъ онъ никогда не переступалъ за предълы реализма. Подъ конецъ жизни онъ обратилъ къ "Природъ" безнадежные вопли своего измученнаго любовью сердца. "...Но добро... разумъ... справедливость!" прошепталъ онъ передъ величавой женщиной въ зеленой одеждъ. — "Это человъческія слова", раздался ея желъзный голосъ. — "Я не въдаю ни добра, ни зла... Я тебъ дала жизнь, я ее отниму и дамъ другимъ червямъ или людямъ... мнъ все равно... А ты пока защищайся – и не мъшай мнъ!" И земля кругомъ глухо застонала и дрогнула"...

И несмотря на это горестное сознание, запавшее очень рано въ душу Тургенева, онъ въ теченіе всей своей жизни изображаль и воспъвалъ природу наперекоръ своему разуму съ неугасающимъ увлеченіемъ. Во всѣхъ его описаніяхъ правда и чувство сочетались удивительно. Поэзія почти не знаетъ такого счастливаго равновъсія: болъе или менъе всегда правда и чувство развиваются одна на счетъ другого. У Толстого, напримъръ, върность описанія выдержана неподражаемо, но прелесть картины почти не даетъ себя чувствовать. Въ томъ же родъ, правдиво и выпукло, дълаетъ свои описанія Зола. Флобэръ ближе къ Тургеневу по красивой и яркой музыкальности своей фразы, по живости рисунка, сочетаемой съ неуловимымъ изяществомъ настроенія. Но Флобэръ слишкомъ гордъ и мужествененъ для экспансивности; онъ старается быть сильнымъ, музыкальнымъ и краткимъ. Гоголевскія описанія, богатыя красками и образами, легко переходять въ книж-

ность. Лермонтовъ поневолъ слишкомъ одухотворяетъ природу и волшебно расцвъчиваетъ свои декораціи. Точно такъ же и Байронъ даетъ махровыя, сказочныя описанія. Гете и Пушкинъ держатся строгой, пластической манеры; ихъ чувство отличается свѣжестью, но не имѣетъ той удивительной тонкости для вбиранія всёхъ затаенныхъ красокъ міра, какою обладаетъ одинъ Тургеневъ. Нервы Тургенева, когда онъ воспринимаетъ природу, доходятъ почти до полнаго обнаженія. Онъ чувствуеть ее всю-съ ея красотой и душою. И можно сказать, что съ Тургеневымъ природа разбила свое лучшее зеркало, порвала незам внимыя струны своего избранн в шаго пъвца... Нужно ли говорить о такихъ описательныхъ шедеврахъ, какъ солнечный восходъ въ "Бѣжиномълугѣ", наброски русскаго пейзажа въ очеркъ "Лъсъ и степь" въковое молчание сосноваго бора въ "Пофздкъ въ Полъсье", лътній вихрь въ романъ "Вешнія воды", тихая ночь въ саду въ разсказъ "Три встръчи", весеннія картины Венеціи въ "Наканунъ" и т. п.? Но возьмите хотя бы простое описание осенняго дня въ разсказъ "Свиданіе" ("Записки охотника"). Здѣсь вы можете видѣть, чѣмъ была природа для Тургенева, --- какъ она ему была всесторонне знакома, неразрывно близка, и какъ онъ ее всю перечувствовалъ. Онъ умѣлъ "по одному шуму листьевъ" узнавать время года. Говоръ этихъ листьевъ поражалъ его слухъ различной музыкой въ разные періоды ихъ кратковременной жизни. И какія онъ даетъ върныя, живыя опредѣленія этому таинственному языку, сразу понятныя и для нашихъ не чуткихъ ушей! "Смѣющійся трепетъ весны", "мягкое шушудолгій говоръ льта", "дремотная канье и болтовня ранней и холодное лепетанье поздней осени"... Онъ зналь голосъ каждой птицы и умѣлъ характеризовать его звукъ. Такъ, и въ этомъ отрывкѣ онъ отмѣчаетъ "насмѣшливый голосокъ синицы". Каждое дерево было для него особымъ существомъ (здъсь, напримъръ, онъ говоритъ объ осинъ) и каждое занимало въ его сердив особую привязанность. Оно отличалось для него своей фигурой и листьями, какъ живыми чертами лица, и имѣло передъ его художественнымъ взоромъ свои "интересные" и "неинтересные" дни...

Х.

Тургеневскія женщины отличаются тёмъ, что ихъ очертанія нёсколько воздушны, какъ будто на каждую головку, на каждое женское чело поэзія возложила свой невидимый вёнокъ. И однако же, все это женщины—несомнённо живыя и даже "болёе похожія на правду", нежели тѣ, которыхъ мы встрёчаемъ въ дѣйствительности.

Я уже говорилъ, что Тургеневъ былъ поэтомъ дъвушекъ, а не женщинъ. Онъ былъ поэтомъ того, что вложено въ женщину природой, а не

Digitized by Google

того, что дѣлаетъ изъ нея жизнь. Въ его галлереѣ имѣется всего три дамы: Ирина, Полозова и Одинцова. Но Ирина обрисована въ гораздо болѣе привлекательномъ свѣтѣ въ Москвѣ, когда она былъ дъвушкой, нежели въ Баденъ-Бадень, когда она сдълалась свътской львицей. Портреть Полозовой написанъ сатирически; Одинцова также изображена съ оттънкомъ ироніи. Правда, въ повѣсти "Фаустъ" есть еще одна замужняя женщина-и женщина обаятельная-Въра Пріимкова, но Тургеневъ старается объяснить читателю, что, въ сущности, Въра - та же дъвушка: "когда она вышла мнъ навстръчу, я чуть не ахнулъ: двочка, да и полно!.. Ни одной морщинки на лбу, точно она всю эти годы пролежала гдъ-нибудь въ снъгу. А ей теперь двадцать восемь лѣтъ и трое дѣтей у ней было... Въра Николаевна и одъта была дъвочкой: вся въ бѣломъ, съ голубымъ поясомъ и тоненькой золотой цёпочкой на шеё".

Тургеневъ нигдъ ръшительно не отдается изображению брачнаго союза. Онъ его рисуетъ только въ проектъ (Катя и Аркадій, Татьяна и Литвиновъ) или уже въ престарълые годы (родители Базарова, Өимушка и Өомушка). Его единственная героиня, выходящая замужъ за любимаго человъка, Елена, — дълается вдовою чуть ли не въ медовый мъсяцъ. Всъ остальныя – Лиза въ "Дворянскомъ гнъздъ", Наталья въ "Рудинъ", Ася, Марья Павловна въ "Затишьи", Джемма въ "Вешнихъ водахъ", Клара

Digitized by Google

Миличъ,--всѣ исчезають со сцены дѣвушками. И всѣ рѣшительно мужчины малодушно отступають передъ этими чудными олицетвореніями прямодушія, силы, энтузіазма ко всему благородному,--передъ этими широкими и беззавѣтными сердцами, отдающимися любимому человѣку цѣликомъ и безъ возврата. Воть гдѣ обнаруживается та тургеневская "боязнь жизпи", о которой говорилъ г. Марковъ. Вѣрнѣе было бы сказать, что это была не боязнь жизни, а "боязнь счастья", вслѣдствіе боязни смерти, вслѣдствіе горькаго опасенія и сознанія, что все это счастье неизбѣжно потускнѣеть, разрушится и исчезнеть.

XI.

Въ серединъ своей дъятельности Тургеневъ написалъ двъ безсмертныхъ поэмы въ прозъ-"Довольно" и "Призраки". Онъ не понравились критикъ и показались ей ничтожными. Достоевскій съ ненавистью осмъялъ объ поэмы въ "Бъсахъ" и, перемъшавъ ихъ вмъстъ, сочинилъ на нихъ злъйшую пародію подъ заглавіемъ "Мегсі". Кстати сказать, оба эти писателя порядочнотаки ненавидъли другъ друга, вслъдствіе кровной, непримиримой противоположности своихъ темпераментовъ: Достоевскій былъ болъзненный мистикъ и чувственникъ, а Тургеневъ, наоборотъ, вполнъ здоровый позитивисть и эстетикъ.

Между тъмъ, "Довольно" и "Призраки",

помимо своей необычайной красоты, принадлежать къ задушевнъйшимъ созданіямъ Тургенева. У меня есть собственноручное письмо Тургенева къ одному литератору, гдѣ онъ по поводу "Довольно" говоритъ: "Я раскаиваюсь въ томъ, что напечаталъ этотъ отрывокъ (къ счастью, никто его не замътилъ въ публикѣ), и не потому, что я его считаю плохимъ, а потому, что въ немъ выражены такія личныя воспоминанія и впечатлѣнія, дѣлиться которыми съ публикой не было никакой нужды. Я вѣдь, какъ вамъ извѣстно, старался быть, по мѣрѣ возможности, объективнымъ въ томъ, что я дѣлалъ: а тутъ такая субъективщина, что бѣда!"

Отсюда видно, что въ поэмъ "Довольно" мы имъемъ драгоцъннъйшія признанія писательскаго сердца,-такія признанія, которыя Тургеневъ, сколько могъ, таилъ въ себъ, заслоняясь отъ взоровъ читателя своимъ "объективнымъ" творчествомъ, но которыя, наконецъ, преодолѣли усилія поэта и неудержимо вылились наружу. Гдё же, спрашивается, можно лучше и ближе узнать духовную личность писателя, столь высоко цёнимую Писаревымъ и столь часто искажаемую критиками, --- какъ не въ подобныхъ признаніяхъ? Объ поэмы появились въ очень знаменательное время: онѣ вышли, одна за другою, послѣ цѣлаго года молчанія, въ которое замкнулся Тургеневъ, съ горечью переживавшій клеветы, обиды и недоразумѣнія, вызванныя "Отцами и дътьми". Тургеневъ, надо со-

знаться, имѣлъ слабость прислушиваться къ общественнымъ толкамъ по поводу его вещей, хотя постоянно и твердилъ, какъ для себя, такъ и для другихъ, заповъдь Пушкина: "Поэтъ! Не дорожи любовію народной... Дорогою свободной иди, куда влечеть тебя свободный умъ". Но здъсь, послъ "Отцовъ и дътей", послъ колоссальнъйшаго недоразумънія между собою и публикой, художникъ, какъ бы внезапно ощутивъ небывалое мужество, предсталъ, наконецъ, передъ толпою безъ малъйшей маски, съ своими сокровеннъйшими воззръніями и чувстваму. "На-те, молъ, вамъ! Вотъ я каковъ! Любуйтесь или отворачивайтесь-мнѣ все равно". Но и публикъ, какъ убъдился Тургеневъ, было все равно: она едва замътила эти произведенія.

Содержаніе поэмъ—любовь и смерть, т. е. мимолетность нашего обманчиваго счастья и неизбѣжность нашего несомнѣннаго ничтожества.

Въ "Довольно" Тургеневъ, не обинуясь, высказываетъ, что въ его душевной жизни превыше всѣхъ радостей міра была женская любовь. Поэма написана отъ имени старѣющаго и одинокаго художника, который вспоминаетъ несравненный, любимый образъ и воскрешаетъ свѣтлыя картины улетѣвшихъ дней. Здѣсь воспѣвается не сладострастіе, а то состояніе очарованности и душевнаго расцвѣта, которое можетъ внести въ нашу жизнь только любимая женщина. Первый приливъ чувства, затѣмъ тончайшія радости часовъ и дней, проведенныхъ вмѣстѣ, и наконецъ—непередаваемая гармонія сроднившихся сердецъ — все это связано въ поэмѣ съ самыми живыми подробностями повседневной жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ все это проходитъ передъ читателемъ въ совершенно законченныхъ образахъ, исполненныхъ удивительной граціи. И каждый, у кого есть хоть какіе-нибудь нервы, непремѣнно почувствуетъ, что въ глубокой задушевности этихъ воспоминаній нѣтъ никакой возможности сомнѣваться.

Художникъ Тургенева (псевдонимъ самого автора) и въ началъ, и въ концъ поэмы приходить къ сознанію, что пережитое имъ счастье любви никогда болье не возвратится. Въ авторъ, говоря словами Некрасова, "разумъ вступилъ въ свои суровыя права" и, видя вокругъ себя весну, слушая пъсню соловья, -онъ безсильно восклицаетъ: "Все это было, было, повторялось, повторяется тысячу разъ-и какъ вспомнишь, что все это будеть продолжаться такъ цѣлую вѣчность-словно по указу, по закону-даже досадно станетъ! Да... досадно!" Онъ прощается съ любовью навсегда, какъ прощается скупецъ съ своимъ золотомъ передъ твмъ, чтобы навсегда зарыть его въ землю-и на этомъ мъстъ поэмы чисто-лирическое настроение Тургенева оканчивается и переходить въ философское. Поэтъ скрещиваетъ "на пустой груди ненужныя руки" и сохраняетъ послъднее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознанія собственнаго ничтожества. Передъ нимъ еще

разъ всплывають великія представленія, которымъ онъ старался служить въ своихъ произведеніяхъ: "народность, право, свобода, человъчество, искусство". Но онъ спрашиваеть себя: "Къ чему? Развъ люди не мошки?" И онъ оканчиваеть безутъшнымъ приговоромъ: "Нѣтъ... нѣтъ... довольно... довольно!" И, склонивъ голову передъ приближающеюся смертью, онъ повторяетъ послъднія слова Гамлета: "The reste is silence"—"все остальное--молчаніе".

XII.

Еще нагляднье и шире идея ничтожества представлена въ поэмъ "Призраки". Планъ поэмы былъ крайне рискованнымъ: Тургеневъ задумалъ изобразить въ ней будто бы нъкій призракъ, въ который ни онъ самъ, ни его читатели не могли върить, — да еще призракъ почему-то съ англійскимъ именемъ "Эллисъ", — беретъ въ свои объятія грузное тъло русскаго помъщика и, по ночамъ, носитъ его, съ быстротою и свободою еще неизобрътеннаго воздушнаго шара, надъ всею землею, на недосягаемой высотъ и, по его прихоти, показываетъ ему à vol d'oiseau всю нашу планету.

И, однако, въ ту пору, когда Тургеневъ создавалъ свою поэму, онъ уже достигъ такого мастерства въ художественной техникѣ, что поэма удалась ему вполнѣ и ее слѣдуетъ причислить къ совершеннъйшимъ созданіямъ искусства.

Тургеневъ постоянно даетъ вамъ понять, что самъ онъ ръшительно ни въ какія привидънія не въритъ. Описывая появленіе передъ нимъ безплотной женщины, онъ на каждомъ шагу предупреждаеть все то, что вы бы сами могли подумать на его мёсть, оставаясь вполнь здравомыслящимъ человъкомъ. Онъ трунитъ надъ призракомъ, трунитъ надъ самимъ собою и затвмъ неуловимо для васъ, лавируя между сномъ и д'вйствительностью, между больнымъ воображеніемъ и яснымъ сознаніемъ, онъ понемногу превращаеть свои ночныя свиданія съ Эллись и воздушные полеты съ ней надъ землею въ такія реальныя событія, что вы съ пятой, шестой главы уже вполнъ привыкаете ему върить и сами уноситесь вслёдъ за его фантазіей съ чувствомъ нервнаго страха, безмолвной грусти, любопытства и наслажденія. Передъ вами возникають неподрожаемыя картины. Иныя изъ нихъ написаны въ чисто фантастическомъ или символическомъ духъ, какъ, напримъръ, историческія видѣнія въ Римѣ и на Волгѣ, другія сдѣланы въ шутливомъ и сатирическомъ тонѣ (Парижъ и Петербургъ), иныя отличаются нѣжной граціей (Isola Bella), другія — удивительнымъ реализмомъ (русскій лѣсъ, уѣздный городъ), третьи-представляють сочетание трезвой живописи съ туманной аллегоріей (Шварцвальдъ). Фантазія поэта постоянно капризни-

чаетъ, какъ бы въ состояни полубреда. Но несмотря на эту постоянную перемѣну тона, васъ ни на минуту не покидаетъ какая-то непонятная, щемящая грусть отъ этого необычайнаго обозрѣнія земли, въ тищинѣ ночи, съ высоты неба. И главное, что странная спутница одинокаго поэта, его Эллисъ, едва имѣющая внѣшнія очертанія, понемногу дѣлается вамъ близкою и милою, и вы заинтересовываетесь ея печальною участью, вы начинаете желать ей воплошенія и счастья. Между твмъ это главное впечатлѣніе, на которое именно и разсчитывалъ художникъ, все болѣе и болѣе завладѣваетъ вами. "Земля, эта плоская поверхность, которая разстилается подъ вами, весь земной шаръ съ его населеніемъ мгновеннымъ, немощнымъ, подавленнымъ нуждою, горемъ, болѣзнями, прикованнымъ къ глыбъ презръннаго праха, эта хрупкая, шероховатая кора, этоть нарость на огненной песчинкъ нашей планеты, по которой проступила плъсень, величаемая нами органическимъ, растительнымъ царствомъ; эти люди-мухи въ тысячу разъ ничтожнѣе мухъ, ихъ слѣпленныя изъ грязи жилища, крохотные слъды ихъ мелкой, однообразной возни, ихъ забавной борьбы съ неизмъняемымъ и неизбѣжнымъ"---все это какъ-то вдругъ дѣлается вамъ противнымъ. Сердце ваше, вмѣстѣ съ сердцемъ поэта переворачивается и вамъ не хочется болье "глазъть на эти незначительныя картины, на эту пошлую выставку".--"Да, мнѣ 20

стало скучно, — говоритъ Тургеневъ: — хуже. чѣмъ скучно. Даже жалости не ощущалъ я къ свочимъ собратьямъ, всѣ чувства во мнѣ потонули въ одномъ, которое я назвать едва дерзаю: въ чувствѣ отвращенія, и сильнѣе всего, и болѣе всего было во мнѣ отвращеніе — къ самому себѣ"...

И какъ разъ въ эту самую минуту, передъ испуганною Эллисъ издалека показывается призракъ смерти. Тургеневъ описываеть его такъ: "это нючто было тъмъ страшнъе, что не имѣло опредѣленнаго образа. Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое, какъ брюхо ящерицы---не туча и не дымъ,---медленно, змѣинымъ движеніемъ, двигалось надъ землей. Мърное, широкое колебание сверху внизъ и снизу вверхъ, колебаніе, напоминающее зловѣщій размахъ крыльевъ хищной птицы, когда она ищеть свою добычу; по временамъ неизъяснимо противное приниканіе къ землѣ, — паукъ такъ приникаетъ къ пойманной мухъ... Кто ты, что ты, грозная масса? Подъ ея вліяніемъ — я это видѣлъ, я это чувствовалъ-все уничтожалось, все нѣмѣло... Гнилымъ, тлетворнымъ холодкомъ несло отъ нея-отъ этого холодка тошнило на сердцъ и въ глазахъ темнъло, и волосы вставали дыбомъ. Эта сила шла; та сила, которой нътъ сопротивленія, которой все подвластно, которая безъ зрѣнія, безъ образа, безъ смысла-все видить, все знаеть, и какъ хищная птица выбираетъ свои жертвы, какъ змъя, ихъ давитъ и лижетъ своимъ мерзлымъ жаломъ"...

И Эллисъ умерла. Умерла муза Тургенева. Въ предыдущія ночи ся голова и плечи уже вспыхивали тълеснымъ цвътомъ. Но теперь все кончено. Передъ смертью Эллисъ говоритъ: "О, я несчастная! Я могла бы воспользоваться, набраться жизни... а теперь... Ничтожество, ничтожество!"

Когда она лежала распростертая, уже принявшая образъ молодой женщины, въ бѣломъ платьѣ, съ разбросанными густыми волосами, съ обнаженнымъ плечомъ—и поэтъ наклонился къ ней и окликнулъ ее, то она медленно затрепетала, ея темные, пронзительные глаза впились въ поэта; въ него впились и губы, теплыя, влажныя, съ кровянымъ запахомъ... мягкія руки крѣпко обвились вокругъ его шеи; горячая полная грудь крѣпко прижалась къ его груди.— "Прощай! прощай навѣкъ!" явственно произнесъ замирающій голосъ, и все исчезло.

И, върный своему положительному взгляду на жизнь, Тургеневъ, въ заключеніе, объясняеть всъ грезы, возникшія передъ нами въ его глубокой поэмъ, — "анеміей", которую у него нашелъ докторъ.

И эта аллегорическая Эллиссъ — эта муза Тургенева или мечта поэта, приписываемая въ концѣ концовъ ничему иному, какъ анеміи нагляднѣе всего показываетъ намъ, какъ страстно порывался Тургеневъ къ сверхчувственному 20* и чудесному и какъ его безпомощная фантазія постоянно и неизбѣжнымъ образомъ возвращалась въ заколдованный кругъ дѣйствительности.

XIII.

Такъ вотъ какимъ онъ оказался, въ своихъ интимныхъ признаніяхъ, этотъ авторъ столь прогрессивныхъ вещей, какъ "Записки охотника", "Наканунъ", "Отцы и дъти". Замътьте. что "Призраки" и "Довольно" появились въ 1863 и 1864 гг., т. е. въ самый разгаръ нашей "эпохи обновленія". Понятно, что и публика, и критика отнеслись къ этимъ произведеніямъ съ тъмъ сдержаннымъ молчаніемъ, которое, по ихъ мнѣнію подобало свихнувшемуся ветерану либерализма. Объ онъ про себя ръшили, что Тургеневу слёдуеть "простить" эти сочиненія, какъ устарѣлому романисту, впавшему въ сумасбродство. И объ поступили въ этомъ случав вполнв сообразно съ лермонтовской характеристикой, по которой люди всегда остаются равнодушными къ мученіямъ поэта и всегда говорять ему одно и то же:

> "Какое дёло намъ, страдалъ ты или нётъ? На что намъ знать твои волненья?"

А между тъмъ Тургеневъ былъ всегда такимъ же точно человъкомъ, какимъ онъ, наконецъ, обрисовалъ себя, со всею искренностью, въ этихъ двухъ поэмахъ. На послъднихъ страницахъ "Дворянскаго гнѣзда" уже были имъ высказаны основные мотивы будущей поэмы "Довольно". "И душу его охватило то чувство"писалъ Тургеневъ о Лаврецкомъ въ эпилогъ романа - "которому нътъ равнаго и въ сладости, и въ горести,-чувство живой грусти объ исчезнувшей молодости, о счасть в, которымъ когда-то обладалъ... Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!" И Елена писала въ своемъ дневникъ: "О, Боже! зачъмъ смерть зачёмъ разлука, болёзнь и слезы? Или зачёмъ эта красота, это сладостное чувство надежды, зачъмъ успокоительное сознание прочнаго убъжища, неизмѣнной защиты, безсмертнаго покровительства? Что же значить это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели все это только въ насъ, а внѣ насъ вѣчный холодъ и безмолвіе?.. О, Боже! неужели нельзя върить чуду?" Даже Базаровъ въ минуту откровенности, о которой онъ самъ замъчаетъ, "въ другой разъ я тебъ этого не скажу" -- говоритъ Аркадію: "А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лёзть и который мнё даже спасибо не скажеть... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ рости будетъ;-ну, а дальше"?..

И если мы припомнимъ сразу всѣ произведенія Тургенева, то мы увидимъ, что своими двумя поэмами "Довольно" и "Призраки", онъ, находясь въ зенитѣ своей дѣятельности, освѣтилъ ее въ оба конца: назадъ и впередъ. Мы увидимъ, что въ сочиненіяхъ Тургенева передъ нами проходить общирная галлерея большихъ и малыхъ человъческихъ фигуръ; художникъ проводить насъ черезъ разныя общественныя эпохи; мы чуемъ на себѣ ихъ вѣяніе съ его отзывчивыхъ страницъ, всегда запечатлѣнныхъ послёдней минутой текущей жизни. Но въ глубинь и въ центръ каждой картины вы непремѣнно видите любящуюся чету. И когда вы обращаете взоръ назадъ, на всю галлерею сразу, то всв политические аксессуары этихъ произведеній начинають пестрёть въ вашихъ воспоминаніяхъ, какъ костюмы хоровъ изъ различныхъ оперъ, причемъ ваша мысль поневолѣ удерживаетъ на первомъ планъ только большіе, рельефные любовные дуэты: Рудинъ и Наталья, Лаврецкій и Лиза, Инсаровъ и Елена, Базаровъ и Одинцова, Литвиновъ и Ирина, Санинъ и Джемма, даже хотя бы-Неждановъ и Маріанна.

И повсюду счастье любви является самымъ могучимъ двигателемъ: оно очаровываетъ и куда-то елечетъ всѣхъ этихъ людей, загорается въ нихъ, поднимаетъ ихъ силы, заставляетъ ихъ мимолетно заглядывать въ несказанную радость жизни—и затѣмъ покидаетъ ихъ, неуловимое, какъ волшебное сновидѣніе.

Всюду-природа выступаетъ въ своей вѣчной красотъ, вокругъ этихъ очарованныхъ людей — съ своими лѣтними ночами, весенними сумерками, съ своими садами, рощами, облаками и звѣздами и съ какою-то нѣмою выразительностью присутствуетъ при этой несбыточной игрѣ въ счастье.

И затѣмъ-одиночество, старость или смерть всегда являются на смѣну всѣмъ этимъ обманчивымъ порывамъ. И несмотря на эту основную безутъшную поэзію, въ каждомъ произведенія Тургенева закипаніе жизненной энергія происходить съ неутомимою, совершенно свѣжею силою; развитіе темы идеть бойко и радостно, съ большими надеждами, съ широкими задачами, въ здоровой, веселой средѣ, при блескѣ остроумія, при самомъ модномъ освѣщеніи эпохи, при обстановочныхъ деталяхъ самаго послѣдняго фасона, всегда вносимыхъ авторомъ въ свою картину съ величайшею воспріимчивостью и любовью. И чёмъ живе эта жизнь, твмъ глубже становится ваша грусть. Сущность жизни-та безотрадная сущность жизни, до которой каждый такъ банально додумываетсявыражена въ этихъ произведеніяхъ въ чудесобразахъ, съ какимъ-то благороднымъ ныхъ недоумѣніемъ и съ глубоко-нѣжною скорбью. Поэтому громадная масса читателей невольно видить въ Тургеневъ "пъвца своей любви, пъвца своей печали". Тургеневъ имъетъ самую завидную долю, о какой только можеть мечтать поэтъ: онъ заронилъ въ сердца людей вѣчно

живую и вѣчно ненасыщаемую жажду высшей красоты...

Основная струя тургеневской поэзіи, пробъжавшая, какъ мы сейчасъ видѣли, по всѣмъ его произведеніямъ, — подъ конецъ вдругъ вся разсыпалась брилліантовыми брызгами въ его "Стихотвореніяхъ въ прозѣ". Художественная прелесть этихъ миніатюрныхъ созданій достигаетъ послѣдней степени совершенства. Здѣсь все тѣ же неизмѣнные мотивы: красота, любовь, молодость, золотые сны фантазіи, прелесть и величіе природы, и надъ всѣмъ этимъ: смерть, смерть и смерть.

XVI.

"Но какая же общественная мораль можетъ вытекать изъ такого міросозерцанія?" спросятъ насъ. Вотъ, по правдѣ сказать, вопросъ, который совсѣмъ не приходилъ мнѣ въ голову. Я уже старался объяснить ранѣе, что именно Тургеневъ разумѣлъ подъ высшею красотою, которой онъ поклонялся. А затѣмъ, читайте, господа, самого Тургенева и вы, безъ всякой учительской указки, увидите и почувствуете, въ чемъ состоитъ его мораль.

Но если вы не чувствуете, а только разсуждаете, и если вамъ необходимо "втирать очки", то вотъ прочтите, какъ, напримъръ, Страховъ разъясняетъ "Отцовъ и дътей". Страховъ, въ силу своихъ природныхъ свойствъ, измѣряющій всѣ литературныя произведенія непремѣнно съ точки зрѣнія національнаго вопроса, въ то же время одинъ изъ нашихъ наилучшихъ судей въ дѣлѣ поэзіи. И если ужъ вамъ нужна мораль, т. е. какая-нибудь наглядная пропись отъ произведенія поэтическаго, тогда, по крайней мѣрѣ, слушайтесь людей, которые вѣрно постигаютъ натуру самого писателя. Страховъ даетъ слѣдующее объясненіе:

"Воть то таинственное нравоучение, которое вложилъ Тургеневъ въ свое произведение. Базаровъ отворачивается отъ природы; не коритъ его за это Тургеневъ, а только рисуетъ природу во всей красоть. Базаровъ не дорожитъ дружбою; не порочить его за это авторъ, а только изображаетъ дружбу Аркадія къ самому Базарову и его счастливую любовь къ Кать. Базаровъ отрицаетъ тесныя связи между родителями и дътьми; не упрекаетъ его за это авторъ, а только развертываетъ передъ нами картину родительской любви. Базаровъ чуждается жизни; не выставляеть его за это авторъ злодвемъ, а только показываетъ намъ жизнь во всей ея красоть. Базаровъ отвергаетъ поэзію; Тургеневъ не дълаетъ его за это дуракомъ, а только изображаеть его самого со всею роскошью и проницательностью поэзіи. Однимъ словомъ, Тургеневъ стоитъ за въчныя начала человъческой жизни, за тѣ основные элементы, которые

могутъ безконечно измѣнять свои формы, но въ сущности всегда остаются неизмѣнными. Онъ стоитъ за то же, за что стоятъ всѣ поэты, за что необходимо стоитъ каждый истинный поэтъ" ("Критическія статьи о Тургеневѣ и Толстомъ", изд. 1887 г., стр. 45 и 46).

Такой же точно моральный комментарій можно сдёлать ко всёмъ рёшительно вещамъ Тургенева, и малымъ, и крупнымъ.

А вотъ что, напримъръ, пишетъ Тургеневъ уже прямо отъ себя: "Кончая, скажу тебѣ: одно убъждение вынесъ я изъ опыта послъднихъ годовъ: жизнь---не шутка и не забава, жизнь даже наслажденіе... Жизнь — тяжелый не трудъ. Отречение, отречение постоянное — вотъ ея тайный смыслъ, ея разгадка: не исполнение любимыхъ мыслей и мечтаній. какъ бы онѣ возвышенны ни были, —исполнение долга, воть о чемъ слёдуеть заботиться человёку; не наложивь на себя цёпей, желёзныхъ цёпей долга, не можетъ онъ дойти, не падая, до конца своего поприща; а въ молодости мы думаемъ: чѣмъ свободнѣе, твмъ лучше, твмъ дальше уйдешь. Молодости позволительно такъ думать; но стыдно тышиться обманомъ, когда суровое лицо истины глянуло, наконецъ, тебъ въ глаза. Прощай! Прежде я прибавилъ бы: будь счастливъ; теперь скажу тебъ: старайся жить, оно не такъ легко, какъ кажется" ("Фаустъ", послѣднія строки). Или вотъ еще другой поучительный отрывокъ: "Глядя на нее (на большую муху съ изумрудной головкой, трепетавшую своими крылышками), мнъ вдругъ показалось, что я понялъ жизнь природы, понялъ ея несомнънный и явный, хотя для многихъ еще таинственный смыслъ. Тихое медленное одушевленіе, неторопливость и И сдержанность ощущеній и силъ, равновѣсіе здоровья въ каждомъ отдъльномъ существъ --вотъ самая ея основа, ея неизмѣнный законъ, вотъ на чемъ она стоитъ и держится. Все, что выходить изъ-подъ этого уровня, кверху ли, книзу ли, все равно -- выбрасывается ею вонъ, какъ негодное. Многія насъкомыя умираютъ, какъ только узнають нарушающія равнов сіе радости любви; больной звѣрь забивается въ чашу и умираетъ тамъ одинъ: онъ какъ бы чувствуеть, что уже не имъетъ права ни видъть вствить общаго солнца, ни дышать вольнымъ воздухомъ, онъ не имѣетъ права жить; а человѣкъ, которому отъ своей ли вины, отъ вины ли другихъ, пришлось худо на свътъ – долженъ по крайней мъръ умъть молчать" ("Повздка въ Полвсье", конецъ).

Итакъ, Тургеневъ проповѣдуетъ благодарное и тихое наслажденіе великими радостями жизни, а затѣмъ — отреченіе и смиренную покорность, когда эти большею частью скоропреходящія или неуловимыя радости—не даются намъ въ руки или совершенно исчезаютъ.

XV.

Здъсь мы оканчиваемъ наше изслъдование. Тургеневъ "историческій", Тургеневъ — чуткій отразитель извѣстной общественной эпохи-уже излъдованъ вдоль и поперекъ. Его благородная прикосновенность къ снятію крѣпостного ига, его роль въ обозначении нарождавшихся "русской гражданки" и "русскаго отрицателя", его ссора съ славянофилами, его патріотическій европеизмъ и несомнѣнная принадлежность славянской почвѣ, его послѣдняя неудача въ изображении нашей злосчастной подпольной молодежи-все это достаточно разработано въ журналахъ. Но Тургеневъ "вѣчный", Тургеневъ-поэтъ-не встрътилъ еще должнаго изученія и объясненія, не заслужиль еще подобающаго поклоненія и восторга, которые, по его собственнымъ словамъ, должны выпадать на долю натуръ "плѣнительныхъ". Въ письмѣ къ одной дамѣ Тургеневъ, незадолго до смерти, говорилъ: "Блестящих натурь въ литературь, въроятно, не проявится. Что бы вы не говорили-вамъ все-таки хочется восторгаться и увлекаться; вы сами пишете что вы желаете преклоняться: а передъ только полезными людьми не преклоняются. Мы вступаемъ въ эпоху только полезныхъ людей. Ихъ, въроятно, будетъ много; красивыхъ, плънинительныхъ-очень мало"...

И вотъ именно это "плѣнительное", чисто поэтическое русскаго генія, безъ всякой посто-

ронней примѣси, сказалось и вылилось навсегда, какъ "первая любовь"*) народа--въ Пушкинѣ, Лермонтовѣ и Тургеневѣ.

Гончарова, Льва Толстого, даже Гоголя и Достоевскаго, несмотря на склонность двухъ послъднихъ къ фантастическому, вы съ гораздо большею ръшительностью отнесете къ разряду прозаиковъ. Дъловитая мудрость Гончарова, тяжкая вдумчивость Толстого въ задачи дъйствительной жизни, тривіальный реализмъ Гоголя (въ родъ запаха Петрушки и "капли" Фемистоклюса),безчувствіе Достоевскаго къ природъ всъ эти свойства названныхъ нами писателей мъшаютъ нашему представленію о нихъ, какъ о поэтахъ. Но возлъ имени Тургенева чувствуется крылатая муза, которая не даетъ ему задержаться въ спискъ романистовъ и уносить его въ царство поэзіи.

Мы постарались угадать и набросать индивидуальность этого поэта. Быть можеть, многіе найдуть Тургенева пассивнымь, мечтательнымь, не воплощающимь въ себѣ идеала энергіи и величія. Пусть будеть такъ. Не всѣ нуждаются въ такихь идеалахъ. Иному— терпимость, нѣжность, пониманіе истинной красоты — дороже крутой рѣшимости и рѣзкаго протеста. Недавно Бисмаркъ отозвался о насъ, русскихъ, что "русскіе.-это романтики, люди "Тысячи одной ночи", поэты, глаза которыхъ хорошо видятъ лишь въ

^{*)} Выраженіе Тютчева.

полумракъ сантиментализма". Тургеневъ, какъ истинный славянинъ, быть можетъ, вполнъ подходить къ этому портрету. Въ Пушкинъ была частица африканской крови, а въ Лермонтовъпотландской; Тургеневъ же былъ природнымъ русскимъ. У него не было ни здравой трезвости и перьиости Пушкина, ни безстрашной силы Лермонтова; онъ находился посрединъ между ними обоими. Но Бисмаркъ все-таки ошибся. Такой натуры, какъ Тургеневъ, уже въ наши дни нътъ. Нарождаются люди "только полезные". Тургеневъ воплотилъ въ себъ однъ лишь юныя черты славянской національности. Повторяемъ, его имя тягответь къ именамъ Пушкина и Лермонтова. При всемъ отличіи этихъ трехъ звѣздъ нашей поэзіи, по ихъ величинъ, природъ и блеску, намъ думается, что въ области прекраснаго русская литература едва ли когда-нибудь выдвинетъ имя, превосходящее эти три имени.

1892 г.



Городъ Тургенева.

Для русскихъ Баденъ-Баденъ прежде всего—городъ Тургенева. Здѣсь онъ прожилъ, въ добровольной литературной ссылкѣ, почти всѣ шестидесятые годы, сперва въ меблированной квартирѣ, а затѣмъ на собственной виллѣ. Здѣсь же, на этой виллѣ, написанъ и "Дымъ"—поэма Бадена.

Тотчасъ по прівздё въ Баденъ, я занялся провёркою "Дыма" по всёмъ его живымъ слёдамъ. Едва я вышелъ изъ отеля, какъ одинъ петербургскій англичанинъ посовётовалъ мнё: "если хотите любоваться Баденомъ, то идите направо, по Лихтенталевской аллев". Лихтенталевская аллея! Она такъ часто упоминается въ "Дымѣ", что я невольно взволновался, увидѣвъ ее передъ собою. Здѣсь, подъ этими громадными, стройными деревьями, дающими вѣчную тѣнь, по гладкому, твердому грунту этой аллеи—ходила Ирина. Вотъ боковая дорожка, извивающаяся среди бархатнаго дерна, въ прохладѣ журчащаго Ооса. Съ этой дорожки, оставивъ Литвинова, Ирина свернула въ Лихтенталевскую аллею, чтобы сдѣлать придворный книксенъ передъ завидѣнною ею издалека герцогиней. Какъ ярко все это мнѣ вспомнилось! И, право, Ирина съ своей синей вуалеткой казалась мнѣ живѣе и несомнѣннѣе всей той нарядной толпы, которая неслась въ эту минуту въ ландо, шарабанахъ и коляскахъ по Лихтенталевской аллеѣ, мелькая изъ-за черной колонады древесныхъ стволовъ, подъ густымъ шатромъ зелени.

По Лихтенталевской аллев я направился къ курзалу, передъ которымъ, какъ извъстно, начинается дъйствіе романа. Вотъ первая строка "Дыма": "12-го августа 1862 года, въ Баденъ-Баденѣ, въ четыре часа дня, передъ извѣстною Conversation ... " и т. д. По поводу этой строкия долженъ сейчасъ же сдълать грамматическое разъяснение. Иной гимназисть можетъ спросить учителя: какое русское существительное соотвѣтствуетъ прилагательному "извъстная?" Что такое Conversation? Гостиница, что ли? Такому любознательному мальчику слёдуетъ отвётить, что русское прилагательное женскаго рода соотвѣтствуетъ у Тургенева иностранному слову того же рода Conversation и что баденскій Конверсаціонсгаузъ называется сокращенно по-нѣмецки Die Conversation, а по-французски La Conversation. Во времена Тургенева Баленъ былъ полуфранцузскій городъ, какъ вслёдствіе его близости къ тогда еще французскому Страсбургу, такъ и вслѣдствіе бывшей между французами и баденцами давнишней симпатіи. Здѣсь и понынѣ постоянно слышится французская рѣчь. Изъ всѣхъ выдающихся нѣмецкихъ городовъ одинъ только Баденъ до сихъ поръ не имѣетъ статуи Вильгельма I, а довольствуется только его бюстомъ. На улицахъ попадаются простолюдинки съ громадными черными эльзасскими бантами на головѣ.

Конверсаціонсгаузъ представляетъ собою высокое и длинное зданіе казарменнаго вида, подъ черепичною кровлею, съ большими колоннами и маленькими окнами. Средній корпусь его занять залами бывшей рулетки; въ правомъ крылѣ пом'вщаются читальни, а въ лѣвомъ-ресторанъ и кофейня ci-devant Вебера. Теперь эта ресторація сдается кургаузомъ неизвѣстному арендатору. Говорятъ, что Веберъ живъ до сихъ поръ и что когда "Дымъ" появился въ нъмецкомъ переводъ, то Веберъ очень разсердился на Тургенева за отзывъ Литвинова о его мороженомъ. Впрочемъ, и въ настоящее время безымянный преемникъ Вебера, въроятно, пользуясь своей неизвъстностью, не боится запятнать свою честь и продолжаеть угощать публику сквернымъ мороженымъ.

Передъ кургаузомъ тянется эспланада, по которой, во время музыки, широкимъ потокомъ движется самая пестрая, большею частью расфранченная толпа. Отъ эспланады спускается къ Лихтенталевой аллеѣ лужайка, окаймленная 21 съ трехъ сторонъ каштанами. Направо отъ Conversation, среди каштановъ, идутъ два ряда лавокъ съ разными модами, бездѣлушками, писчею бумагою, конфектами, сигарами и т. п. Противъ кофейни возвышается весьма вычурный павильонъ для музыки, –- чугунный, подъ зеленую бронзу,—такъ сказать, въ сангаліевскомъ вкусѣ. Вотъ и весь садъ кургауза.

Но гдѣ же "знаменитое русское дерево" (l'arbre russe), играющее такую видную роль въ увертюръ "Дыма"? Помнится, въ дътствъ, когда я читалъ "Дымъ", то чрезвычайно гордился, что у насъ, русскихъ, есть свое дерево въ Бадень. Я мечталь, что когда сдълаюсь большимъ и побду въ Баденъ, то прежде всего усядусь подъ этимъ деревомъ, какъ подъ нашею собственностью. Оно мнѣ представлялось въ видѣ стараго дуба или развѣсистой липы, въ особой оградѣ и съ крупною вывѣскою на стволѣ. Но сколько я теперь ни ходилъ по саду кургауза. въ какіе уголки ни присаживался передъ Conversation, нигдѣ ничего похожаго на русское дерево мнѣ не попадалось. Повсюду были каштаны одного и того же роста и вида, разсаженные по ранжиру, безъ малъйшей возможности почему-либо выдёлить хотя бы одинъ изъ нихъ. Такъ бы это дерево и осталось миеомъ, если бы я не встрѣтилъ въ Баденѣ такого знатока литературы и заграницы, какъ П. Д. Боборыкинъ.

--- Вотъ, по-моему, русское дерево!-сказалъ

мнѣ П. Д., остановившись подъ четвертымъ каштаномъ отъ кофейни, у самой панели передъ сигарной лавкой.

II. Д. объяснилъ, что въ прежнее время, на его памяти, всегда въ этомъ уголкъ собиралась русская знать. Свидътельство уважаемаго романиста вполнѣ подтверждается текстомъ Тургенева. Въ "Дымъ" сказано, что "Литвиновъ сидълъ за однимъ изъ столиковъ передъ кофейной Вебера, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ русскаго дерева. Если вы и теперь присядете за одинъ изъ этихъ столиковъ, то именно въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя увидите каштанъ, растущій передъ сигарной лавкой. По моему наблюденію, въ четыре часа дня, во время музыки, вокругъ этого каштана бываетъ наибольшая тънь. Павильонъ для оркестра находится оттуда въ самомъ близкомъ разстояніи и, кромѣ того, туть же рядомъ имѣются особыя ворота сада, черезъ которыя большею частью входить только публика, подъвзжающая въ экипажахъ, т. е. отборная. Все это не оставляетъ никакого сомнѣнія насчетъ дерева, отмѣченнаго П. Д. Боборыкинымъ.

Сколько разъ, сидя на мъстъ Литвинова, я повторялъ про себя слова Тургенева: "Погода стояла прелестная; все кругомъ — зеленыя деревья, свътлые дома уютнаго города, волнистыя горы, — все празднично, полною чашею раскинулось подъ лучами благосклоннаго солнца; все улыбалось какъ-то слъпо, довърчиво и 21* мило". Дъйствительно, Баденъ, съ окружающими его лъсистыми горами, изображаетъ изъ себя чащу, раскрытую для лучей благосклоннаго солнца. Съ того же литвиновскаго мъста виднъются, подъ самымъ гребнемъ одной изъ горъ, съроватыя лысинки тъхъ "Скалъ", спускаясь съ которыхъ Литвиновъ попалъ на пикникъ "молодыхъ генераловъ" у подножія "Стараго замка".

Прогулка пѣшкомъ къ "Старому замку" береть оть полутора до двухъ часовъ. Тропинки для подъемовъ здъсь вообще довольно крутыя. По мъръ приближенія къ замку, всъ невольно снимають шляпу и вытирають шею. И вдругъ, совершенно неожиданно, сквозь лёсную чашу, открываются высокія ствны развалинъ. Вы вступаете на площадку передъ замкомъ, какъ въ твнистый, свётло - зеленый заль, образуемый деревьями. На площадкъ — бълые столики и стулья, точь - въ - точь такіе, какіе описываеть Тургеневъ. Съ одного мъста, гдъ прорубленъ лѣсъ, открывается видъ на Баденъ съ его бѣлыми домиками, далеко внизу, въ прозрачной дымкъ. Здъсь происходилъ пикникъ. Здъсь, на этомъ небольшомъ пространствѣ, уже несомнѣнно сидѣла Ирина, "скрестивъ руки на спинкъ отодвинутаго стула..." Нельзя — не хочется върить, чтобы ея никогда не существовало.

Позади площадки возвышается древняя ствна съ готическимъ входомъ въ руины. Весь замокъ состоитъ изъ пустыхъ ствнъ съ дырками оконъ, да изъ каменныхъ лъстницъ для восхожденія въ верхній этажъ развалинъ и на башню. И когда, обозръвъ замокъ, вы возвратитесь на тънистую площадку и присядете къ одному изъ столиковъ, то –- совершенно такъ же, какъ повъствуетъ Тургеневъ, –- услышите "тяжелый храпъ лошадей" и увидите туристовъ, приближающихся къ замку въ коляскахъ. Такъ же подъъхала къ замку и великосвътская компанія, въ которой паходилась Ирина.

Видѣлъ я и Hôtel de l'Europe, гдѣ проживали Ратмировы. Это---четырехъ-этажный бѣлый домъ, правильной и холодноватой архитектуры, во вкусѣ николаевскаго времени. На окнахъ почти всегда спущены жалюзи. Вестибюль гостиницы довольно величественный и входная лѣстница съ перилами изъ краснаго дерева напоминаетъ лѣстницу Михайловскаго дворца въ музеѣ Александра III.

Итакъ, я осмотрълъ всъ уцълъвшія декораціи "Дыма".

Но что же сталось съ именемъ Тургенева въ Баденѣ? Чтится ли здѣсь его слава? Мнѣ думалось, что Баденъ переполненъ изображеніями Тургенева и что на окнѣ каждой книжной лавки я встрѣчу экземпляръ "Дыма". Но ни портретовъ, ни книги Тургенева нигдѣ не видно. Въ "Баденскомъ Листкѣ", ежедневно печатающемъ всѣ достопримѣчательности города, вовсе не упоминается о виллѣ Тургенева. Фотографій съ этой виллы не существуетъ въ продажѣ и я съ большимъ трудомъ нашелъ фотографа, у котораго случайно уцѣлѣлъ негативъ снимка, заказаннаго теперешней владѣлицей виллы: графинею Бисмаркъ (совершенно чуждою фамиліи канцлера). Мы съ однимъ русскимъ заказали себѣ нѣсколько экземпляровъ этого снимка, хотя на немъ, къ сожалѣнію, на верандѣ виллы, изображена графиня съ своими знакомыми.

Вилла Тургенева расположена невысоко надъ Баденомъ, на Фремербергской улицъ или, върнъе, на широкой дорогъ, ведущей въ горы. Это красивая двухъ-этажная постройка во французскомъ стилъ, съ общирнымъ садомъ, почти паркомъ, раскинувшимся по склону горы. Паркъ этотъ въ настоящее время продается по участкамъ.

Не безъ труда удалось мнѣ отыскать виллу Тургенева. По указаніямъ друзей, я дважды ходилъ на поиски и дважды ее не нашелъ, хотя, какъ оказалось, оба раза проходилъ мимо ея воротъ. И не мудрено. Никакой надписи на домѣ нѣтъ, а у воротъ вывѣшено объявленіе: "Отдаются меблированныя комнаты". Впослѣдствіи только я убѣдился, что въ узорѣ желѣзныхъ воротъ вплетены косыя желѣзныя буквы Villa Tourgeniew. Буквы эти, одноцвѣтныя съ узоромъ, сдѣланы такъ неискусно, что даже, когда вамъ ихъ покажутъ, вы не сразу разберете надпись.

Съ тѣмъ же рузскимъ пріятелемъ, съ которымъ мы заказали фотографіи, проникли мы и

-326 ---

въ самую виллу. Ворота были раскрыты; мы вошли въ садъ и едва обогнули уголъ дома, какъ любезная хозяйка, догадавшись, что мы русскіе, выслала намъ свою компаньонку съ предложеніемъ осмотрѣть комнаты. Быть можетъ, тутъ крылась и надежда сдать намъ ихъ въ наймы, но приглашение было сдълано въ совершенно безкорыстной формъ, какъ поклонникамъ писателя. Внутри виллы ни одного стула, ни одной вещи изъ обстановки Тургенева не осталось. Въ обоихъ этажахъ планировка комнатъ одинаковая. Одна большая посрединъ и нъсколько маленькихъ вокругъ. Почти въ каждой изъ нихъ мы встрѣчали умывальники и кровати. Хозяйственныя службы идуть по фасаду, обращенному къ улицъ, а жилая половина выходитъ въ садъ. Рабочій кабинеть Тургенева пом'вщался направо отъ веранды въ небольшой угловой комнатъ нижняго этажа, съ каминомъ и двумя окнами, изъ которыхъ видна роскошная и свъжая зелень сада. Теперь здѣсь устроенъ дамскій кабинетъ. Въ благоговъйномъ молчании постояли мы въ этомъ скромномъ пріютѣ нашего художника и, выйдя изъ дома, спустились въ паркъ,

Разнообразныя и пышныя деревья, несходныя съ отечественною растительностью, окаймляли дорожки. Но было что-то русское въ обликѣ этого сада, расположеннаго—какъ почти всѣ тургеневскія усадьбы— "на скатѣ холма". Заглохшій прудъ виднѣлся въ одномъ уголкѣ чащи. Простая помѣщичья скамейка стояла подъ ли-

Digitized by Google

пой на одной изъ аллей. Живо представилось мнѣ, какъ тихо бродилъ здѣсь, въ минуты творчества, высокій и могучій Иванъ Сергѣевичъ, съ мягкимъ выраженіемъ своего мечтательнаго лица. И жутко было намъ переступать по его слѣдамъ, подъ чудесными вѣтвями этихъ недвижныхъ деревьевъ, — словно бы намъ довелось проникнуть въ запретный и таинственный садъ убитаго волшебника.

1898 г.



Гюи Де-Мопасанъ.

I.

Въ массъ публики Мопасанъ имъетъ, главнымъ образомъ, славу амурнаго анекдотиста. Несмотря на это, имя его облетъло весь міръ. И важнъе всего то, что Мопасанъ возбудилъ интересъ къ своимъ произведеніямъ не въ какойнибудь спеціальной категоріи читателей, которые могутъ, напримъръ, увлекаться Жоржемъ Онэ, Полемъ Бурже и т. п., но захватилъ симпатіи во всъхъ слояхъ общества, отъ самыхъ требовательныхъ знатоковъ до самыхъ простодушныхъ цънителей. Изъ этого одного уже видно, что не тема сочиненій Мопасана, а нъчто болъе глубокое и значительное покорило вееобщее вниманіе этому таланту.

Всё согласны въ томъ, что Мопасана слъдуетъ отнести къ первостепеннымъ стилистамъ нашего времени. Онъ выработалъ неподражаемосовершенный языкъ. И вотъ я хотълъ бы выяснитъ, что эта прелесть формы находится въ непосредственной связи съ высшею художественною организаціею автора, что его геній вылился въ эту чудесную форму только потому, что самый духъ писателя принадлежалъ къ той высшей породѣ людей, которыхъ еще и понынѣ принято называть поэтами и которые, несмотря на скептическія гримасы людей "положительныхъ"—все еще продолжаютъ принадлежать къ избранникамъ человѣчества.

По размѣрамъ генія, по мѣсту, которое онъ займетъ въ привязанностяхъ потомства, --- я бы сравнилъ Мопасана съ Гейне и Альфредомъ де-Мюссе. Меня легко поймуть всѣ тѣ, кто живеть въ постоянномъ духовномъ общеніи съ литературою всёхъ временъ и кто видитъ въ ней уголки, занимаемые своими любимцами, такъ же ясно, какъ-привычныя мъста близкихъ людей за семейнымъ столомъ. Всѣ эти три писателя, ни въ чемъ не сходные между собою ни по формъ, ни по содержанію своихъ произведеній, имѣютъ, такъ сказать, одинъ поэтическій рость и занимають одну іерархическую высоту. Всѣ они отличаются привлекательною самобытностью, блескомъ языка, силою страсти и тою неувядаемою молодостью своего трогательнаго лиризма, которая дёлаетъ ихъ вёчными jeune-premiers, вѣчными тенорами въ области поэзіи, не теряющими своихъ поклонниковъ и поклонницъ, несмотря ни на какія перемѣны моды.

Талантъ Мопасана образовался въ кружкъ Флобера. Главными силами этого кружка были: желчный эстетикъ Флоберъ, боготворившій только свое вдохновение и безпощадно презиравшій "глупую" дъйствительность; страдающій романтикъ Тургеневъ, грустно влюбленный въ жизнь, и коренастый, упорный Эмиль Зола, признавшій только то, что есть, -- неисправимый позитивисть, замкнувшій всь свои привязанности въ предѣлахъ видимаго и осязаемаго. Тутъ же появился и Мопасанъ, младшій изъ всей компаніи. Симпатіи Мопасана тяготѣли къ Тургеневу. Ему онъ онъ посвятилъ знаменитый заглавный разсказъ своего перваго сборника "La maison Tellier", выразивъ въ посвящении свою глубокую любовь п свое великое поклоненіе (grande admiration) нашему писателю. Учителемъ Мопасана въ художественной техникъ былъ Флоберъ, но болѣе роднымъ по духу-былъ для него Тургеневъ.

Прислушиваясь къ литературнымъ разговорамъ лучшихъ писателей Франціи на флоберовскихъ воскресеньяхъ, Мопасанъ ръдко вставлялъ свое слово. Но отъ всей его фигуры, по отзыву Зола, въяло такою кръпостью, такою юношескою веселостью и прямодушіемъ, "такимъ славнымъ запахомъ здоровья", что всъ эти художники полюбили его отъ души, хотя никому изъ нихъ и въ голову не приходило, чтобы у Мопасана когда-нибудь открылось дарованіе. И никогда впослѣдствіи, по словамъ того же Зола, отъ Мопасана не "несло чернилами"; онъ работалъ на свободѣ, черпая свои вдохновенія въ самой жизни, отдаваясь путешествіямъ и приключеніямъ, и держась всегда немножко въ сторонѣ отъ писателей, которые были "заѣдены одною литературою". Отсюда получилась необыкновенная свѣжесть и ясность его созданій, проникнутыхъ теплотою правды.

И мнѣ думается, что эта непринужденная мопасановская правда живучье той мастерской правды, которую Э. Зола всю свою жизнь создавалъ гигантскими усиліями своего мощнаго природнаго таланта въ ствнахъ своего кабинета. Самъ Зола какъ бы смутно чувствуетъ это роковое недоразумъніе всей своей карьеры въ своемъ превосходномъ надгробномъ словѣ передъ могилою Мопасана. "Иногда, — говорилъ онъ, — меня беретъ печальное раздумье, когда я смотрю на многотомныя произведенія нашей эпохи. Да, это долгіе и добросовѣстные труды, большое собраніе книгъ, прекрасный образецъ упорства въ работъ. Но это, въ то же время, багажъ, слишкомъ грузный для славы, а людская память не любитъ обременяться такими тяжестями. Изъ всѣхъ этихъ большихъ произведеній, составляющихъ цёлый циклъ, никогда не оставалось болѣе нѣсколькихъ страницъ. И, кто знаетъ, быть можетъ, безсмертіе, скорѣе всего, это-простая новелла въ триста строкъ,

какая-нибудь басня или сказка, которую ученики будущихъ столѣтій передадутъ другъ другу какъ непогрѣшимый образчикъ классическаго совершенства".

III.

Мопасанъ былъ молодъ, цвътущъ и счастливъ, когда онъ сталъ появляться на флоберовскихъ воскресеньяхъ. Въ немъ таился богатыйшій родникъ художественныхъ замысловъ въ то время, когда онъ попалъ въ литературную среду, искавшую новыхъ путей и вырабатывавшую новую школу. Въ этой писательской компаніи всёхъ затмъвалъ Зола. Казалось. школа Зола должна была безслёдно вытёснить все остальное. Опыть показываль, что ни многоръчивыя сентенціи и экспансивность Бальзака и Жоржъ-Занда, ни мелодраматические эффекты бульварной и уголовной литературы, ни даже великолъпныя реторическія и таинственныя страницы Гюго, ничто изо всего этого ни вмъстъ, ни порознь не сохраняло такой прочной, неувядающей прелести, какъ тъ частицы во всѣхъ этихъ твореніяхъ предшествующаго періода, въ которыхъ просто выражалась сама жизнь, всегда близкая людямъ всёхъ вёковъ, какъ наивная, безсмертная живопись Гомера. И Зола упорно остановился на этомъ прямолинейномъ выводъ.

Какъ художественный аппарать, какъ "чув-

ствительная пластинка" для воспринятія явленій жизни--Мопасанъ былъ едва ли не болѣе ръдкимъ феноменомъ, нежели самъ Зола. Въ произведеніяхъ Мопасана встрѣчаются такія признанія: "Мнѣ кажется, что я весь открытъ и что все въ меня входитъ, проникаетъ меня насквозь, заставляеть меня плакать и скрежетать зубами. Когда, напримъръ, я смотрю на этоть противоположный берегь, на эту большую зеленую складку, на цёлый народъ деревьевъ, ползущихъ на гору, то я удерживаю весь этотъ люсь въ моихъ глазахъ; мнъ даже кажется, что я его ѣмъ, что онъ наполняетъ мой желудокъ; я самъ становлюсь лѣсомъ!.." "Вы не знаете, какими наслажденіями я обязанъ своему обонянію. Я пью этотъ воздухъ, я отъ него пьянѣю, я имъ живу и я чувствую все, что въ немъ есть, ръшительно все..." "Когда я слушаю любимое мною музыкальное произведеніе, то, прежде всего, мнѣ кажется, что первые его звуки отдѣляють мою кожу оть моего тѣла, расплавляють, растворяють ее такъ, что оно совсѣмъ исчезаетъ, и тогда я, какъ бы заживо ободранный, остаюсь подъ всёми ударами инструментовъ. Тогда, дъйствительно, ни на чемъ иномъ, какъ именно на моихъ нервахъ играетъ оркестръ, на моихъ обнаженныхъ и трепещущихъ нервахъ, вздрагивающихъ отъ каждой нотки. И я ее слушаю, эту музыку, не только моими ушами, но чувствительностью всего моего твла, вибрирующаго съ ногъ до головы.

Ничто не доставляеть мнѣ такого удовольствія или, вѣроятнѣе, счастія..." "Да и къ чему бы служила жизнь, если бы нельзя было сильно чувствовать? Я не завидую людямъ, носящимъ на сердцѣ панцырь черепахи или кожу гиппопотама. Только тѣ счастливы, кто страдаетъ отъ своихъ ощущеній, кто ихъ получаетъ, какъ удары, и вкушаетъ ихъ, какъ лакомства. Ибо нужно дать себѣ отчетъ во всѣхъ нашихъ впечатлѣніяхъ, блаженныхъ и горестныхъ, нужно ими насытиться, упиться до самаго остраго наслажденія или до самаго мучительнаго отчаянія" ("Mont-Oriol", "La vie errante").

Да, это была, безспорно, удивительнъйшая "сенситива", драгоцъннъйшая художественная натура, какую только создавала послъдняя половина нашего столътія.

Талантъ этотъ весьма долго подготовлялъ себя прежде, чъмъ овладълъ творчествомъ. "Въ теченіе семи лътъ, — сознается Мопасанъ, — я сочинялъ стихи, разсказы, новеллы, я даже сочинилъ отвратительную драму. Мой наставникъ (Флоберъ) все это читалъ и въ слъдующее воскресенье, за завтракомъ, развивалъ свои критическія сужденія и понемногу насаждалъ во мнъ тъ два или три правила, которыя составляли резюме его долгаго и терпъливаго преподаванія". Сущность ученія Флобера сводилась къ оригинальности и терпънію. Оригинальность вовсе не заключалась въ какихънибудь новыхъ или вычурныхъ словахъ, но въ \$

of the hear and and the Bugan was a co

самобытномъ, еще не испробованномъ другими, отношении къ своему сюжету. И Мопасанъ, прежде всего, постигъ всю трудность хорошаго языка, считаемаго, съ перваго взгляда, такимъ простымъ средствомъ въ искусствѣ. Онъ понялъ, какъ трудно, въ самомъ простомъ изложеніи, доискаться до того настоящаго слова, которое не приблизительно, а совершенно точно передавало бы нашу мысль. Онъ увидёлъ, что писателю слѣдуетъ различать съ чрезвычайною ясностью всв разновидности словъ, судя по тому мъсту, которое они занимаютъ въ текств. Онъ оцвнилъ всю силу глубоко обдуманныхъ фразъ, весьма часто дающихъ самый поразительный результать, иногда только благодаря извъстной звуковой волнъ, благодаря особенному искусству ихъ во-время сократить или обрѣзать.

IV.

Мопасанъ дебютировалъ въ ряду питомцевъ Эмиля Зола, въ сборникъ его учениковъ, озаглавленномъ "Les soirées de Medan", разсказомъ "Boule de suif" (переведеннымъ тогда же на русскій языкъ подъ названіемъ "Пышка"). Здъсь повъствовалось о молоденькой, пухленькой проституткъ, которая, во время оккупаціи Франціи прусскими войсками, приглянулась прусскому офицеру, причемъ, по капризу этого офицера, всъ путешественники въ дилижансъ,

Digitized by Google

отправлявшемся изъ Руана въ Гавръ, были задержаны до того дня, когда эта проститутка, сожалья своихъ спутниковъ, ръшилась, наконецъ, отдаться ненавистному ей врагу. Всѣ, конечно, помнять, что убъжденный и даже фанатическій реалисть Зола почему-то сразу пріобрѣлъ репутацію завзятаго порнографа, тогда какъ онъ, выставляя жизнь во всей ея наготъ, не имѣлъ въ виду никакой иной цъли, кромѣ борьбы съ закоренѣлымъ литературнымъ лицемъріемъ предшествующихъ романистовъ. Подъ крыломъ старшаго своего товарища, Мопасанъ, не менње искренній, чемъ Зола, взялъ указанную мною вольную тему для своего дебюта. Онъ сразу всёхъ очаровалъ своею прямотою, остроживыми красками. Безъ **уміемъ**, и всякой пошлой морали, съ оттънкомъ веселой и добродушной ироніи, съ великолѣпнымъ мастерствомъ реалистической живописи онъ противопоставилъ эту "Boule de suif", эту пухленькую проститутку цёлой компаніи почтенныхъ людей и, въ концъ концовъ, заставлялъ читателя презиэтихъ черствыхъ почтенныхъ людей и рать любить эту задушевную, чистую сердцемъ падшую женщину. Трудно разобраться въ вопросѣ: что собственно покорило читателей этому новому таланту-добродушная ли откровенность Мопасана о запретныхъ вещахъ, т. е. самый родъ новеллы, или мораль этого очерка, или непередаваемая прелесть его смѣшныхъ подробностей, или върный, идущій прямо къ нашему чувству 22

тонъ этого свѣжаго произведенія? Но дѣло было сдѣлано: Мопасанъ сразу понравился.

И вотъ, одинъ за другимъ, начали появляться сборники этого писателя. Первый сборникъ имълъ во главъ разсказъ изъ той же сферы, какъ и "Boule de suif",—"La maison Tellier", ("Заведеніе Телье"), т. е. не болѣе не менѣе, какъ домъ терпимости въ маленькомъ провинціальномъ городкѣ. Такимъ образомъ, Мопасанъ съ первыхъ своихъ шаговъ завоевалъ себъ имя совершенно особенное-въ родъ какого-то воскресшаго для нашихъ временъ Боккачіо. Эротическія приключенія холостяковъ, грѣшки и слабости супруговъ, веселыя картинки молодого и страстнаго наслажденія жизнью-казались его спеціальностью. И нужно сказать, что въ этомъ родъ искусства Мопасанъ остался на многіе въка неподражаемымъ и вполнъ самобытнымъ артистомъ. Эта область-одна изъ общирнъйшихъ областей жизни-оставалась уже издавна почти нетронутою, благодаря отсутствію въ писателяхъ достаточной искренности, мужества, добродушія, вкуса, здоровья, впечатлительности, изобрѣтательности, свѣжести силъ, граціозной ироніи и вообще тіхъ різдкихъ индивидуальныхъ качествъ, которыми такъ удивительно былъ надъленъ Мопасанъ. Публика, долженствовавшая оцънить этого новаго художника, по неволѣ могла быть сравнительно очень ограниченною. Даже Зола, серьезно и добросовъстно снимавшій покровы съ разныхъ нецензурныхъ

явленій жизни, получилъ репутацію романиста, непозволительнаго для семейнаго чтенія и ужъ, конечно, невозможнаго для дъвушекъ. Но еще болѣе опаснымъ долженъ былъ казаться Мопасанъ, потому что онъ раскрывалъ даже передъ замужнею женщиною такія забавныя, съ такимъ наивнымъ безстрашіемъ и съ такою заразительною веселостью раскрытыя слабости обоихъ половъ, —онъ доходилъ до изображенія, въ той же прелестной формъ, такихъ рискованныхъ сюжетовъ, что старая мораль, совершенно рефлективно, по закоренѣлой привычкѣ, внутренно осмъивая самое себя, все-таки не могла имъть достаточной решимости, чтобы допустить взорь "благовоспитанной" женщины до всъхъ этихъ правдивыхъ, но соблазнительныхъ откровеній.

Но искренній и самобытный Мопасанъ не стѣснялся этими цензурными и коммерческими разсчетами на популярность. Онъ беззавѣтно изображалъ радость и прелесть молодой жизни, какою онъ ее чувствовалъ въ себѣ и постигалъ въ другихъ, съ наивностью и граціею котенка, который играетъ съ бумажкою и который однимъ своимъ видомъ, одною свъжестью своихъ гибкихъ членовъ вызываетъ улыбку удовольствія на самыхъ ученыхъ, серьезныхъ и усталыхъ лицахъ... И, кажется, не осталось ни одного комическаго, ръдкаго, любопытнаго, забавнаго, плачевнаго или фатальнаго положенія въ непрестанной игрѣ природы, толкающей какъ молодые, такъ и старые организмы двухъ поло-22*

Digitized by Google

винъ человѣчества въ минутныя или продолжительныя объятія, — не осталось, говорю я, ни одного такого положенія, котораго бы не предусмотрѣлъ Мопасанъ въ своихъ сжатыхъ и рельефныхъ этюдахъ. Перечислять ихъ я не стану. Читавшіе Мопасана — знаютъ ихъ прекрасно: не читавшіе — да обратятся къ подлиннику. Но я желалъ бы указать на литературное значеніе этого созданнаго Мопасаномъ въ совершенно самобытной формѣ приспособленія современнаго искусства къ изображенію жизни.

Мопасанъ воскресилъ среднев вковую новеллу. Онъ сократилъ свои разсказы о жизни почти до формы стихотворенія. Въ сжатости своихъ новеллъ, по ихъ внутренней интенсивности, онъ далеко превзошелъ Тургенева; онъ не походилъ и на Эдгара Поэ, примѣнявшаго эту форму только къ мистическимъ и фантастическимъ сюжетамъ. Бретъ-Гартъ былъ современникомъ Мопасана и во всёхъ отношеніяхъ блёднёсть передъ нимъ. Мопасанъ началъ втискивать мозаическія и глубокія темы жизни въ небольшіе очерки и такимъ образомъ, если говорить тономъ педантической критики, "размѣнивалъ свой геній на мелочи", а если оцънивать талантъ по его природному выраженію въ избранныхъ имъ формахъ, то Мопасанъ завъщалъ намъ въ своихъ новеллахъ удивительное собраніе чуткихъ наблюденій дъйствительности, — завъщалъ намъ свои глубокія думы о жизни и свои сокровенныя чувства къ людямъ. Онъ чрезвычайно удачно

выбиралъ матеріалы и вдохновенно обрабатываль въ живые эскизы всѣ запасы своего опыта, все. что онъ заносилъ въ свои замътки, въ видѣ чужого признанія или факта, взятаго изъ газетной хроники, или, наконецъ, въ видъ его собственнаго вымысла, остановившагося на какомъ-нибудь вполнѣ возможномъ явленіи. Онъ сразу вставлялъ свой очеркъ, какъ готовую картину. въ извъстную раму, и такимъ образомъ принуждалъ читателя съ первыхъ же строкъ забывать ръшигельно о всемъ, что могло бы пом вшать его вниманію сосредоточиться на избранной темъ. И какъ только Мопасанъ приступаетъ къ дѣлу, то можно поручиться, что съ пятнадцатой, съ двадцатой строки-вы уже такъ углубитесь въ матерію его повъствованія, и любопытство ваше окажется захваченнымъ вполнѣ.

Культъ реализма, культъ уваженія къ силѣ и прелести самой дѣйствительности у Мопасана такъ великъ, что онъ никогда не оскорбитъ вашего чувства подозрѣніемъ, что онъ что-либо выдумываетъ. Для этого онъ всегда передъ вами расточаетъ на каждомъ шагу множество доказательствъ совершенной подлинности своего изображенія. Онъ имѣетъ талантъ выбирать такія имена, фамиліи и названія мѣстъ (даръ, которому всегда завидовалъ Флоберъ),—что вы уже, благодаря одному этому счастливому пріему, располагаетесь къ невольному довѣрію. А затѣмъ—въ обрисовкѣ пейзажа, обстановки и фигуръ, Мопасанъ такой мастеръ, что вы всегда воспринимаете его созданія, какъ нѣчто безусловно правдивое и живое.

Кромѣ того, Мопасанъ приспособилъ къ своимъ новелламъ чисто французскій пріемъ, введенный въ поэзію едва ли не Викторомъ Гюго,-давать настоящій ключъ къ основанію, идеѣ своего замысла въ самой послѣдней строкѣ произведенія--въ его, такъ сказать, послѣднемъ звукъ. Но и здъсь онъ проявилъ тонкость вкуса. Онъ никогда не заканчивалъ своего очерка звонкой фразой, голымъ парадоксомъ или каламбуромъ, на который можно было бы заранъе взглянуть, не познакомившись съ разсказомъ и, такимъ образомъ, предвосхитить эффектъ даннаго эскиза. Нѣтъ, эти заключительныя слова всегда были у Мопасана самыя простыя, и только, въ сопоставлении со всёмъ содержаниемъ разсказа,--слова эти всегда озаряли, какъ молніей, весь очеркъ и всегда вызывали у читателя примиряющее настроеніе, располагая его къ состраданію, къ снисходительной улыбкѣ или невольному смѣху, словомъ, всегда пробуждая въ немъ самыя благородныя и невольно-естетическія чувства.

٧.

Конечно, не всъ разсказы Мопасана производятъ одинаковое впечатлъніе. Воспріимчивость каждаго читателя къ извъстному сюжету до того индивидуальна, что споры о преимуществѣ тѣхъ или другихъ очерковъ могутъ быть безконечны.

Въроятно, наибольшею славою будуть всегда пользоваться тъ разсказы Мопасана, въ которыхъ имъ воспѣвается радостное чувство жизни, въ которыхъ прирожденное французамъ легкомысленное сладострастіе сверкаеть и пѣнится, какъ шампанское. Передъ вами проходятъ любовныя отношенія всёхъ возрастовъ, типовъ и классовъ. Женщины такъ и пестрятъ въ этихъ очеркахъ; провинціалки и парижанки, женщины богатыя-изысканныя и утонченныя, женщины изъ народа — здоровыя и грубыя, подростки, старыя дъвы, жены, вдовы и старухи, женскіе типы всевозможныхъ національностей и характеровъ, женщины коварныя и наивныя, привязчивыя и кокетливыя, чистыя и развратныя, жадныя и безкорыстныя, безчувственныя и страстныя и т. д. и т. д.

Любовь, какъ удовольствіе и соблазнъ, любовь, какъ глубокое чувство, любовь какъ сильная страсть, и вообще любовь, какъ творческое орудіе природы, все та же любовь составляетъ центръ всѣхъ произведеній. Молодому, цвѣтущему, веселому Мопасану, артистически очарованному жизнью и воспринимавшему эту жизнь съ тою "повышенною чувствительностью" нашего времени, какою онъ отличался, Мспасану, какъ мнѣ думается, было такъ естественно выразить свой талантъ прежде всего въ этого рода картинахъ, образахъ и вдохновеніяхъ! Онъ въ этомъ случав былъ такъ же натураленъ, какъ весенняя птица, поющая свои лучшія пѣсни при первомъ радостномъ солнцѣ.

Эта центральная тема любви, однако же, должна была неминуемо современемъ разростись въ болѣе крупныя произведенія и затронуть иные вопросы жизни.

Незаконныя дъти, по обилію посвяшенныхъ имъ очерковъ, занимаютъ въ творчествѣ Мопасана непосредственно второе мъсто послъ любви. Нъжная, гуманная и терпимая натура Мопасана, уже сказавшаяся въ его изображеніяхъ падшихъ женщинъ, обнаружилась здъсь еще сильнѣе. Умъ и воображеніе поэта были мучительно увлечены этимъ вопросомъ. Шалости-шалостями, наслаждение - наслаждениемъ, но вотъ, въ результатѣ, — вдругъ оказываются ни въ чемъ неповинные новые люди! И вотъ, эта тема о незаконныхъ дътяхъ даетъ намъ цълый рядъ новыхъ яркихъ очерковъ: проститутка, прячущая своего ребенка въ шкафу надъ своею кроватью, по неимѣнію болѣе просторнаго помъщенія; знатная, свътская дама, тревожимая участью своего сына, выросшаго въ деревнѣ; священникъ строгой и добродѣтельной жизни, вдругъ поставленный лицомъ къ лицу съ преступнымъ молодымъ человѣкомъ, несомнѣнно происходящимъ отъ него самого, благодаря его давнишней страсти къ одной женщинъ въ періодъ, предшествовавшій принятію

- 344 --

имъ духовнаго сана; богатый свътскій жуиръ, подъ старость находящій въ глухомъ постояломъ дворъ безобразнаго слугу-идіота и убъждающійся, что это — его подлинное дитя, появившееся вслъдствіе его юношеской шалости съ одной горничной и т. д. Вотъ какими сюжетами занялся Мопасанъ.

Помимо этого рода этюдовъ, изъ того же источника любви возникаютъ затъмъ разсказы о преступленіяхъ: дътоубійство, отцеубійство, изнасилованіе, кровосмъщеніе. Прочтите удивительные разсказы: "Малютка Рокъ", "Розали Прюданъ", "Отцеубійство", "Портъ" и "Отшельникъ"—и вы увидите, какое живое состраданіе къ человъческимъ несчастіямъ обнаруживаетъ Мопасанъ въ этихъ произведеніяхъ.

Но здѣсь, мнѣ кажется, будетъ умѣстнымъ прямо перейти къ шести большимъ романамъ.

VI.

Есть такой предражудокъ, что писатель не можетъ быть признанъ значительнымъ, пока онъ пишетъ только маленькія вещи. Поэтому, для возведенія въ высшую степень непремѣнно требуется, чтобы поэтъ написалъ поэму, а прозаикъ—романъ, т. е. что-нибудь длинное и большое. Тѣ, которые держатся подобнаго мнѣнія, вѣроятно, не безъ тревоги встрѣтили первую большую книгу Мопасана. Ихъ опасенія не оправдались. Въ своихъ романахъ Мопасанъ оказался ни хуже, ни лучше того, чёмъ онъ былъ прежде: онъ остался равенъ самому себѣ.

Шесть романовъ Мопасана какъ бы распадаются на три пары. Выходитъ это потому, что самыя темы этихъ шести произведеній, по свойству ихъ замысла, дълятся на три группы и въ каждой изъ нихъ встръчается по два романа. Я бы раздълилъ эти сочиненія такъ: "Bel-Ami" и "Гора-Оріоль",—"Жизнь" и "Пьеръ и Жанъ", — "Сильна, какъ смерть" и "Наше сердце".

"Bel-Ami", т. е. "Милый другъ", есть романъ, изображающій современный Парижъ съ культомъ чувственныхъ удовольствій и богатаго комфорта, сладострастный, спекулятивный, вильсоновскій, "панамскій" Парижъ минувшаго десятилѣтія.

Въ центръ поставленъ красивый, здоровый, чрезвычайно практичный малый, Дюруа, который, съ помощью разныхъ женщинъ, одаренныхъ сродными ему аппетитами, — добивается подъ конецъ высшаго успъха въ столицъ, тогда какъ на первыхъ страницахъ романа онъ прямо-таки голодаетъ и, посвистывая, для собственнаго ободренія, ходитъ по бульварамъ безъ гроща въ карманъ.

Повъствование развивается живо и естественно, безъ всякаго искусственцаго возбуждения интереса, но и безъ ненужныхъ отступлений.

Художественный вкусъ Мопасана обнаруживается въ томъ, что онъ ровно ничего не ретушируетъ. Сравните его въ этомъ случать съ Зола, который одарилъ свою Нана какими-то гомерическими формами, чтобы сдѣлать изъ нея всемірную аллегорію блудницы, и въ заключеніе покрыль ея позорное тѣло язвами! Ничего подобнаго нътъ въ "Bel-Ami", хотя здѣсь развратъ ничѣмъ не слабѣе. Въ этомъ романѣ выведено три замужнихъ женщины, одна патентованная проститутка: одна девушка и совсѣмъ маленькая дѣвочка — и всѣ эти образчики женскаго пола почти не имъютъ никакихъ признаковъ души, подчиненныя только своимъ разсчетамъ или своей похоти. Затъмъ всѣ до одного мужчины своекорыстны и гадки (за исключеніемъ одного эпизодическаго лица, поэта де-Варенна)-и однако же авторъ не мечеть никакихъ громовъ. Напротивъ, онъ показываетъ намъ, какъ всѣ эти люди совершенно, по своему, понимаютъ жизнь, какъ они систематически, съ убъжденіемъ, вырабатываютъ свое благополучіе; онъ раскрываетъ намъ ихъ психологію, не чуждую своеобразной эстетики, смышленности и послъдовательности — и, благодаря этому, если уже вамъ угодно морализировать, то вы, по крайней мъръ, чувствуете себя вполнъ свободными отъ всякихъ преувеличеній и подтасовокъ разсказчика. И что еще замѣчательно въ этомъ романѣ, что авторъ нисколько не скрываетъ своего собственнаго отношенія къ дъйствующимъ лицамъ. Онъ, мъстами, весьма сильно иронизируетъ. Но какъ

только наступаетъ изложеніе событій — онъ предоставляетъ самой жизни показывать то. что есть въ дъйствительности. Мопасанъ ясно видълъ своимъ чуткимъ пониманіемъ жизни, что психологія негодяевъ, въ сущности, весьма мелка, что эти, большею частью, счастливые паразиты представляютъ изъ себя не Богъ въсть какой хитрый и тонкій аппаратъ для достиженія избранныхъ ими цълей. И онъ рисовалъ намъ ихъ портреты осторожными штрихами, ради пущей върности. Но за то можно сказать съ убъжденіемъ, что онъ намъ далъ цъликомъ ихъ живыя фигуры.

Нѣтъ во французской литературѣ другого произведенія, которое бы такъ правдиво передавало существенныя черты буржуазнаго эгоизма и шарлатанства третьей республики, какъ "Bel-Ami". Продажность печати, созиданіе и низверженіе, посредствомъ одной газетной статьи, ничтожныхъ министровъ, биржевая спекуляція быстро-богатѣющихъевреевъирядомъсъэтимъ элегантность, требовательный комфортъ и даже сказочная роскошь въ домашней обстановкѣ всѣхъ этихъ пошлыхъ эксплоататоровъ свободы, —все это обрисовано съ необычайною наблюдательностью и безпристрастіемъ.

Послѣ "Бель-Ами" удобнѣе всего говорится о "Гора-Оріоль". Здѣсь, какъ и въ предыдущемъ романѣ, есть элементъ сатирическій. Здѣсь осмѣивается медицина вообще и леченіе минеральными водами въ особенности, подобно тому, какъ парижскіе дѣльцы вышучиваются въ "Бель-Ами". Спекуляція и реклама, сопровождающія созданіе модныхъ курортовъ, выставлены въ романъ великолъпно. Въ нъсколькихъ типахъ докторовъ и паціентовъ вы видите живыхъ людей нашего времени, со всъмъ комизмомъ модныхъ медицинскихъ теорій, со всею мелочностью профессіональной конкурренціи между врачами, съ любопытными разновидностями ихъ шарлатанскихъ пріемовъ и съ одинаково грустнымъ положеніемъ тёхъ больныхъ, которые имъ довъряются. Превосходны также второстепенныя фигуры въ романъ, какъ, напримъръ, музыканты и артисты мъстнаго казино съ ихъ директоромъ во главъ, который въ цълыхъ потокахъ самаго забавнаго красноръчія высказываеть свое поклоненіе новой музыкъ. Все дъйствіе разсказа сопровождается животрепещущими описаніями красивыхъ видовъ Оверни. И вмъстъ съ тъмъ исторія любви между Христіаной Антернать и Полемъ Бретиньи, въ періодъ развитія ихъ взаимной страсти, передана со всёмъ энтузіазмомъ настояшей поэзіи.

Наибольшія симпатіи выпали, однако, на долю второй категоріи романовъ Мопасана, къ которой я отнощу "Жизнь" и "Пьеръ и Жанъ". Помимо глубокаго достоинства этихъ двухъ произведеній, случилось это главнымъ образомъ потому, что въ нихъ авторъ вложилъ гораздо болѣе душевной теплоты. А произведенія трогательныя, когда они пишутся съ неослабѣвающимъ мастерствомъ, всегда завоевываютъ излюбленному писателю наибольшую массу поклонниковъ.

"Жизнь", т. е. жизнь Жанны-Де-Во, вышедшей замужъ за виконта де-Ламара, представляетъ полную исторію женщины, встрѣчающей жизнь съ чистыми и свѣтдыми ожиданіями невиннаго сердца и проходящей затѣмъ черезъ всѣ стадіи самаго грубаго разочарованія, во всѣхъ своихъ лучшихъ чувствахъ, по мѣрѣ постепеннаго соприкосновенія съ дѣйствительностью.

воздержаться отъ подобной пере-Нельзя дачи той мъткой программы, по которой задумано это дъйствительно живое созданіе Мопасана. Сила глубокаго впечатления, производимаго этимъ романомъ, достигается твмъ, что причины разочарованія Жанны зависять не оть какихъ-нибудь необычайныхъ катастрофъ, а, напротивъ, отъ событій самыхъ повседневныхъ, случающихся въ жизни почти сплошь и рядомъ. Но, будучи сопоставлены съ естественными потребностями прекрасной души Жанны, съ ея простыми представленіями о справедливости,--всѣ эти явленія по неволѣ кажутся намъ возмутительными. Эти явленія чередуются другъ за другомъ въ самомъ обыкновенномъ порядкъ: странная грубость брачной ночи; быстро охладъвающій пылъ медоваго мѣсяца; скоро выступающій эгоизмъ и сухая разсчетливость мужа;

беременность Жанны; связь ея мужа, въ теченіе этой беременности. съ горничной Жанны-Розаліей, ужасъ Жанны при этомъ открытіи и въ особенности-при обнаружении, что Розалія также забеременъла отъ ея мужа и что мужъ гнушается этимъ ребенкомъ, предлагая выбросить его вонъ. Затъмъ слъдуютъ: разочарованіе Жанны въ супружеской добродътели отца; смерть боготворимой ею матери; открытіе, послѣ ея смерти, тайной переписки этой матери съ своимъ любовникомъ... Ошеломленная этими испытаніями, Жанна впадаеть въ безнадежное равнодушіе ко всему окружающему, въ виду возникшей въ ней новой глубокой любви къ рожденному ею сыну. Но этимъ страданія ея не оканчиваются. Мы видимъ: юношескій эгоизмъ взлелѣяннаго Жанною сына; его раннюю связь съ овладъвшею имъ кокоткой; безконечную эксплоатацію этимъ сыномъ своей овдовѣвшей матери на его праздныя похожденія съ неразлучною любовницею въ Парижв. И вотъ Жанна-почти раззорена и ее ожидаетъ одинокая, убогая старость. Но тогда появляется прежняя горничная Жанны, Розалія, обманувшая ее въ первый годъ брака, и приводитъ въ порядокъ ея послѣднія средства къ жизни. Ея родовое помъстье продается и она поселяется въ маленькой, почти крестьянской фермѣ. Наконецъ, кокотка, державшая въ своихъ рукахъ сына Жанны, умираетъ отъ родовъ- и Розалія привозить Жаннъ изъ Парижа оставшагося отъ

этой связи ребенка. Тогда Жанна оживаетъ для новой радости при видъ новорожденнаго внука, къ которому можетъ привязаться ея сердце. А Розалія, передавая ей дитя, заключаетъ романъ словами, въ которыхъ выражается глубокій приговоръ надъ всей книгой: "Жизнь, видите ли, никогда не бываетъ ни такою хорошею, ни такою дурною, какъ это думаютъ"...

Сколько уваженія къ жизни, сколько трезваго реализма въ этихъ знаменательныхъ и въ то же время столь простыхъ словахъ!

Я забыль еще сказать, что всю эту обыденную трагедію, выпавшую на долю Жанны, — едва примѣтно и однако же неотразимо усиливаеть образь тети Лизы (tante Lison), — кроткой и самоотверженной старой дѣвы, которая, не прикасаясь къ жизненнымъ благамъ, постоянно вноситъ съ собою въ дѣйствіе романа элементъ безкорыстной, смиренной и чистой добродѣтели.

Сдѣланный мною краткій пересказъ "Жизни" даетъ, мнѣ кажется, ясное понятіе о геніальной простотѣ и о внутренней силѣ этого вполнѣ естественнаго и вполнѣ оригинальнаго произведенія.

"Пьеръ и Жанъ", по мнѣнію Э. Зола, занамаетъ въ творчествѣ Мопасана особое мѣсто и долженъ быть признанъ настоящимъ чудомъ, рѣдкою драгоцѣнностью,—произведеніемъ настолько правдивымъ и величавымъ, что оно не можетъ быть превзойдено (la merveille, le joyau rare, l'oeuvre de verité et de grandeur qui ne peut être dépassée). Восторженный отзывъ Зола объясняется, мнѣ кажется, прежде всего тѣмъ что въ этомъ романъ Мопасана преобладаетъ психологическій анализъ, до котораго, какъ извъстно, самъ Зола такой охотникъ. Кромъ того, романъ отличается ясною стройностью плана и съ удивительною наглядностью развиваетъ передъ нами исторію внезапныхъ подозрѣній одного изъ взрослыхъ братьевъ, Пьера, противъ своей матери въ томъ, что другой его брать, Жань, - ея незаконный сынь. Предлогомъ къ этимъ подозрѣніямъ послужило неожиданно полученное Жаномъ большое наслъдство отъ нъкоего Леона Марешаля, бывшаго въ давнишніе годы другомъ ихъ дома. Подозрвнія, случайно зародившіяся въ умѣ Пьера и встревожившія его сердце, разрослись затёмъ въ неотразимый обвинительный приговоръ. Весь ходъ этого назръвающаго обвиненія, питающагося самыми тонкими доказательствами, обрисованъ Мопасаномъ съ непогрѣшимою психологическою вѣрностью.

Этимъ классическимъ романомъ о незаконныхъ дѣтяхъ Мопасанъ только завершилъ цѣлый рядъ этюдовъ и очерковъ, посвященныхъ вѣчно волновавшему его вопросу. И здѣсь, какъ это всегда бываетъ у Мопасана, читателю остается только подумать вслѣдъ за авторомъ: "никто не виноватъ".

Перехожу къ послѣдней группѣ большихъ произведеній Мопасана, къ романамъ: "Сильна, 23

Digitized by Google

какъ смерть" и "Наше сердце". Эти романы совсъмъ не похожи на предыдущіе. Ихъ можно было бы скоръе назвать аналитическими трактатами въ увлекательно прелестной формъ, нежели романами въ томъ видъ, какъ мы привыкли ихъ понимать, т. е. въ видъ развитія широкой бытовой картины съ выпуклыми лицами или въ видъ сложной фабулы, постоянно подстрекающей наше любопытство. Самыя заглавія этихъ двухъ романовъ, какъ бы въ отличіе отъ другихъ, имѣютъ смыслъ теоретическій и философскій. Здъсь нъть ни широкой картины, ни особенно интересной фабулы, ни даже лицъ, отмъченныхъ ръзкою индивидуальностью. Эти лица скорѣе обобщенія, нежели опредѣленныя живыя существа. И въ этомъ разнообразіи пріемовъ я вижу только новое локазательство полнъйшей самобытности Мопасана, какъ художника, чуждаго какихъ бы то ни было опредѣленныхъ теорій въ творчествѣ, кромѣ одного завѣтнаго правила: непремѣнно найти тѣ или другіе пути для наилучшаго выраженія овладъвшаго имъ въ данную минуту влохновенія.

Заглавіе "Fort comme la mort" есть сокращенное изреченіе царя Соломона въ его "Пѣсни Пѣсней" — "L'amour est fort comme la mort", а по-русски— "Сильна любовь, какъ смерть". Слѣдовательно, если передавать на нашемъ языкѣ это заглавіе словомъ "сильна, какъ смерть", то надо подразумѣвать здѣсь только именно

Digitized by Google

любовь. И дъйствительно, здъсь изображается неистребимая живучесть чувства любви даже въ замирающемъ сердцъ старика.

Фабула романа, можно сказать, сшита бѣлыми нитками: знаменитый и уже старый живописецъ Оливье Бертенъ, долгіе годы живущій въ интимныхъ отношеніяхъ съ графиней Гильеруа, незамѣтно для себя влюбляется въ ея взрослую дочь Аннету, которая въ теченіе трехъ послѣднихъ лътъ передъ началомъ романа гостила въ деревнѣ у своей бабушки, и затъмъ вдругъ появилась въ Парижъ, вполнъ развитою и сформированною дъвушкою -- прелестною въ своей молодой красотв. Въ этихъ юныхъ чертахъ, схожихъ съ чертами матери, старый художникъ живо перечитывалъ свои лучшія воспоминанія невозвратнаго прошлаго и, мало-по-малу, возгорълся роковою, глубокою и неизлечимою любовью къ Аннетѣ. И вотъ, по этому простому плану, предъ нами развивается грустная и правдивая поэма запоздалой любви художника, ограбленнаго временемъ и уже отброшеннаго въ сторону безпощадною жизнью, которая несетъ свои лучшія радости новымъ поколѣніямъ. Понятно, что ни фабула, ни даже характеры выбранныхъ авторомъ лицъ не имъютъ особеннаго значенія при этой общей и вѣчной задачѣ. За то эта задача проведена Мопасаномъ со всею силою тонкой, обаятельной поэзіи. Безпомощное увядание Оливье Бертена и его давнишней подруги; устаръніе самаго таланта 23*

этого, нѣкогда знаменитаго художника, выходящаго теперь изъ моды, —истинно-юношеская чистота любви къ Аннетѣ этого стараго мужчины, видящаго со всѣхъ сторонъ окружающую его пропасть, черезъ которую никакія чудеса не приблизятъ его къ любимой дѣвушкѣ, и, наконецъ, наступающее затѣмъ безумное отчаяніе этого ветхаго сердца, разбитаго старостью, все это разсказано въ романѣ съ непередаваемымъ краснорѣчіемъ глубокаго вдохновенія.

Такой же артистическій трактать на заранфе выбранную тему мы встрѣчаемъ и въ романѣ "Наше сердце". Здѣсь Мопасанъ задался мыслью высказать, какіе утонченные запросы къ естественному чувству любви предъявляетъ наше время, по крайней мъръ, - въ культурномъ, изысканномъ кругу парижскаго общества. Женщина съ холоднымъ или, по выраженію Мопасана, "съ безрукимъ сердцемъ, не способнымъ на объятія", — женщина, артистически кокетливая и вѣчно поддерживающая нашу эстетическую требовательность сложнымъ искусствомъ своей ненаскучающей прелести, - женщина, не отдающаяся безвозвратно никому въ особенности и создающая вокругъ себя блестящую свиту выдающихся людей данной минуты, -вотъ какая женщина только и въ состояніи покорить скептическій, извърившійся, капризный и усталый вкусъ героя современныхъ романовъ. Такова именно мадамъ де-Бюрнъ, плънившая Андре Маріоля. Она завлекаетъ въ свой небольшой, избранный кружокъ самыя модныя извъстности Парижа въ сферѣ искусства, политики, науки и т. д. Никто не можетъ назвать себя ея избранникомъ, но всѣ къ ней прикованы. Ея маленькій салонъ убранъ съ величайшимъ изяществомъ; ея разговоръ уменъ и простъ, отзывчивъ и оригиналенъ. Эстетика ея туалета, благородный вкусъ въ выборѣ всѣхъ окружающихъ ее вещей, сдержанная прелесть ея манеръ-верхъ совершенства! Но никакихъ глубокихъ увлеченій сердца она не знаетъ, потому что рѣшительно все, что ее временно волновало и соблазняло, весьма скоро показывалось ей отцв тшимъ и банальнымъ. Она полюбила Маріоля, пожалуй, болѣе, нежели всѣхъ другихъ, но и въ этомъ чувствъ она не нашла увлеченія, которое бы ее захватило вполнѣ. А между тѣмъ, едва ли не эта именно ея особенность и прикрѣпила къ ней Маріоля на всю жизнь, потому что съ этой женщиной, какъ бы въчно ускользающей отъ него, Маріоль не видѣлъ возможности когдалибо дойти до насыщенія. Онъ попробовалъ было бѣжать отъ мадамъ де-Бюрнъ; онъ даже встрѣтилъ прекрасную дѣвушку изъ простого класса, молоденькую, хорошенькую, привязавшуюся къ нему всёмъ своимъ сердцемъ, --- нѣкую Элизабеть Ледрю, и онъ сошелся съ нею, и самъ полюбилъ ее; но при первомъ же возвращеніи къ нему мадамъ де-Бюрнъ, которая самоувѣренно и хладнокровно отнеслась къ его новой связи, — Маріоль съ покорною радостью

возвратился къ ея цъ́пямъ. Онъ ръ̀шилъ, что ему остается только одно: принадлежать объ̀имъ этимъ женщинамъ вмъ̀стъ̀—и на этомъ оканчивается романъ.

Таковы всё самыя общирныя, по размёрамъ, произведенія Мопасана, получившія названіе романовъ. Ни на чьи другіе романы они ни въ чемъ не похожи. Мы видѣли, что для каждаго новаго замысла писатель прибѣгалъ къ новымъ формамъ. И всё эти сочиненія никогда не забудутся, потому что они правдивы, просты, самобытны и прекрасны.

VII.

Но, не отдаваясь окончательно писанію романовъ, техникою которыхъ онъ уже вполнѣ овладѣлъ, Мопасанъ не переставалъ создавать свои краткіе очерки. Его новеллы были также изобильны. Мысль писателя постепенно углублялась во всевозможныя области жизни. Стали появляться разсказы самые пестрые: охотничьи, простонародные, политические, соціальные, фантастическіе, уголовные, военные и т. д. Страданіе людей сдѣлалось ему столь же близкимъ, какъ первоначально была ему близка молодая и цѣльная радость существованія. Преходимость и необъяснимая ничтожность всей этой, пльнившей его жизни теперь ясно давала себя чувствовать. "Равновъсіе Мопасана, — какъ выразился Зола, — поколебалось". Въ чемъ собственно

должно заключаться это равновѣсіе? Кто можетъ похвалиться тѣмъ, что онъ открылъ, наконецъ, возможность примириться со всѣмъ существующимъ и жить безъ всякой горечи, безъ всякаго терзанія надъ неразрѣшимыми вопросами ума и сердца? Взгляните, напримѣръ, на двухъ современныхъ властителей читающей публики: на Льва Толстого и Эмиля Зола. Какъ только пришлось одному изъ нихъ высказаться на счетъ сгоихъ идеаловъ жизни, какъ только Зола произнесъ передъ французскою молодежью рѣчь о *трудю*, — тотчасъ же другой изъ нихъ, т. е. Левъ Толстой, напечаталъ противоположное мнѣніе о цѣляхъ жизни и даже озаглавилъ свою статью "недъланіе".

И если писатель, любящій жизнь всѣми силами своего существа, въ то же время мучается ея сложнымъ, неразгаданнымъ смысломъ, означаетъ ли это, что этотъ писатель является прискорбнымъ и не заслуживающимъ изученія и подражанія "пессимистомъ?" И гдѣ они,—спрашивается,—тѣ "оптимисты", за которыми можно было бы пойти съ полнымъ довѣріемъ, какъ за нашими истинными спасителями въ нескончаемыхъ тревогахъ "моря житейскаго".

Какъ бы то ни было, но среди тѣхъ же заразительно-веселыхъ разсказовъ, у Мопасана все чаще начали попадаться скорбные сюжеты. Его міросозерцаніе, какъ я замѣтилъ еще вначалѣ, стало понемногу склоняться къ тургеневскому. Множество поэтическихъ этюдовъ было

имъ посвящено безслъдному исчезновенію любви, молодости, славы, множество горькихъ сожалёній было имъ высказано по повому ограниченности нашихъ чувствъ, бѣдности нашихъ умственныхъ средствъ и недоступности для насъ необъятныхъ горизонтовъ подавляющей насъ вселенной. Въ сердцъ поэта начала зарождаться щемящая жалость ко всему, что жило, суетилось, върило, блистало и погибло. Уже въ романъ "Бель-Ами" появились незабвенныя страницы, въ которыхъ поэтъ де-Вареннъ обращаеть ко всему ликующему и цвътущему Парижу свой глубоко-прочувствованный монологъ о смерти, какъ бы бросая эти слова на пиръ Валтасара и повторяя зловъщее пророчество: "Мани, факелъ, фарэсъ". Далъе, въ томъ же романъ, смерть, въ Каннъ, чахоточнаго Форестье описана такъ просто, искренно и реально, что этотъ эпизодъ невольно и глубоко захватываеть наше сердце. Затъмъ являются очерки: "Разбитый корабль", "Прощай", "Менуэтъ", "Жюли Роменъ", "Наши письма"-всѣ до единаго оплакивающія невозвратныя радости обманчивыхъ мечтаній, или-цълыя исчезнувшія жизни, или — поблекшіе моды и вкусы еще недавнихъ временъ, или--свъжія и горячія признанія давно позабытыхъ сердецъ. Одиночество, --- неизлечимое одиночество души этого обаятельно веселаго писателя — понемногу обрисовывается предъ нами, какъ его выдающаяся черта; даже холостой репертуаръ большинства

его игривыхъ созданій въ концѣ-концовъ обличаетъ въ немъ, хотя въ высшей степени страстную и чуткую, но за то-ничъмъ непоглотимую натуру, неподдающуюся сближенію ни съ къмъ. Онъ называетъ женщину--"великою ложью мечты" (le grand mensonge du rêve). Онъ пишетъ: "Она и я, -- вотъ, кажется, что сейчасъ мы составимъ съ ней одно существо. Но это сейчасъ никогда не наступаетъ-и послъ многихъ недъль ожиданія, надеждъ и ложной радости, я вдругъ, въ одно утро, вижу себя болѣе одинокимъ, чёмъ когда бы то ни было ранёе. Что бы мы ни придумывали, что бы мы ни дълали, какъ бы ни возгорались наши сердца, губы и объятія — мы навсегда останемся одинокими" (Solitude).

Рядомъ съ этимъ неразрѣшимые общественные вопросы волнують Мопасана; онъ рисуеть намъ нищаго-калъку и голоднаго бродягу, преслѣдуемаго жандармами ("Le gueux", "Le vagabond") и переполняеть наше сердце безсильнымъ сочувствіемъ къ преслъдуемымъ. Онъ изображаеть въ яркихъ новеллахъ безплодныя жестокости войны. Въ этомъ вопросѣ онъ настолько чуждъ шовинизма, что даже осмѣиваетъ французовъ, сочинившихъ самихъ однажды цѣлую эпопею блистательной побѣды по поводу заарестованія одного беззащитнаго, трусливаго, добродушнаго и голоднаго пруссака ("L'aventure de Walter Schnaffs"). Дикость, нищенская скупость и лукавость французскаго крестьянина вызываетъ у Мопасана цѣлый новый рядъ любопытныхъ и вѣрныхъ этюдовъ жизни. Поэтъ отчаивается, наконецъ, въ основахъ общественнаго устройства и въ идеалахъ ралигіи. Онъ пишетъ два замѣчательныхъ разсказа на эти двѣ темы, весьма ловко и впотнѣ реально приписывая свои собственныя мысли двумъ маніакамъ, развивающимъ, каждый порознь, свои теоріи съ необычайною тонкостью.

Первый изъ этихъ разсказовъ озаглавленъ "Сумасшедшій" (Un fou). Послѣ смерти одного изъ наиболѣе уважаемыхъ во Франціи предсъдателей суда, вдругъ открываются записки этого безупречнаго судьи, изъ которыхъ оказывается. что онъ совершилъ нѣсколько систематически обдуманныхъ и превосходно скрытыхъ убійствъ. Этотъ человѣкъ пришелъ къ убѣжденію, что убійство-законъ природы и что одна лишь необходимость совмъстной общественной жизни заклеймила убійство именемъ преступленія. Но такъ какъ мы просто не могли бы жить, не слъдуя этому сильному инстинкту, то мы И ублажаемъ себя отъ времени до времени войной, когда наступаетъ настоящая оргія утопанія въ крови и когда всёхъ тёхъ, кто производить эту челов'вческую р'взню, украшають в'внками и наградами. И вотъ какой аргументаціей безумный судья объясняеть свою манію:

"Человѣческое существо,—что это такое? Все и ничего. По своей мысли, человѣкъ есть отраженіе всего. По своей памяти и своимъ познаніямъ, онъ есть—сокращенный міръ, всю исторію котораго онъ носитъ въ себѣ. Будучи зеркаломъ вещей и зеркаломъ событій, каждое человъческое существо дѣлается маленькою вселенною во вселенной.

"Но отправляйтесь путешествовать; вы увидите, сколько различныхъ народовъ кишитъ на землѣ и тогда отдѣльный человѣкъ дѣлается ничёмъ, решительно ничёмъ! Садитесь въ лодку, отъ взжайте отъ берега, покрытаго толпою, и вскорѣ вы не увидите рѣшительно ничего, кромѣ темной полоски земли. Непримѣтное человѣческое существо совсѣмъ исчезаетъ, до такой степени оно мало, ничтожно. Пробъгите всю Европу въ курьерскомъ повздв и смотрите изъ своего окна: вездъ-люди, все люди, неисчислимые, неизвъстные, кишащіе на поляхъ и на улицахъ. Поъзжайте въ Индію, въ Китай--и вы увидите еще цълые милліарды людей, которые рождаются, живуть и умирають, не оставляя послё себя болёе слёда, чёмъ муравей, раздавленный на дорогѣ...

"Да, объёзжайте весь свёть и смотрите, сколько ихъ всюду кишить—этихъ людей, неисчислимыхъ и неизвёстныхъ. Неизвёстныхъ? А! вотъ, наконецъ, разгадка задачи. Убійство только потому преступленіе, что мы занумеровали людей! Когда они рождаются, ихъ записываютъ, называютъ и крестятъ. Законъ беретъ ихъ въ свою власть: вотъ въ чемъ дъло! Существо, нигдъ не записанное, совсъмъ не считается: убейте его въ пустынѣ, въ горахъ или въ долинѣ, —что за важность! Природа любитъ смерть; она не станетъ наказывать.

"Но воть что ужь дъйствительно священно такъ это метрика. Вотъ! Она только и защищаетъ человъка. Живое существо дълается священнымъ только потому, что оно записано въ актахъ гражданскихъ. Уваженіе къ метрикъ къ этому законному богу! На колъни!

"Государство можетъ убивать, потому что оно можетъ измѣнять, по своему усмотрѣнію, свои записи. Когда оно предписываетъ зарѣзать на войнѣ двѣсти тысячъ своихъ собственныхъ людей, оно ихъ просто вычеркиваетъ изъ списковъ—руками своихъ писцовъ. И кончено. Зато мы, которые не имѣемъ права измѣнять оффиціальныхъ актовъ, мы должны уважать чужую жизнь. Метрика, прославленное божество, царящее въ храмахъ городского и сельскаго управленія, — падаю передъ тобою ницъ! Ты могущественнѣе самой природы. Ха! ха!"...

Такова дикая и въ то же время своеобразнологическая иронія этого мопасановскаго безумца.

Въ pendant къ этому маніаку Мопасанъ создалъ еще другого, по имени Муаронъ (Moiron). Тотъ помѣшался на маніи убивать дѣтей, будучи, однако, отъ природы чрезвычайно нѣжнымъ и добрымъ человѣкомъ. Случилось это послѣ того, какъ онъ, потерявъ сразу трехъ своихъ дѣтей, которыхъ онъ любилъ, какъ ни одинъ еще отецъ или мать не любили своихъ.

Digitized by Google

N,

"Я просто съума сошелъ, — говоритъ Муаронъ.—Они всѣ умерли. За что? За что? Чѣмъ я это заслужилъ? Я возмутился, возмутился неистово — и потомъ вдругъ я раскрылъ глаза, какъ бы въ минуту внезапнаго пробужденія"...

Но здѣсь Муаронъ вдается въ богохульство. Онъ вдругъ перемѣнилъ свое возэрѣніе на божество; онъ пришелъ къ заключенію, что миссія божества состоитъ именно въ причиненіи смерти—и онъ сталъ конкуррировать съ этимъ истребителемъ жизни, отнимая у своего противника часть добычи, часть наслажденія.

Муаронъ былъ приговоренъ къ казни и затѣмъ помилованъ, благодаря умышленно-лживой и чрезвычайно искусно поддѣлазной исповѣди передъ тюремнымъ священникомъ. Въ свои послѣднія минуты, умирая въ страшныхъ мученіяхъ, — онъ призвалъ къ своему смертному одру своего обвинителя на судѣ и разсказалъ ему всю правду.

И что бы мы ни думали объ этихъ двухъ фантастическихъ этюдахъ — мы никакъ не можемъ имъ отказать въ необычайной яркости и въ глубинъ того чувства, которое продиктовало ихъ поэту...

И не видите ли вы въ этихъ произведеніяхъ – двухъ оригинальныхъ и рельефныхъ варіацій на ту же тему, которую взялъ Тургеневъ для своихъ "Призраковъ", гдѣ онъ изобразилъ смерть, какъ ненавистную владычицу всего существующаго?

Затъмъ въ разсказахъ Мопасана выступаютъ психіатрическіе этюды. Большинство этихъ произведеній замаскировывають въ реальной и художественной формѣ собственную поэтическую философію писателя. Чрезвычайно характеренъ очеркъ, озаглавленный "Un cas de divorce", въ которомъ Мопасанъ рисуетъ безумца, сходнаго съ Людовикомъ II баварскимъ. Здъсь представленъ, въ сочувственномъ освъщения, одинъ несчастный, помъшанный на эстетикъ и оскорбленный въ своихъ идеалахъ-грязными и некрасивыми приспособленіями природы для осушествленія челов'теской любви. Онъ отказывается отъ своей молодой, прелестной жены и влюбляется въ цвѣты, способъ размноженія которыхъ представляется ему чистымъ, красивымъ и даже плѣнительнымъ. И тогда онъ заводить роскошныя теплицы, въ которыхъ, какъ очарованный, проводить дни и ночи. Прирожденное и неотвратимое поклонение Мопасана красотѣ, какъ нельзя лучше сказалось въ этой милой фантазіи.

Вскорѣ, впрочемъ, появились произведенія Мопасана, какъ бы взятыя уже цѣликомъ изъ непосредственно пережитаго авторомъ психическаго недуга. Къ такимъ очеркамъ слѣдуетъ отнести: "Lui" и "Horla" ("Онъ?" и "Орля") два разсказа, повѣствующіе о болѣзненномъ одиночествѣ, доводящемъ автора до галлюцинацій о своемъ раздвоеніи,—о страшномъ двойникѣ, проникающемъ въ его жилище. Мучительный процессъ "навязчивыхъ идей"—этихъ мутныхъ пятенъ на ясномъ и сильномъ мозгу переданъ здѣсь съ необыкновенно - выдержаннымъ самонаблюденіемъ. Невыносимое смущеніе овладѣваетъ вами отъ этой холодной правды въ передачѣ величайшаго несчастія, грозящаго человѣческой мысли... И только теперь, когда мы знаемъ трагическій исходъ, погубившій Мопасана, —мы можемъ оцѣнить, насколько были превосходно выработаны, велики и непогрѣшимы его художественныя силы, т. е. съ какою удивительною вѣрностью онъ рисовалъ все переживаемое.

И едва только приступы болѣзни иснезали, какъ тотчасъ же Мопасанъ возвращался къ своей обычно-радостной живописи, —и не далѣе, какъ въ томъ же сборникѣ, въ которомъ на первомъ планѣ напечатанъ ужасный "Horla"—мы встрѣчаемъ самыя смѣшныя сцены изъ амурной жизни Парижа, въ родѣ "Sauvée" ("Спасена"), "Le signe ("Сигналъ") и т. д.

Но затѣмъ—наступила катастрофа. Наслѣдственный недугъ сумасшествія, столь же случайный, какъ всякая другая болѣзнь — убилъ поэта, несмотря на всѣ еге предосторожности. Быть можетъ, — скажутъ гигіенисты, — ему бы слѣдовало поменьше писать и тогда бы онъ прожилъ дольше. Удивительный рецепть! Но тогда бы Мопасанъ не успѣлъ написать того, что составляетъ его завѣщаніе человѣчеству. А какъ же человѣку не думать о своемъ завѣщаніи?..

VIII.

У насъ еще остаются очень важные документы для ближайшаго знакомства съ Мопасаномъ: это—его путешествія. Въ трехъ книгахъ: "Подъ солнцемъ", "Бродячая жизнь" и "На водъ" — Мопасанъ уже открыто бесъдуетъ съ читателемъ отъ себя и о себъ самомъ. Въ этихъ произведеніяхъ еще рельефнъе выразилось его полное владычество надъ формой, которая всегда такъ гибко подчинялась его намъреніямъ. Первая изъ этихъ книгъ вышла у него монотонною, какъ пустыня, вторая — пестрою, какъ яркіе пейзажи юга, и третья—задумчивою, какъ тихое, безбрежное море.

Мы убъждаемся изъ путешествій Мопасана въ его безпокойной непосидчивости и въ его неутомимой жаждъ свъжихъ впечатлъній. Въ предисловіи къ поъздкъ въ Африку, предпринятой имъ въ 1881 году, Мопасанъ пишетъ:

"Жизнь, столь краткая и столь длинная, иногда дълается невыносимою. Она развертывается передъ вами, всегда одинаковая, со смертью въ концъ. Ее невозможно ни остановить, ни измънить, ни постигнуть... Во что бы мы ни върили, что бы ни замышляли, — мы умремъ. И вотъ, иногда кажется, что мы можемъ умереть завтра, не извъдавъ ничего новаго, хотя бы мы уже и пресытились всъмъ тъмъ, что узнали раньше... Тогда чувствуешь себя какъ бы раздавленнымъ этимъ ощущеніемъ "вѣчной ничтожности всего", раздавленнымъ безсиліемъ человѣка и однообразіемъ всѣхъ дѣйствій"...

"Тогда встаешь, ходишь по комнать и садишься у окна. Видишь людей, живущихъ противъ тебя, за завтракомъ, какъ видълъ ихъ вчера и увидишь завтра: отецъ, мать и четверо дътей. Года три тому назадъ, тамъ была еще бабушка. Теперь ея ужъ нътъ. Отецъ сильно измънился съ тъхъ поръ, какъ мы стали сосъдями. Онъ этого не замъчаетъ; онъ кажется совсъмъ довольнымъ, даже—счастливымъ. Глупецъ..."

"И это жизнь! Четыре стѣны, двѣ двери, окно, кровать, стулья и столъ — вотъ и все. О, темница! темница! Каждое помѣщеніе, въ которомъ долго живешь, становится тюрьмою. О, оѣжать, ѣхать въ дорогу! бѣжать отъ знакомыхъ мѣстъ, отъ тѣхъ же людей, отъ ихъ движеній, всегда одинаковыхъ въ одни и тѣ же часы, и въ особенности — отъ ихъ всегда одинаковыхъ мыслей!.."

И Мопасанъ уѣхалъ въ глубину Африки. Онъ далъ намъ вѣрную картину страны, "сожженной солнцемъ". Его впечатлѣнія почти не варьируются. Его мысль и воображеніе почти не работаютъ. Онъ только рисуетъ, отчетливо и вѣрно рисуетъ все, что видитъ.

Въ серединъ книги вы находите одну стра-

24

ницу, которая объясняеть вамъ странную мертвенность этого произведенія.

"Если бы вы знали, до какой степени становишься далекимъ отъ міра, отъ жизни, далекимъ ото всего—подъ этой маленькой и низкой палаткой, которая, черезъ свои дырки, показываетъ вамъ звъзды, а—изъ-за своихъ приподнятыхъ краевъ—громадную страну безплодныхъ песковъ!"

"Эта страна монотонна, вездѣ одна и та же, повсюду—выжжена и мертва; но, находясь въ ней,—ничего не желаешь, ни о чемъ не сожалѣешь и ни къ чему не стремишься. Этотъ спокойный пейзажъ, залитый солнцемъ и опустошенный, какъ бы вполнѣ достаточенъ для вашей мысли, для вашихъ чувствъ и мечтаній, потому что онъ законченъ, онъ абсолютенъ II, слѣдовательно, его невозможно себѣ представить никакимъ инымъ. Рѣдкая зелень даже оскорбляетъ вашъ глазъ, какъ нѣчто поддѣльное, раздражеющее и рѣзкое"...

"И понемногу пустыня завладъваетъ вашею мыслью, точно такъ же, какъ ея жестокое солнце обжигаетъ вашу кожу; и тогда вамъ кажется, что вы сами готовы превратиться въ номада, подобно ея обитателямъ, которые, переъзжая съ мъста на мъсто, никогда не мъняютъ родины, среди зтихъ нескончаемыхъ земель, почти во всемъ сходныхъ между собою"...

Путешествіе это было мучительно и не богато картинами, но Мопасанъ такъ любилъ нашъ

Digitized by Google

- 371 -

міръ, такъ интересовался имъ, и былъ настолько крѣпокъ физически, что сдѣлалъ свою поѣздку очень легко и оставилъ намъ, чудесныя въ своей простотѣ, живыя описанія всего видѣннаго.

Въ 1889 году Монасанъ заказалъ себѣ собственную яхту, окрестилъ ее именемъ своего романа "Бель-Ами", запасся двумя матросами и отправился, въ качествѣ хозяина этого судна, въ плаваніе по Средиземному морю. Послѣ смерти поэта, какъ было сказано въ "Figaro", кто-то купилъ за безцѣнокъ эту знаменитую яхту.

Мопасанъ уѣхалъ на ней отъ всемірной выставки, чувствуя усталость и скуку. Онъ испытывалъ отвращеніе къ толпѣ, къ Парижу и въ особенности къ башнѣ Эйфеля. Онъ называетъ ее "высокою и тощею пирамидою изъ желѣзныхъ лѣстницъ,—неуклюжимъ, гигантскимъ скелетомъ, который имѣетъ основаніе, какъ бы сдѣланное для поддержанія могучей постройки циклоповъ, и который вдругъ разрѣшается на своей вершинѣ смѣшнымъ, узенькимъ профилемъ фабричной трубы".

Поэтъ былъ огорченъ исчезновеніемъ благороднаго вкуса въ искусствѣ. Онъ увидѣлъ вокругъ себя неудержимый наплывъ демократіи съ ея законнымъ требованіемъ жизненныхъ удобствъ. Онъ нисколько не протестуетъ противъ наступающаго царства науки, но онъ различаетъ въ самой этой наукѣ коммерческіе раз-24* счеты. Онъ грустить объ исчезновеніи науки Галилея, Ньютона, Паскаля. "Тоть геній, — говориль онъ, — который однимъ взмахомъ своей мысли, отъ паденія яблока перешелъ кь открытію великаго закона, управляющаго мірами, не кажется ли онъ рожденнымъ отъ съмени, болѣе божественнаго, нежели проницательный умъ американскаго изобрѣтателя — этого волшебнаго фабриканта звонковъ, разговорныхъ трубокъ и освѣтительныхъ аппаратовъ?"

И не видите ли вы въ этихъ сужденіяхъ Мопасана новыхъ доказательствъ его духовнаго родства съ Тургеневымъ, который съ нескрываемымъ огорченіемъ предвидѣлъ въ ближайшемъ будущемъ нарожденіе натуръ "только полезныхъ, но не плѣнительныхъ?"

На своей яхть Мопасань отправился вь Геную и Сицилію и осмотръль всъ ихъ старинныя художественныя сокровища. Поклоненіе Мопасана возвышенной красоть въ искусствъ совершенно открыто выдается во всей этой книгъ. Въ ней же повторяется и возаръніе Мопасана на любовь къ женщинъ, высказанное уже въ отрывкъ "Solitude". Возарънія эти вновь заставляютъ насъ причислить нашего современнаго Боккачіо ко всъмъ предшествовавшимъ лирикамъ.

Есть женщины, одинъ взглядъ которыхъ, пишетъ Мопасанъ, — сообщаетъ намъ мечту о неосуществимой и таинственной нѣжности чувствъ. Въ этихъ женщинахъ всегда ищешь чего-то другого, позади того, что въ нихъ есть, ибо намъ кажется, что онѣ въ себѣ содержать и выражають собою нѣчто изъ неуловимаго идеала. Мы преслѣдуемъ этотъ идеалъ — никогда не достигая его — позади всѣхъ неожиданностей красоты, предполагая глубокую мысль въ чудномъ взорѣ, тогда какъ этотъ взоръ есть только оттѣнокъ радужной оболочки глаза, мы видимъ этотъ идеалъ въ прелести улыбки, тогда какъ онъ зависитъ отъ простой складки губъ и минутнаго блеска зубовъ, мы его чувствуемъ въ граціи движеній, тогда какъ онѣ порождены однимъ случаемъ и гармоніею формъ.

"Каждое женское существо, передъ которымъ воспламеняются поэты, есть только символъ существа таинственнаго, но волшебнаго: того существа, которое они восивваютъ---эти пвецы мечтаній. Она-это живая, боготворимая ими женщина — похожа на раскрашенную статую, изображающую божество, которому поклоняются люди? Гдв это божество? Кто это божество? Въ какой части неба живетъ она-та невъдомая женщина, которую всв они боготворили, эти безумцы, отъ перваго до послъдняго? Ибо какъ только они прикасаются къ рукѣ, отвѣчающей на ихъ пожатіе, ихъ душа улетаетъ въ незримое сновидъніе, далеко отъ плотской дъйствительности... Глазъ ихъ любовницы есть не болѣе, какъ окно, въ которое онъ заглядываютъ лишь для того, чтобы увидъть въ ней рай идеальной любви"...

Музеи, руины, храмы, дворцы Генуи и Сицилія описаны Мопасаномъ, въ его путешествіи, съ чувствомъ религіозной любви къ ихъ благородной прелести. Въ той же книгѣ Мопасанъ помѣстилъ путевыя впечатлѣнія своей поѣздки въ Тунисъ и Херуанъ.

Послъдняя книга путешествій Мопасана называется "На водъ". Въ этотъ разъ, отправившись въ Средиземное море на той же яхтъ "Бель-Ами", Мопасанъ уже не искалъ никакихъ новыхъ береговъ; напротивъ, онъ даже избъгалъ причаливать къ какому-нибудь клочку земли и, уединившись на своей яхть съ двумя матросами, плавалъ безъ цѣли, плавалъ какъ можно долёе въ открытомъ морѣ, изучая только теченія вътра и предаваясь въ этомъ безлюдномъ и свѣжемъ просторѣ своимъ грустнымъ думамъ о жизни. Онъ смотрълъ издали на берега и все, что оттуда къ нему долетало-звонъ колокола, мелодіи оркестра-отзывались то мягкимъ, то мучительнымъ и болѣзненнымъ впечатлѣніемъ на его натянутыхъ и до крайности тревожныхъ нервахъ. Онъ пишетъ, что такимъ образомъ онъ наблюдалъ съ своей яхты "матеріальную жизнь міра, ту жизнь, которая простирается до звъздъ и тайна которой составляетъ наше великое терзаніе"...

Необычайно искреннею печалью проникнуты эти чудныя лирическія страницы. Въ чуткомъ одиночествѣ, думы поэта отдаются своему свободному теченію и, блуждая отъ предмета къ предмету, затрогивають важныйшие для его сердца вопросы. И мы видимъ, что глубокое, нъжное и сострадательное сердце уже разбито; что теперь у этого волшебнаго воображенія, исчерпаннаго до конца, уже подръзаны крылья. Мопасанъ уже отчаивается и въ своемъ призваніи: "человѣкъ,—пишетъ онъ,—никогда не мъняется, а потому искусство писателей безплодно и неподвижно". "Человъческая мысль,какъ только она достигнетъ своихъ точно обозначенныхъ, узкихъ, непреступаемыхъ предѣловъ, тотчасъ же возвращается назадъ, какъ лошадь въ циркъ, какъ муха въ закупоренной бутылкв, гдв она ввчно бьется о тв же ствнки". Нельзя перечислить и отмѣтить всѣхъ плѣнительно-скорбныхъ монологовъ этой книги. А между тъмъ привязанность къ простой и здоровой животной жизни еще оказывается неистребленною въ Мопасанъ. Онъ жалуется на свой "безпокойный умъ, измученный, гипертрофированный работою" и говоритъ, что у него. однако, выдаются дни, когда онъ любитъ небо, какъ птица, любитъ лёсъ, какъ волкъ, любитъ высокую траву, чтобы въ ней зарыться, и прохладную воду, чтобы въ ней поплавать, какъ рыба.

Это произведеніе Мопасана оставляеть на сердцё читателя ту особую щемящую боль, когда вы вдругъ уже не предвидите для любимаго человёка никакого просвёта въ будущемъ. Отъ всей этой книги какъ бы уже вёеть предчувствіемъ близкаго конца... И здѣсь мы разстаемся съ поэтомъ, уже вполнѣ убѣжденные, что это былъ дѣйствительно поэтъ.

Мнѣ хотѣлось указать въ настоящемъ очеркѣ на тотъ любопытный фактъ, что въ послѣднюю половину вѣка, не имѣя ни одного значительнаго "поэта въ стихахъ", мы уже имѣемъ третьяго значительнаго "поэта въ прозѣ", послѣ Флобэра и Тургенева.

Еще Лермонтовъ — дъйствительно "послъдній изъ могиканъ" нашей поэзіи, сказалъ:

> Умчался вѣкъ эпическихъ поэмъ, И повѣсти въ стихахъ пришли въ упадокъ... Кто виноватъ, кто правъ, ужъ я не знаю...

Эти слова были сказаны въ наброскахъ послъдней недоконченной поэмы Лермонтова "Сказка для дътей", и съ той минуты, дъйствительно, точно какой-то моръ истребилъ большія поэмы. Ихъ больше нътъ и не было...

Конечно, все можетъ случиться... но согласитесь, что какъ-то не върится, чтобы въ европейской культуръ вновь появилась великая поэма въ стихахъ, изображающая большія человъческія фигуры, фантастическія или реальныя, какъ Чайльдъ Гарольдъ, Фаустъ, Онъгинъ, Демонъ, Конрадъ Валленродъ и т. д. Быть можетъ,

> Лѣта къ суровой прозѣ клонятъ; Лѣта шалунью-риему гонятъ...

Быть можетъ, наша культура состарилась, а риемы, какъ извъстно, болъе свойственны юности.

Но какъ бы тамъ ни было, поэзія большихъ сюжетовъ, поэзія въ изображеніи значительныхъ страстей и характеровъ теперь — и едва ли не безповоротно-облеклась въ прозу. И, пожалуй, правъ французскій критикъ Брюнетьеръ, утверждающій, что лирическая форма останется отнынѣ только для воспѣванія міра, а не людейдля поэзіи (по терминологіи Брюнетьера) объективной, а не субъективной. Противъ основной мысли Брюнетьера я не спорю. Но его терминологія, мнѣ кажется, — не вѣрна; людскіе характеры не будутъ предметомъ лирики; но самыя нѣжныя и неуловимыя индивидуальныя ощущенія-всѣ миражи мысли и чувства-вѣроятно, навсегда останутся живымъ достояніемъ одной только лирики въ прежнемъ ея значеніи, т. е. достояніемъ риемованныхъ мелодій.

Но чѣмъ же, спрашивается, такимъ особеннымъ отмѣченъ языкъ названныхъ мною "поэтовъ въ прозѣ", какъ бы выдѣленныхъ въ совершенно изолированную группу?..

Это—языкъ простой, прекрасный и вѣчный, болѣе я ничего не могу сказать. Трудно вполнѣ фиксировать его свойства, Я, напримѣръ, отличаю его по инстинкту столь же ясно, какъ я бы отличилъ въ разговорѣ русскую рѣчь отъ арабской. Да и въ самомъ дѣлѣ: почему до сихъ поръ свѣжа "Тамань" Лермонтова? Почему до сихъ поръ безупречны фантастическія новеллы Эдгара Поэ? Посредствомъ такого же дивнаго языка Мопасанъ набальзамировалъ всѣ свои произведенія, онъ ихъ пропиталъ насквозь драгоцѣнными ароматами поэзіи, онъ сдѣлалъ ихъ нетлѣнными.

Поэть — говоря языкомъ технологовъ — есть фонографъ своей эпохи. Въ этомъ его великая сила. Исчезнувшіе въка остались намъ близкими, только благодаря голосу поэтовъ. И если прежде мы воспринимали минувшее только въ пъсняхъ лириковъ, то теперь грядущія поколѣнія найдуть это увъковъченное прошлое и на страницахъ поэтовъ-прозаиковъ.

Возьмите другихъ прозаиковъ рядомъ съ Мопасаномъ. Можно предвидѣть, что Зола выйдетъ изъ моды, что Додэ и Гонкуры потеряютъ своихъ читателей. Но трудно вообразить себѣ, чтобы созданія Мопасана перестали быть интересными и живыми.

Исторія всего человѣчества какъ будто бы проникнута тѣмъ же инстинктомъ самосохраненія, какъ и отдѣльныя личности. Она отъ времени до времени непремѣнно создаетъ дарованія, которыя живьемъ сохраняютъ для будущаго отдѣльные періоды нашей культуры. Такимъ избранникомъ за тѣ десять или пятнадцать лѣтъ, въ которыя онъ писалъ,—былъ Мопасанъ. Въ теченіе этой небольшой — но своеобразной эпохи,—его голосъ покрылъ все остальные голоса.

Digitized by Google

Черезъ посредство этого таланта всѣ ближайшіе, недавно минувшіе года нашего времени въ яркомъ асвъщении воскреснутъ передъ нашими потомками. Жажда жизни и красоты, при горькомъ сознаніи, что прекрасныя формы природы оказываются для всёхъ нись лишь пустыми билетами безнадежной лотереи; мелочность и безцвътность нашихъ дълъ, скрытая въ глубинъ всѣхъ насъ доброта и сердечность, совершенно безсильныя передъ роковыми и сложными задачами дъйствительности; наша чувственность, объясняемая утратою духовныхъ радостеп, -- върная картина всего нашего быта, --все это отразилось на страницахъ Мопасана, какъ ни у одного изъ современныхъ ему писателей.

Выше я сблизилъ Мопасана съ Тургеневымъ и мотивировалъ это сближеніе. Но между ними есть глубокая разница расы и времени. Въ изображеніи радостей жизни Мопасанъ гораздо цѣльнѣе: онъ умѣетъ воспринимать ихъ безъ того внутренняго раздвоенія, которое непрестанно мутитъ Тургенева. Зато въ своемъ отчаяніи Мопасанъ мужественнѣе, суше и горше Тургенева, потому что онъ ничѣмъ себя не баюкаетъ и не умѣетъ уплывать на той неуловимой волнѣ мечтаній (хотя бы грустныхъ), которая всегда какъ бы утоляетъ или, по крайней мѣрѣ, гармонизируетъ тургеневскую тоску.

Живому дорого все живое. Поэтому, въроятно, какъ я уже сказалъ-радостныя картины

Digitized by Google

безпечныхъ приключеній любви переживуть всѣ прочія созданія Мопасана. Но тотъ, кто познасъ авторомъ исключительно по его комится произведеніямъ въ этомъ родѣ, — пожелаетъ прочесть и все остальное. Читатель сумветь оцёнить всегда содержательные замыслы автора, его умѣнье поддерживать, съ величайшимъ тактомъ, сразу возбужденное любопытство, а также — его благородную правду, его теплыя краски въ самой манеръ изображать дъйствительность. И тогда читатель ознакомится съ личностью художника до конца, т. е. почувствуеть и внутреннюю скорбь того сердца, которое питало своею кровью эти неотразимо милые и свътлые этюды радостныхъ явленій жизни. И позади празднично-безпечной фигуры современнаго Боккачіо читатель различить грустную и нѣжную тѣнь безутѣшнаго мечтателя. Впрочемъ, кажется, въ большинствѣ случаевъ, такою именно и бываетъ сокровенная сущность тѣхъ дарованій, которыя такъ волшебно затрагиваютъ самые комическіе, самые веселящіе мотивы жизни. Не такимъ ли страдальцемъ, въ глубинѣ своего сердца, былъ и нашъ Гоголь?..

Мопасанъ (о чемъ уже было сказано) изобраизлъ совершенно трезвою кистью, въ двухъ своихъ разсказахъ, приступы своей душевной болѣзни: но затѣмъ, во всемъ остальномъ, что онъ напечаталъ, Мопасанъ всегда былъ вполнѣ намъ доступною и глубоко-содержательною человѣческою натурою. Онъ неустанно кипѣлъ, въ своемъ творчествъ, но не какъ будущій душевно-больной, а какъ ясная и чувствительная душа, одаренная геніальнымъ содержаніемъ,какъ душа, неудержимо-влекомая къ безостановочному выраженію своего сильнаго и д'ятельнаго внутренняго міра. И подъ конецъ Мопасанъ какъ бы почувствовалъ роковую ненасытность того пламени, которое его сжигало. "Каждый художникъ, — писалъ онъ въ "La vie errante",-стремится проникнуть въ недоступпую область невъдомыхъ намъ чувствъ, терзая, насилуя и даже совсѣмъ истощая механизмъ своей мысли. Тѣ, которыхъ убилъ ихъ собственный мозгъ: Гейне, Боделэръ, Бальзакъ, Байронъ, вѣчно блуждавшій въ поискахъ смерти и неутъшный въ томъ ужасномъ горъ, что онъ родился великимъ поэтомъ, Мюссэ, Жюль де-Гонкуръ и многіе другіе, развѣ всѣ они не были разбиты однимъ и тёмъ же усиліемъ опрокинуть матеріальную преграду, которая вѣчно держить въ тюрьмъ человъческую мысль?.."

Монасанъ погибъ въ той же избранной компаніи. Онъ даже назвалъ въ ней тъхъ двухъ поэтовъ, съ которыми я его сближаю – Гейне и Мюссе.

Если бы обязательная, по литературному этикету, скромность и не позволяла мнв положиться на мое собственное мнвніе о Мопасань, то я имвю прекрасный случай выдвинуть впереди себя общепризнанные въ печати авторптеты. Я укажу на то, что авторъ "Крейцеровой сонаты", народникъ, нравоучитель и вегетаріанецъ—Левъ Толстой приложилъ свое имя къ изданію избранныхъ разсказовъ яко бы фривольнаго и чувственнаго Мопасана, и что другой писатель, изъ нашихъ облюбованныхъ мастеровъ, Д. В. Григоровичъ, послѣ своего пятидесятилѣтняго юбилея, почелъ для себя за художественное наслажденіе перевести, какъ образцовое произведеніе, одинъ изъ этюдовъ Мопасана "Clair de lune".

Полтора года прожилъ Мопасанъ въ больницѣ, пораженный параличемъ мозга и, не возвращаясь къ сознанію, умеръ въ Парижѣ, 23-го іюня (5-го іюля) 1893 года. На его похоронахъ присутствовало не болѣе двухсотъ человѣкъ, друзей и писателей. Онъ погребенъ на кладбищѣ Монпарнассъ.

И какъ бы ни были скромны эти похороны, я съ увъренность предсказываю, что въ томъ отдаленномъ будущемъ, когда умретъ самый французскій языкъ, Мопасанъ останется живъ и причислится къ въчнымъ классическимъ писателямъ древней Франціи.

1893.



КНИГА БАШКИРЦЕВОЙ.

I.

Вотъ книга единственная, которая никогда ⊀ еще не имѣла себѣ подобныхъ и едва ли когданибудь повторится. Мы знаемъ много исповъ-**ЛНЕВНИКОВЪ** воспоминаній. Большею дей. И частью въ этихъ вещахъ авторы выступаютъ разсказчики одного какого-нибудь или какъ періода своей жизни, или же какъ отдаленные наблюдатели и судьи своего прошедшаго. Такія автобіографическія записки всегда имѣють отрывочный характеръ. Но чтобы кто-нибудь, ранфе Башкирцевой, начиная съ дътскихъ лътъ, сталъ записывать свою жизнь непрерывно, всегда по горячимъ слъдамъ, и довелъ бы эту книгу, полную книгу своей жизни, до самой кончины, и при этомъ создалъ цѣльный и сильный психологическій образъ-этого еще никогда не было.

Подобный дневникъ имъетъ необычайную документальную цънность, совершенно независимо отъ нашего сужденія о самой личности его героини. Какъ фактъ дъйствительности, онъ никогда не потеряетъ своего интереса. И его никогда нельзя будетъ вычеркнуть изъ всегда намъ близкой исторіи человъческихъ страстей и страданій.

Башкирцева еще въ дѣтскомъ возрастѣ (будьте поэтому снисходительны къ ея преувеличеніямъ) пишетъ: "Читайте же это, добрые люди, и поучайтесь! Этотъ дневникъ полезнѣе и поучительнѣе всѣхъ рукописей, какія только были, есть и будутъ. Это женщина со всѣми ея мыслями и надеждами, съ ея ошибками, низостями, прелестями, горестями, радостями. Я еще не женщина вполнѣ, но я ею буду. Меня можно будетъ прослѣдить отъ дѣтства до смерти. А жизнь человѣческаго существа, его цѣлая жизнь, безъ маскировки и лжи, всегда есть вещь великая и любопытная".

Не породить ли дневникъ Башкирцевой нежелательныхъ подражаній? Не стануть ли вслъ́дъ за нею и многіе другіе искать путей къ извъ́стности посредствомъ простой передачи своей жизни? И не вытъ́снить ли подобная незамысловатая литература чудесныхъ произведеній художественнаго вымысла?

Нѣтъ. Подражать Башкирцевой было бы очень трудно. Въ сущности каждый писатель воплощаетъ свою личность въ тѣхъ или другихъ своихъ образахъ. Но чрезвычайно рѣдки случаи, когда бы фокусъ зрѣнія писателя былъ такъ напряженно направленъ исключительно на одного себя, какъ у Башкирцевой. Поэтому едва ли который нибудь изъ нихъ въ состояніи цередать себя вполнѣ—одного себя и ничего бодѣе. Это во-первыхъ.

А во-вторыхъ, у Башкирцевой была неизбъжная потребность создать свою книгу. Ей положительно диктовала судьба. Башкирцевой некуда было дёться отъ этой роковой потребности самоизображенія, потому что, съ первыхъ же проблесковъ сознанія, она такъ неотразимо убѣдилась въ своей значительности и превосходствѣ, что для нея было немыслимо пройти безслъдною. И рядомъ съ этимъ, раннее предчувствіе ранней смерти инстинктивно заставило ее торопиться въ дорогу къ славъ. Она была создана совершенно исключительно и она продълала свой быстрый и блестящій путь въ этой жизни съ самоувъренностью и безстрашіемъ истинной сонамбулы. Она какъ бы сознавала свой долгъ передать свою личность потомству. Въ этомъ отношении у нея не было никакихъ колебаній. Ее окрыляла на это дѣло какая-то болѣзненная экзальтація. И въ результатѣ-ея необычайно яркая личность сохранилась въ ея запискахъ во весь рость, -- сохранилась въ видъ незабвеннаго, вполнъ знакомаго намъ существа.

Такимъ образомъ, подлинная повъсть одной человъческой жизни, —та интересная книга, которой давно ожидали въ искусствъ, — написана впервые Башкирцевой. Книга эта оказалась лишенною той отдълки, той занимательности, той угодливой планировки матеріала, какія неиз-25

бъжно встръчаются въ произведеніяхъ сочиненныхъ, хотя бы авторами этихъ произведеній были самые завзятые натуралисты. Есть въ книгъ страницы безцвътныя, какъ сърые будни: есть факты ничтожные, какъ житейскія мелочи. передаваемыя въ какой-нибудь частной перепискѣ; есть иногда утомительныя по своей повторяемости и однообразію дёловыя замётки, какъ напримъръ, замътки Башкирцевой о ходъ ея уроковъ въ рисовальной школѣ. Но все это, будучи подлиннымъ и несомнѣннымъ, дѣлается интереснымъ, потому что все это составляло частицы невозвратной, кратковременной, мучительной и, въ концъ концовъ, замъчательной жизни.

Мы уже говорили объ отличіи дневника Башкирцевой отъ всъхъ другихъ произведеній въ томъ же родъ. Добавимъ еще, что, напримъръ, "Исповъдь" Руссо, прославившаяся своею безстрашною откровенностью, не обдаетъ насъ такою интимностью, какъ дневникъ Башкирцевой. Именно потому, что Руссо философствовалъ, осуждалъ себя и каялся. А Башкирцева не знаетъ суда надъ собою. Она во всемъ и заранѣе себя оправдываеть. Правда, она бываеть иногда болѣе, иногда менѣе довольна собою, но за то-никогда не заботится о томъ впечатлѣніи, какое она произведетъ на читателя. Въ предисловіи она пишеть: "Я не только все время говорю то, что думаю, но мнѣ ни на одну минуту и въ голову не приходило скрывать то, что могло бы

показаться смёшнымъ или невыгоднымъ для меня... Будьте же увёрены, милостивые читатели, что я выставляюсь на этихъ страницахъ вся цъликомъ".

И дъйствительно, Башкирцева раскрывается передъ читателемъ вся, безъ малъйшей утайки. Она пишеть большею частью по ночамъ, затворившись въ своей комнать, проливая надъ своими страницами скрытыя отъ всёхъ слезы. Она вамъ жалуется на близкихъ ей людей, осуждаеть ихъ и не церемонится характеризовать ихъ самымъ нелестнымъ образомъ. Кипя мыслями и желаніями, недоступными или непонятными для окружающихъ, она чувствуетъ неизбъжную потребность высказываться хотя бы передъ къмъ-нибудь, хотя бы передъ какимъ-то незримымъ существомъ, — передъ Богомъ, безъ котораго она не можеть обойтись,--передъ читателемъ, котораго она посвящаетъ въ свои молитвы, недоумънія, горести, ожиданія, планы, сужденія, —словомъ, во всѣ тайники своей души. Она до такой степени ощущаетъ необходимость показать себя всю, что описываеть даже свое твло. Одинъ критикъ распекъ Башкирцеву за эту откровенность и упрекнуль ее въ "неблагопристойности". Онъ поставилъ ей въ особенную вину, что она не постѣснилась выдать тайны своего телосложения, будучи семнадцатилѣтнею дѣвушкою. По мнѣнію критика, это было бы простительно развѣ только особѣ, уже "пожившей", а не въ ранней молодости. 25*

Digitized by Google

Да, Башкирцева очень смѣла и самобытна. Она бросаетъ сколько угодно неосторожныхъ, необдуманныхъ или, върнъе, неухищренныхъ выраженій и признаній, предоставляя непонимающимъ ее, рутиннымъ читателямъ подбирать ихъ и разносить ее. Она разсчитываетъ на совсѣмъ иныхъ читателей, а не на этихъ. Съ этими судьями у нея нътъ никакихъ разговоровъ. Она даже какъ бы нарочно расточаетъ для нихъ великое множество уликъ противъ И критикъ, о которомъ мы говорили, себя. легко на этомъ попался. Почтенному литератору слъдовало бы вспомнить, что Башкирцева умерла не семнадцати, а двадцати четырехъ лътъ; что у нея не было ни единаго настоящаго романа, а былъ только одинъ случай самой поверхностной влюбленности; что въ ея дневникъ нътъ никакихъ слъдовъ чувственности; что Башкирцева вполнъ искренно называла себя женщиной только по оболочкъ (раг la peau), несмотря на свою несомнѣнную красоту въ ранней юности и на всегдашнюю привлекательность и грацію въ остальные годы; что Башкирцева такъ же върно изображала свою физическую красоту вначаль, какъ впослъдствіи, послѣ многихъ лѣтъ болѣзни, давала въ своемъ дневникъ обстоятельный отчетъ о прискорбномъ для нея измѣненіи ея наружности и скрытыхъ формъ твла, и что по всвмъ этимъ причинамъ критику слъдовало бы нъсколько глубже вдуматься въ Башкирцеву прежде, чъмъ

бросать ей упрекъ въ неблагопристойности. Мы, впрочемъ, еще разъ увидимъ ниже, на сколько этомъ критикъ ошибся въ оцѣнкѣ нашей героини.

Литературная форма дневника Башкирцевой вполнъ самостоятельная. Одна и та же манера, за многіе годы, выдержана отъ начала до конца. Получается замѣчательное единство впечатлѣнія. Вся книга представляется какъ бы однимъ сплошнымъ монологомъ. Мысли и чувства писательницы несутся предъ вами такимъ сильнымъ, всепоглощающимъ потокомъ, что внѣшнія событія и постороннія лица почти совсѣмъ исчезають. Страницы незначительныя, о которыхъ мы говорили, правдиво чередуются съ развитіемъ сильныхъ моментовъ душевной и умственной жизни автора. Рядомъ съ наивными поступками свътской барышни, съ элегантными, но пустыми сужденіями аристократки — вы постоянно наблюдаете основную натуру Башкирцевой-серьезную, высоко-даровитую и страдающую. Вы видите вполнѣ живую, оригинальную женщину извъстной среды. Она не сортируетъ своихъ признаній такимъ образомъ, чтобы постоянно и непремънно умничать и рисоваться, дълаетъ, напримъръ, Гонкуръ въ какъ это своихъ утомительно - франтоватыхъ запискахъ. Правда, иногда у Башкирцевой встречается некоторый задорный шикъ въ тонѣ ея бесѣды, но вы скоро привыкаете къ этой природной чертъ ея характера, къ ея подчасъ шаловливой ма-

неръ, усвоенной у французовъ. И эти мелкіе штрихи только содъйствують индивидуализаціи ея образа. Но преобладающій пріемъ Башкирцевой-небрежная откровенность. Вся психологическая и философская сторона дневника дышить настоящей импровизаціей. Живое краснорвчіе Башкирцевой то блещеть яркой энергіей, то плавно льется, какъ безпечная бесъда, то надрываеть вамъ душу воплями глубокой, болъзненной тоски, то брызжетъ заразительною радостью молодости. И всѣ эти перемѣнчивыя настроенія проникнуты однимъ и тъмъ же элементомъ: гордости и силы. Но выше всего-неподражаемая искренность этихъ страницъ, обнажающая передъ вами до самаго дна внутренній міръ автора. Вы такъ сживаетесь съ этимъ внутреннимъ міромъ, что когда дневникъ вдругъ обрывается, съ помѣтой въ скобкахъ, что черезъ одиннадцать дней Башкирцева умерла, то вы испытываете ошеломляющее впечатлёніе возникшей предъ вами тупой преграды, за которою будто пресъклось теченіе вашихъ собственныхъ мыслей...

И вы разстаетесь съ Башкирцевой, какъ съ самымъ близкимъ существомъ, неизгладимо врѣзавшимся въ вашей памяти. И тутъ только вы спохватываетесь, что завѣтная мечта Башкирцевой—оставить по себѣ память въ потомствѣ достигнута именно этимъ дневникомъ.

Закрывъ книгу и рисуя въ своемъ воображеніи бездыханное тъло Башкирцевой въ ея богатомъ салонѣ, поневолѣ говоришь себѣ: "да, эта маленькая мертвая парижанка, дочь русской помѣщицы, не заурядный мертвецъ! Она останется въ исторіи"... И трудно обыло бы найти болѣе поэтическій образъ для олицетворенія грустной тѣни Башкирцевой, какъ слѣдующій сонъ ея, отмѣченный ею въ дневникѣ еще въ пятнадцатилѣтнемъ возрастѣ:

"Я видѣла странный сонъ. Я летѣла очень высоко надъ землею съ лирой въ рукахъ; струны то и дѣло разстраивались и я не могла извлечь ни одного аккорда. Я все поднималась; я видъла безконечные горизонты-облака голубыя, желтыя, красныя, смѣшанныя, золотыя, серебряныя, разорванныя, причудливыя; потомъ все дълалось сърымъ, потомъ снова --- ослъпительнымъ; а я все поднималась, пока, наконецъ, не достигла такой необычайной высоты. что это было ужасно; но я не боялась; облака казались оледенълыми, съроватыми и блестъли, какъ свинецъ. Все сдѣлалось неопредѣленнымъ, а я попрежнему держала въ рукахъ мою лиру съ ея слабонатянутыми струнами, и вдали, подъ моими ногами, виднѣлся красноватый шаръ-земля".

II.

Что же такое представляеть изъ себя Башкирцева? Достойна ли она такого вниманія, чтобы стоило читать книгу, въ которой она разсказываеть свою жизнь? Башкирцева предвидѣла такую постановку вопроса, и вотъ что она отвѣчаетъ предисловіи: "Я, какъ предметъ для любопытства, быть можетъ, ничтожна въ вашихъ глазахъ, но не думайте о томъ, что это я, думайте, что это—человѣческое существо, разсказывающее вамъ всѣ свои впечатлѣнія, начиная съ самаго дѣтства". Въ другомъ мѣстѣ она восклицаетъ: "О, мой несчастный дневникъ, содержащій въ с́ебѣ всѣ эти стремленія къ свѣту, всѣ эти порывы, которые будутъ сочтены порывами плѣннаго генія, если конецъ будетъ увѣнчанъ успѣхомъ, и на которые посмотрятъ, какъ на тщеславный бредъ обыденнаго существа, если я буду вѣчно плѣсневѣть!"

Словомъ, Башкирцева предвидѣла, что къ ея дневнику будетъ предъявленъ вопросъ: какое же право имѣлъ авторъ знакомить публику съ своею жизнью?

Автобіографія можеть представлять двоякій интересь въ зависимости отъ того, во-первыхь: кто быль авторь самъ по себѣ, и, во-вторыхь, какъ онъ изобразилъ свою жизнь? Для литературы важно только второе условіе. И если бы, напримѣръ, "Дневникъ лишняго человѣка" не былъ измышленъ и написанъ Тургеневымъ, а былъ бы въ точно такомъ же видѣ опубликованъ подлиннымъ господиномъ Чулкатуринымъ, то и тогда это самоизображеніе не только ничтожнаго, но даже лишняго человѣка, — было бы замѣчательнымъ произведеніемъ искусства. "Исторія души челов'вческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытн'ве и не полезн'ве исторіи ц'влаго народа", сказалъ Лермонтовъ. Именно — "души": это очень в'врио сказано. И однако, тому же Лермонтову принадлежитъ знаменитый стихъ:

"А душу можно-ль разсказать?"

Да, почти невозможно, или, по крайней мъръ, въ высшей степени трудно. Вся лирическая поэзія всъхъ народовъ съ основанія міра занимается этою задачею. Душу передають стихами и музыкой. Испробованы всъ пріемы. Мы знаемъ геніальныхъ поэтовъ, которые во всъхъ своихъ произведеніяхъ ничего другого и не дълали, какъ только разсказывали самихъ себя. Таковы: тотъ же Лермонтовъ, и Байронъ. Но, быть можетъ, обыкновенныя подлинныя записки проще знакомятъ насъ съ чужою душою.

Какъ бы тамъ ни было, но Башкирцева сумъла передать въ своемъ дневникъ свою внутреннюю сущность и, слъдовательно, ея книга должна быть разсматриваема, какъ выдающееся явленіе въ области литературы, а вовсе не какъ біографія лица, оказавшаго тъ или другіе успъхи, — создавшаго тъ или другія картины въ области живописи. Пусть ея записки составляютъ на половину сырой, пространный и безформенный матеріалъ. Главное въ томъ, что цъль достигнута: лицо сохранилось въ книгъ живымъ и цълымъ.

Digitized by Google

Познакомимся же теперь съ этимъ лицомъ, съ этой героиней.

Ея выдающеюся чертою была жажда славы. Эта страсть была въ ней такъ сильна и неотразима, что Башкирцеву можно считать самымъ рельефнымъ человъческимъ типомъ, воплощающимъ славолюбіе. Нужно удивляться, что эта страсть до сихъ поръ не была еще изображена во всей ея полнотъ ни однимъ великимъ писателемъ. "Макбетъ" Шекспира. "L'oeuvre" Зола, "Моцарть и Сальери" Пушкина — воть едва ли не всѣ произведенія, касающіяся этой темы. Но въ нихъ мы встрѣчаемся съ разновидностями этого явленія гораздо болѣе рѣдкими, менѣе общими, нежели тъ влеченія, которыми страдала Башкирцева. Макбетъ былъ одержимъ властолюбіемъ, мечталъ о коронѣ; "L'oeuvre" изслѣдуеть болѣзненный процессь мученій художника, гоняющагося за правдой; Сальери Пушкина воплощаетъ горькую зависть артиста-труженика къ свободному творчеству прирожденнаго генія. Между тъмъ Башкирцева страдаеть гораздо болѣе общею страстью-жаждою идеальной, красивой известности, жаждою того поклоненія, которое выпадаеть на долю великихъ поэтовъ, мыслителей, художниковъ, артистовъ,--той славы, которая, по замечанию Башкирцевой, "даетъ такую гордость, какой не дадутъ ни золото, ни титулъ". Немного найдется молодыхъ и даровитыхъ натуръ, которыя, хотя бы въ юношескомъ бреду, не испытывали влеченія къ

подобной славь. Называйте всь эти безчисленныя претензіи смѣшными, но онѣ живуть почти въ каждомъ кропателѣ стиховъ, въ каждомъ рисовальщикѣ или актерѣ-любителѣ. юномъ Это-страсть благородная и естественная, порождаемая влеченіемъ къ умственной и художественной прокреаціи, т. е. къ духовному воспроизведению самого себя въ искусствѣ или въ . литературъ. Это - процессъ мучительный и сладкій, какъ любовь, какъ воспроизведеніе физическое. Онъ сопровождается тъми же муками и тъмъ же счастьемъ, --- счастьемъ взаимности, но только болѣе широкой взаимности всѣхъ невѣдомыхъ людей, всего человъчества. Немногіе--самые немногіе имѣють удачу; но жаждущихъ--цѣлая неисчислимая тьма! И всѣ эти жаждущіе найдуть сильный и страстный языкь въ книгъ Башкирцевой для своихъ подавленныхъ вожделъ́ній --- тъмъ болье близкій всъмъ имъ, что и Башкирцева еще не вышла, не успъла выйти художественныя величины. настоящія У ВЪ иныхъ этотъ пылъ крови проходитъ скоро, какъ "силъ избытокъ", и они, освкшись, испытавъ первую неудачу въ своихъ горделивыхъ замыслахъ или разочаровавшись въ себѣ, спокойно входять въ обычную колею. Но у другихъ, у которыхъ "силъ избытокъ» не убываетъ, ---не унимается и страсть, и они отдаются искусству навсегда, записываясь, по словамъ Башкирцевой, въ "разрядъ одержимыхъ". Ихъ жизнь есть вѣчное страданіе. Башкирцева испытала и выразила его вполнѣ. Она исчезла съ полъ-дороги и, не успъвъ еще сдълаться знаменитымъ художникомъ, завѣщала намъ только свой дневникъ. Не будемъ же видъть одно только пустое тшеславіе въ этомъ недолѣланномъ и рано погибшемъ талантѣ. Мы знаемъ, что соединеніе большого таланта съ большимъ тщеславіемъ не только не ръдкость, но почти общее явленіе: Байронъ, Бальзакъ, Гюго, Лермонтовъ, Лассаль, Постоевскій... У каждаго нашлись признанія или улики въ безумномъ тщеславіи, и притомъ не только въ ту пору, когда они уже проявили себя въ своихъ чудесныхъ созданіяхъ, но и въ самомъ раннемъ дътствъ. Ребенокъ-Лермонтовъ радовался своему сходству съ Байрономъ, имѣвшимъ, какъ и онъ, любовный романъ еще въ младенческіе годы; Достоевскій не чуялъ подъ собою земли отъ радости, когда Некрасовъ и Григоровичъ, выслушавъ его первую повъсть, посулили ему громкую извъстность... Да всѣ великіе люди, въ сущности, таковы. Повидимому, смѣшно даже въ этомъ скрыватьэтого не понимаеть? Но тѣмъ ся: кто же не менње, настоящаго, правдиваго психологическаго этюда на эту общую тему мы до сихъ имѣемъ. Вопросъ этотъ, дѣйствипоръ не тельно, на столько щекотливый, что въ немъ мудрено было бы разсчитывать на полную откровенность со стороны "баловней фортуны". И Богъ въсть еще, увидали ли бы мы книгу Башкирцевой, если бы и ей дано было выпол-

нить то, о чемъ она мечтала, т. е. занять видное, первостепенное мъсто въ искусствъ. Мнъ думается, что если бы можно было заглянуть внутрь,---то въ каждомъ прославленномъ художникѣ и писателѣ, въ каждомъ большомъ таланть оказалась бы огромная доза Башкирцевой: достаточно только посмотрѣть, какъ всѣ они относятся къ отзывамъ критики. чтобы хотя приблизительно понять, на сколько всѣ они внутри себя упиваются своею геніальностью и считають себя выше всякихъ похвалъ. Быть можеть, повторяемъ, и Башкирцева устыдилась бы своихъ неудержимыхъ, полу-дътскихъ признаній, если бы она заняла мъсто рядомъ съ ними. Быть можеть и она бы уничтожила свой дневникъ... Но судьбъ угодно было спасти этотъ драгоцённый документь — документь, который, по своему значенію, превосходить цѣлыя сотни весьма почтенныхъ картинъ.

Жажда красивой извъстности была присуща Башкирцевой, какъ стихійная сила. Будучи еще 12-ти лътней дъвочкой, она очень ръзко опредълила свое призваніе: прославиться, быть знаменитой, быть извъстной повсюду. Она сознавала свою огромную и всестороннюю даровитость, свое умственное превосходство, свою чуткость и вкусъ, и, обремененная этими дарами, не будучи еще въ состояніи въ нихъ разобраться, счастливая и гордая ихъ обладаніемъ, она была безповоротно убъждена, что рано или поздно, такъ или иначе, эта ея внутренняя сила высоко ее подниметъ надъ толпой и обратитъ на нее внимание міра. Она открыто высказывается на этотъ счетъ въ своихъ запискахъ, не смущаясь тъмъ, что такое самообожание ея можетъ кому нибудь показаться глупымъ и даже противнымъ. Она сознается, что эта страсть иногда достигаеть у нея чудовищныхъ размъровъ. "Въ тъ минуты, когда я одержима маніей величія, пишетъ она, всъ предметы мнъ кажутся недостойными моего прикосновенія, мое перо отказывается записывать обычное название дня. Я смотрю съ сверхъестественнымъ презрѣніемъ на все окружающеее и затъмъ, вздыхая, говорю себъ: ну, ничего. Смѣлѣе! Это время есть только переходъ, ведущій меня туда, гдъ мнъ будеть хорошо..." Слова эти написаны Башкирцевой въ началъ пятнадцатаго года. Это еще только дътство, но дътство, объщающее въ Башкирцевой тотъ рельефный и опредъленный складъ натуры, который, какъ ръдчайшій феноменъ, долженъ былъ воплотить въ одномъ себъ цълыя массы безцвътныхъ разновидностей того же типа.

Мы видимъ далѣе, что съ теченіемъ лѣтъ, передъ этой необыкновенной, сильной и самоувѣренной дѣвочкой жизнь выдвигаетъ свои неумолимыя преграды. Но ничто ее не ломаетъ. Она сама создаетъ планъ своего воспитанія, изучаетъ древніе языки, проводитъ ночи за книгами, учится пѣнію и рисованію, мечтаетъ о готовомъ пьедесталѣ для извѣстности— о бракѣ съ высокопоставленнымъ лицомъ, о какомъ-ни-

Digitized by Google

будь случайномъ выходъ изъ безвъстности; но время идетъ, внутреннія силы растуть, а звъзда славы и не думаетъ обозначаться на горизонтъ...

Слѣдуетъ отмѣтить, что, несмотря на всѣ кажущіеся признаки авантюристки, позерки, взбалмошной искательницы рекламы и т. п., вы чувствуете, однако, въ Башкирцевой тотъ вполнъ благонадежный нравственный фондъ, который всегда свойствененъ, какъ нѣчто подразумѣваемое, натурамъ возвышеннымъ. Она добра, справедлива, честна и сострадательна на столько, на сколько это требуется въ обыкновенномъ челов вческомъ обиход в, о которомъ она мало думаеть, поглощенная своей высокой миссіей, но въ которомъ она, какъ будто автоматически, всегда поступаетъ хорошо и благородно. Какъ женщина, она вполнѣ застрахована отъ какой бы то ни было нравственной порчи. Женскую любовь она понимаетъ скорѣе теоретически и понимаетъ очень тонко, но считаетъ ее для себя невозможною, вслъдствіе своихъ чрезмърныхъ требованій отъ того мужчины, котораго она могла бы полюбить всёмъ сердцемъ. Но въ бракъ, каковъ бы онъ ни былъ, она всегда предвидитъ для себя неизбъжный долгъ върности. Половая чистота Башкирцевой (вопреки упомянутому нами смъшному упреку одного критика въ "неблагопристойности") поистинѣ необычайна. Всего однажды у Башкирцевой было нѣчто въ родѣ романической исторіи съ племянникомъ кардинала А. Страсть молодого итальянца уже начинала ее волновать, ее тышило кокетство съ нимъ и его образъ не на шутку завладълъ ея воображеніемъ. Лъло дошло до любовнаго свиданія, въ пылу котораго А. заговорилъ съ Башкирцевой на "ты" и поцъловалъ ее въ губы. Но гордость и чистота не покидали Башкирцеву и въ эти минуты. Обращение на "ты", даже со стороны молодого человѣка, который ей нравился, обдало ее холодомъ и показалось ей унизительнымъ. На слъдующій день Башкирцева была грустна, а на третій-она уже упрекала себя за свой поступокъ. "Будемъ легкомысленны-писала она-съ мужчиной серьезнымъ и любящимъ, но будемъ строги съ мужчиной легкомысленнымъ". Немного спустя она окончательно себя осудила: "Я поняла, наконецъ, что поступила дурно, дозволивъ поцълуй, всего одинъ, но все-таки-поцълуй; что мнъ не слъдовало назначать свиданія внизу лъстницы; что, если бы я не выходила въ корридоръ и далъе, если бы я не искала случая остаться наединъ.мужчина имълъ бы ко мнъ болъе уваженія и у меня бы не было бы ни досады, ни слезъ". И ровно черезъ годъ, противъ этого мъста дневника, Башкирцева сдълала помътку: "Какъ я люблю себя за то, что такъ говорила! Какая я милая!" Съ негодованіемъ отзывается Башкирцева о вольности нравовъ въ русскихъ пьесахъ: "На сценъ цълуются въ губы, какъ будто бы это было совершенно просто, и это происходить между любовниками, между мужемъ и женою...

цѣлуютъ другъ друга въ шею, въ щеки и т. д. и публика молчитъ, п это ей кажется обыкновеннымъ... Свѣтскія барышни, симпатичныя молодыя дѣвушки, въ пьесѣ, даютъ пощечины молодымъ людямъ, которые объясняются имъ въ любви и которыхъ онѣ подозрѣваютъ въ томъ, что они любятъ только ихъ приданое. Если бы это еще происходило въ средѣ кокотокъ, или въ фантастическомъ царствѣ, или въ оффенбаховскомъ древнемъ мірѣ подъ аккомпаниментъ обычныхъ въ этомъ случаѣ шалостей и веселья,--ну, тогда бы еще куда ни шло! Но намъ показываютъ гражданъ, помѣщиковъ, людей, какъ вы да я, и это серьезно?---Не знаешь, право, что и сказать!".

Послѣ разсказаннаго нами романическаго эпизода, случившагося съ Башкирцевой на шестнадцатомъ году, она уже не имѣетъ никакихъ романовъ. Она для этого слишкомъ серьезна, слишкомъ по-мужски создана, слишкомъ озабочена воспроизведеніемъ себя — не въ дѣтяхъ, а въ творческихъ проявленіяхъ своей богатой духовной натуры.

Въ 1879 году, когда ея семейство поселилось въ Парижѣ, Башкирцева впервые начинаетъ заниматься живописью и съ той поры, въ теченіе семи лѣтъ, это искусство дѣлается ея мученіемъ до самой смерти.

Существуетъ мнѣніе, что Башкирцева и живописью занималась только для рекламы, что она не любила своего дѣла, какъ любятъ истинные 26

Digitized by Google

художники, и что ея артистическая репутація раздута вліятельными людьми, посъщавшими богатый салонъ ея матери. Мы не видали картинъ Башкирцевой и не можемъ говорить о ней. какъ о живописцъ. Но что живопись была ея призваніемъ, что она нашла въ ней единственную цёль своей жизни и отдавала ей всё свои силы, — все это для каждаго непредубѣжденнаго читателя дневника становится совершенно безспорнымъ. Всѣ оставленныя Башкирцевою картины составляють только начинанія и пробы: одна уже неумолимая настойчивость ея въ самоусовершенствования, --- настойчивость, возраставшая до послёдняго дыханія, --- доказываеть присутствіе въ ней внутренней мощи. Намъ при этомъ поневолъ вспоминаются слова Сары Бернаръ объ одной даровитой дъвочкъ, которая будто бы добровольно отказалась отъ сценической карьеры: "Если бы она чувствовала въ себъ силу сдълаться великой, она бы, несмотря ни на что, подчинилась непреодолимому влеченію, всевластности фатума. Самоотреченіе есть ложь. Отказываются только отъ невѣдомыхъ лавровъ"...

Нужно ли объяснять, что истинное призваніе проявляется у разныхъ людей при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ: у одного — рельефно и быстро, а у другого—исподоволь и туманно; иной сразу и страстно любитъ свое дѣло, а другой начинаетъ какъ бы нехотя и только потомъ уже все болѣе и болѣе увлекается; у

Digitized by Google

одного—первые штрихи уже блистательны, а у другого—долгіе опыты не раскрывають еще истиннаго дорованія. Итакъ, когда Башкирцева остановилась на живописи, то ей было ясно только одно, что у нея есть способности и что ей слѣдуетъ трудиться. Первый толчокъ былъ чисто-рефлективный. Но разъ только она очутилась на этомъ пути, какъ сейчасъ же поняла, что вотъ, наконецъ, въ этой именно сферѣ, а не въ какой другой, она сможетъ сдѣлать дѣйствительно нѣчто большое. И какъ только она это почувствовала,—она принялась за трудъ.

Съ первыхъ же шаговъ она убѣдилась, что ея большія способности находятся въ совершенно сыромъ видѣ и что ей придется еще долго ждать и много работать, пока она ихъ сдѣлаетъ пригодными для свободнаго творчества. Она приходила въ отчаяніе. Столько лѣтъ, въ теченіе которыхъ она могла бы готовиться, пропали у нея по пусту! Столько ученицъ въ рисовальной школѣ, рядомъ съ нею, гораздо менѣе талантливыхъ,—превосходятъ ее въ техникѣ!

Но она не унываеть и обрекаеть себя на цѣлый годъ тяжелой школы. Она ведеть настоящую жизнь чернорабочаго, просиживая съ утра до ночи въ холодной мастерской, внѣ своего дома, повязанная фартукомъ, надъ своими рисунками и моделями, удалившись отъ всякаго общества и покинувъ всѣ развлеченія. Она работаеть не разгибаясь, обѣдаетъ на-ско-26* ро, зябнеть и простуживается—и съ каждымъ днемъ убѣждается, что успѣхъ дается далеко не такъ легко, какъ ей думалось. Между тѣмъ, она невѣроятно торопится, какъ вслѣдствіе своей кипучей натуры, такъ и въ силу неопредѣленнаго, но давняго и постояннаго опасенія, что ей суждено недолго жить, что она умретъ, не успѣвъ ничего сдѣлать, не насладившись славой и не составивъ своего имени. А тутъ какъ разъ болѣзнь горла усиливается; воспалительный процессъ, подъ вліяніемъ постоянныхъ простудъ, спускается въ бронхи и захватываетъ легкія.

Въра въ свое большое значение не покидаетъ Башкирцеву, но прежняго довольства собою у нея уже нътъ. Ей все чаще приходится переживать приступы горькаго уныния... Но эта первая половина ея художественной карьеры еще не такъ интересна и трагична. Вы еще не видите изъ ея записокъ, чтобы въ ней загорълся настоящий "божественный огонь". Все это еще только хлопотливое и трудное налаживанье будущаго таланта на его настоящую дорогу, но это еще не самый талантъ. Свътъ уже близко, но это еще не свътъ.

Но воть, осенью 1882 года, Башкирцева, уже больная, отправляется путешествовать по Испаніи. Здѣсь она была совершенно ошеломлена цѣлымъ новымъ для нея міромъ художественныхъ сокровищъ. Ея замѣтки объ архитектурныхъ памятникахъ, музеяхъ, картинахъ, ея отзывы о живописцахъ, ея сознательное упоеніе силою Веласкеца — все это представляетъ вамъ героиню "Дневника" въ неожиданно - новомъ свътъ. Вы за нее радуетесь и начинаете върить, что вы не обманулись, почувствовавъ въ ней выдающуюся натуру съ первыхъ страницъ ея жизни. Это былъ кризисъ, давшій, наконецъ, здоровый исходъ ея долгимъ исканіямъ. И тогдато, послѣ поѣздки въ Испанію, начинается захватывающая душу трагедія. Вы видите, что Башкирцева, наконецъ, прозрѣла; что ей предстоитъ будущее; что ее ожидаютъ сладкія мученія вдохновеннаго и могучаго творчества. Въ ея исповѣди начинаетъ говорить истинный художникъ.

"Дѣло состоитъ не въ томъ только, чтобы работать, какъ машина, пишетъ она, - но въ томъ, чтобы быть всегда занятой и думать о томъ, что дѣлаешь. Въ этомъ-счастье... Тогда все мъняетъ видъ; тогда маленькія неудачи почти не раздражають. Чувствуешь себя выше всего этого, имѣя во всемъ своемъ существѣ нъчто, испускающее лучи: является божественная снисходительность къ жалкой толпъ, которая не въдаетъ тайныхъ, измънчивыхъ, тревожныхъ и разнообразныхъ причинъ вашего блаженства-болње преходящаго, нежели самый нѣжный изъ цвѣтковъ... Лишь понемногу раскрываются глаза. Прежде я видъла только рисунокъ и сюжетъ картины. Теперь... о, теперь бы я дѣлала, какъ я вижу,—я имѣла бы талантъ!

Я вижу цейзажъ, я вижу и люблю пейзажъ – воду, воздухъ, краски – да, краски! Я чувствую себя въ новой фазъ. Все кажется ничтожнымъ и неинтереснымъ, все, за исключеніемъ того, что дълаешь. Жизнь могла бы быть прекрасною, если бы ее свести къ этому".

Вогатъйшія темы зарождаются въ окрыленной и самоувъренной фантазіи Башкирцевой. Она задумываеть "Святыхъ женъ" надъ опуствешей гробницей Спасителя, статую "Навсикаи" и панно--"Весну". Всъ три сюжета-какъ они сложились въ головъ автора-переданы на страницахъ "Дневника" въ дивныхъ описаніяхъ. Эти созданія Башкирцевой возникають передъ ней воочію въ безсонныя ночи. Она собираетъ наблюденія и матеріалы для ихъ выполненія. "Когда я плакала, говоритъ она, – я нашла взоръ для моей Магдалины. Она не будетъ смотръть на гробницу; она не будетъ ни на что смотръть, какъ это было со мною сейчасъ. Глаза будутъ сильно раскрыты, какъ у того, кто только-что плакалъ".

Да, это уже совсѣмъ новая, это настоящая Башкирцева — та, которая до этого времени только обозначалась и предчувствовалась. На послѣдней выставкѣ, ея картина "Митингъ" имѣла "шумный успѣхъ". Съ разныхъ концовъ свѣта къ ней уже обращаются за разрѣшеніемъ воспроизвести эту картину въ иллюстрированныхъ изданіяхъ. Казалось бы, если бы Башкирцева искала только извѣстности—она могла бы теперь почувствовать себя на верху блаженства. Но вы видите, что она еще далека отъ счастья и что она никогда не остановится въ мученіяхъ самоусовершенствованія. На этой кажущейся вершинъ успъха вы видите нашу героиню только-только въ самомъ началъ ея настоящей карьеры... Къ чему бы пришла Башкирцева никто теперь не скажеть.

И въ эту самую минуту, подкошенная болъзнью, Башкирцева умираетъ...

Повторяемъ: психологія славолюбія и творческихъ терзаній переданы въ книгѣ Башкирцевой, какъ никогда ранѣе они не были выражены. Поэты и художники должны признать въ ней свою кровную сестру, передавшую потомству въ своемъ "Дневникѣ" и выразившую примѣромъ своей жизни—исторію ихъ тайныхъ радостей, надеждъ, колебаній, стремленій и горестей.

Башкирцева — это мученица Славы, несчастная юная жрица Искусства, упавшая за-мертво къ подножію своей богини, едва только завидъвъ глубокія тайны истиннаго творчества... Это — яркое и незабвенное олицетвореніе одной изъ самыхъ мучительныхъ и возвышенныхъ страстей человъчества. Быть можеть, знатоки живописи, ознакомившись съ картинами Башкирцевой, отойдутъ отъ нихъ съ разочарованіемъ (въдь знатокамъ, извъстное дъло, подавай готовое наслаждевіе!). Но едва ли кто-нибудь забудетъ исторію ея жизни — цълой жизни, сгоръвшей оть одной жажды артистическаго безсмертія, потому что Башкирцева была вся цѣликомъ, какъ изъ одного металла, вылита изъ одной этой страсти.

Хорошо сдѣлалъ "Сѣверный Вѣстникъ", что перевелъ "Дневникъ Башкирцевой". Хотя Башкирцева принадлежала Парижу и писала пофранцузски, но въ ней была славянская сущность. Француженка, на ея мъсть, съ ея богатствомъ, наружностью и талантами, никогда бы и не подумала заноситься за облака. Мечтательность и прямолинейность, экзальтація и упрямство, обиліе и разбросанность силь, острый анализъ, соединенный съ наивностью и смѣлою правдивостью въ исповъди --- все это, какъ бы тамъ ни было, черты нашей народности, чуждыя и поразительныя для Франціи. Поэтому мы выносимъ убѣжденіе, что "Journal de Marie Bashkirtsseff" хотя, быть можеть, и франко-русская, но все-таки--русская книга, которая и должна быть достояніемъ нашей литературы.

1891 г.



Къ столѣтію Грибовдова.

I.

Литературный фондъ отпраздновалъ столътіе Грибоъдова, а Грибоъдовъ, и послъ столътія, все также юнъ и безсмертенъ.

Множество разъ "Горе отъ ума" истолковывалось на разные лады. Каждое отдѣльное время чуть ли не каждое десятилѣтiе—приступало къ комедіи съ своимъ комментарiемъ и всѣ понемногу вносили свое плодотворное участiе въ разработкѣ славнаго наслѣдства, завѣщаннаго Грибоѣдовымъ.

Каждый періодъ нашей культуры подходилъ къ этому произведенію съ своимъ особеннымъ "горемъ отъ ума", т. е. съ своимъ собственнымъ возвышеніемъ надъ эпохою—и въ каждомъ изъ этихъ періодовъ оцёнивались, по преимуществу, тъ или другія стороны комедіи; но точно также понемногу, всъ части этой вдохновенной сатиры, безъ исключенія, получили общее признаніе.

Бѣлинскій обрушился на Чацкаго за славя-

Digitized by Google

нофильство, т. е. какъ бы за отреченіе отъ Европы. Уже изъ-за одного этого Чацкій показался Бѣлинскому совершенно ничтожнымъ. Бѣлинскій вышутилъ и героя пьесы, и его любовь къ Софьѣ, причемъ наговорилъ множество идеалистическихъ парадоксовъ о томъ, какія именно женщины могутъ внушать къ себѣ любовь и какъ именно должно осуществляться это чувство между избранными душами. Весь громадный культурный ростъ фигуры Чацкаго, всю безсмертную прелесть его остроумія — Бѣлинскій положительно проглядѣлъ, благодаря своему страстному европеизму.

Совсѣмъ уже иначе высказался о Чацкомъ, въ семидесятыхъ годахъ, Гончаровъ. Благодаря отдаленію перспективы, онъ намътилъ върный діагнозъ этого загадочнаго лица въ нашей поэзіи. Пользуясь мыслью Герцена, онъ сблизилъ Чацкаго съ Онъгинымъ и Печоринымъ и показалъ превосходство Чацкаго надъ ними. Онъ истолковалъ въ Чацкомъ истиннаго передового человѣка-типъ, который у насъ не умретъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда "художникъ коснется борьбы понятій, см'вны покол'вній". И дъйствительно, какъ русскій прогрессистъ-Чацкій и намъ еще не по плечу! "Это, —сказалъ Гончаровъ, -- свобода отъ всѣхъ цѣпей рабства, которыми оковано общество и рядъ дальнъйшихъ очередныхъ шаговъ къ свободѣ-отъ несвободы". Художественно-критическій очеркъ Гончарова о комедіи Грибофдова принадлежить

къ его самымъ счастливымъ произведеніямъ. Оно и понятно: чуткій мастеръ и вдумчивый публицисть, Гончаровъ лучше всѣхъ могъ оцѣнить, какое небывалое чудо въ поэзіи представляеть эта комедія, сливающая въ себъ нераздѣльно глубочайшую проповѣдь общественной морали и пленительную, по своей яркости, картину жизни. И, проникнутый горячею любовью къ произведенію Гриботдова, Гончаровъ вдохновенно постигъ замыселъ автора, сдълалъ всъ необходимыя поправки къ установившемуся ранъе его толкованію дъйствующихъ лицъ, угадалъ всѣ милыя черты Софьи Павловны и рельефно выставилъ, на какихъ двухъ пружинахъ основано внутреннее движение пьесы: въ первой части-на любви Чацкаго къ Софьв, а въ послвдней-на возгорающейся сплетнь о сумасшестви Чацкаго. Казалось бы, что это послѣднее разъясненіе не открывало ничего новаго. Но ранъе , Гончарова никто не хотълъ видъть, какъ сильны и жгучи въ пьесѣ оба эти мотива.

Наконецъ, въ восьмидесятыхъ годахъ, г. Суворинъ сдѣлалъ самостоятельный цѣнный этюдъ комедіи Грибоѣдова. Послѣ этого труда, статью Бѣлинскаго можно признать несуществующею, до того ясно и живо разобраны всѣ заблужденія нашего пламеннаго критика. Сверхъ того, г. Суворинъ, кстати, посчитался съ Петромъ Великимъ и восхитился любовью Чацкаго ко всему русскому, и подчеркнулъ центральное значеніе монолога Чацкаго, о французикѣ изъ Бордо, для върнаго пониманія всей фигуры Чацкаго. Это совершенно справедливо, потому что Чацкій несомнънно любилъ свою родину тою же "странною" любовью, какъ и Лермонтовъ. Чацкій желалъ своему народу широчайшаго развитія, но, однако же, безъ утраты той необходимой и драгоцънной индивидуальности, которая вложена въ славянъ самою природою.

И вотъ теперь, кажется, вполнѣ опредѣлилось значеніе Чацкаго, какъ нашего излюбленнаго русскаго прогрессиста.

Слъдовало бы, однако, оттънить еще одну черту въ Чацкомъ, какъ для исполненія его роли на сценъ, такъ и для полнаго постиженія грибоъдовской пьесы.

Чацкій — аристократь: воть чего не хотять знать актеры! Они изображають въ Чацкомъ какого-то непосидчиваго фразера, какого-то сорвавшагося съ цёпи журналиста, который всегда выпаливаеть свои монологи съ такимъ азартомъ, что сокровенная иронія автора, состоящая въ томъ, что только стадо невѣжественныхъ рабовъ могло ославить сумасшедшимъ столь выдающагося по уму и благородству человѣка, эта иронія Грибоѣдова до сихъ поръ никогда не преподается публикѣ со сцены. Напротивъ того, при установившемся исполненіи этой роли, крикливость Чацкаго весьма естественно подготовляетъ общій приговоръ о немъ "здравомыслящихъ людей".

Въ Чацкомъ, не безъ основанія, почти сра-

зу всѣ угадали самого Грибоѣдова. И дѣйствительно, въ этой роли воплотился геній поэта. А потому слъдовало бы изображать на сценъ Чацкаго съ благоговъніемъ къ памяти нашего несравненнаго сатирика, съ возможнымъ стараніемъ приблизиться къ этой великой твни и воплотить ее живьемъ, чтобы отъ комедіи осталось то "горестное" впечатлѣніе, котораго авторъ требуетъ въ самомъ заглавіи пьесы, т. е. чтобы зрители ясно почувствовали дикое оклеветаніе и жалкое непонимание всёми москвичами того выдающагося человъка, единственное несчастіе котораго состояло въ томъ, что онъ, по своему уму, по благородству своего сердца-стоялъ неизмѣримо выше окружавшаго его общества. Кстати сказать: этотъ основной сатирическій пріемъ Гриботдова, но только въ обратномъ смысль, быль повторень, черезь десять слишкомъ лѣтъ, Гоголемъ въ его "Ревизорѣ". Обѣ комедіи дополняють одна другую и объ доказывають одинъ и тотъ же тезисъ двумя противоположными способами: у Грибо вдова — наше столичное общество приняло писанаго умницу и передового дѣятеля за сумасшедшаго, а у Гоголя-наша захолустная среда встрѣтила шута гороховаго, какъ своего законнаго судью и начальника... Оно и понятно: если могло случиться первое, то уже вполнъ естественнымъ должно быть и второе.

Кто же былъ Грибоъдовъ? Онъ выдълялся своимъ европейскимъ образованіемъ. По сло-

Digitized by Google

вамъ Пушкина, Грибовдовъ имвлъ "способности государственныя, оставшіяся безъ употребленія" и былъ въ то же время человѣкомъ "холодной, блестящей храбрости". Пушкинъ не постъснился открыто высказать, что современники чуть ли не прозъвали въ Грибоъдовъ настоящаго Наполеона. Да, это былъ, по всей въроятности, государственный геній, "оставшійся безъ употребленія", и затѣмъ волшебно переродившійся въ безсмертнаго поэта. Служилъ Грибоъдовъ по дипломатіи, т. е. въ средъ и понынъ аристократической, отличающейся сдержанностью и изяществомъ манеръ. Изъ воспоминаний того же Пушкина мы знаемъ, что передъ отъъздомъ въ Персію Грибо довъ былъ печаленъ и имълъ странныя предчувствія... Я было хоп'влъ его успокоить, говорить Пушкинъ-но онъ мнъ сказалъ: "Vous ne counaissez pas ces gens-là: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux". Не правда ли, какъ странно читать, что авторъ патріотическаго монолога о французикъ изъ Бордо разговаривалъ съ русскимъ поэтомъ по-французски и притомъ въ самыхъ изысканныхъ выраженіяхъ? Отсюда слъдуетъ, что Грибоъдовъ, хотя и осмѣивалъ "смѣсь французскаго съ нижегородскимъ" и горячо негодовалъ на обезьянничанье русскихъ, на ихъ слъпое поклоненіе передо всѣмъ иностраннымъ, но самъ не только не чуждался европейскихъ языковъ, но, при всемъ своемъ геніальномъ обладаніи русскою ръчью, какъ бы находилъ болъе подходящимъ

къ своему высшему взгляду на жизнь и къ своему превосходству надъ обществомъ говорить на язык в международномъ. Аристократизмъ и невольная гордость Гриботдова сказываются и въ его сжатыхъ, колкихъ приговорахъ: его языкъ напоминаетъ языкъ Наполеона, который, какъ извъстно, благодаря мъткости своихъ выраженій, породилъ столько же пословицъ, какъ и Гриботдовъ. Нельзя, кромт того, забывать, что Грибовдовъ былъ современникомъ всевластнаго надъ Европою Байрона (монологъ Репетилова: "о камерахъ, присяжныхъ, о Байронѣ-ну, о матеріяхъ важныхъ") и что едва ли онъ былъ свободенъ въ своемъ обращении отъ нѣкотораго холоднаго и высокомърнаго дендизма, который спокойномъ и сказывался въ вызывающемъ осмѣиваніи собесѣдника. Въ параллель съ этимъ, и аристократизмъ Чацкаго сказывается во всемъ: въ его неподражаемо-ироническомъ допросъ Молчалина, съ чисто свътскимъ и даже слегка фатоватымъ каламбуромъ: "я взжу къ женщинамъ, да только не за этимъ", - въ его горделивыхъ сентенціяхъ, --- въ томъ изящномъ остроуміи, которымъ онъ, по волѣ автора, заразилъ всю пьесу,-въ его обращении со своимъ лакеемъ, когда тотъ, передъ концомъ пьесы, не во-время появился ("выталкиваетъ его вонъ") и т. д. Замътимъ еще, что аристократизмъ самого автора обнаружился, напримёръ, и въ коротенькой фразъ графини - внучки: "Il vous dira toute l'histoire", которая риемуетъ со стихомъ: "ужъ

нътъ ли здъсь пожара?", изъ чего слъдуетъ, что Грибовдовъ заставилъ эту внучку произнести чисто по-французски "истуарэ", (е muet). Чацкій, какъ благовоспитанный человѣкъ, долженъ держать себя на сценъ съ "холоднымъ и блестящимъ", по выраженію Пушкина, самообладаніемъ. И, дъйствительно, весь тонъ его репликъ--когда читаешь книгу, а не смотришь на актера-вездъ именно таковъ, когда онъ бесъдуетъ съ къмъ бы-то ни было, кромъ Софьи. Исключение составляеть лишь монологъ второго дъйствія: "а судьи кто?", въ которомъ Чацкій впервые высказываеть передъ Фамусовымъ свое profession de foi и знакомить зрителя съ идеалами тогдашняго молодого поколѣнія, увымолодого и до нашихъ дней!.. Но и здъсь чувствуется, что въ дикціи Чацкаго гораздо рѣзче должна звучать безнадежная насмъшка, унижающая его слушателей, нежели пылкость, разсчитанная на то, чтобы его поняли... Вся роль Чацкаго, въ его столкновеніяхъ съ тъми пигмеями, которые его окружають, проведена авторомъ такимъ образомъ, что Чацкій всегда элегантно-высокомърнымъ и плъниостается тельно-остроумнымъ. Его побаиваются и отъ него отскакивають, но не потому, чтобы онъ буянилъ, разносилъ или хмурился; напротивъ, онъ держить себя, въ свътскомъ отношении, какъ настоящій лордъ, съ величайшею корректностью и милымъ юморомъ, но его всѣ боятся именно

за ядовитый блескъ его ума, — за содержаніе, а не за тонъ его ръчей.

Рядомъ съ этимъ, исполнителямъ Чацкаго слѣдовало бы оттѣнить его искреннее оживленіе и страсть во вс'вхъ его разговорахъ съ Софьею. Здёсь только у Чацкаго говорить молодое, тревожное сердце. Даже самый монологъ о французикъ изъ Бордо адресованъ Чацкимъ именно къ Софьв--къ этой Галатев, которую никакъ не можетъ оживить Пигмаліонъ, и потому этоть монологъ выливается у Чацкаго такъ вдохновенно и горячо. И если бы актеръ, играющій Чацкаго, усвоилъ себѣ эту разницу въ сношеніяхъ героя пьесы съ Софьею и со встми остальными, тогда бы передъ зрителемъ ясно выступили два горя, заключающіяся въ пьесѣ, какъ удачно выразился Полонскій въ своемъ стихь: "горе отъ любви и горе отъ ума", потому что оба эти горя составляють живое содержание комедіи.

Многіе, начиная съ Бѣлинскаго, недоумѣвали: изъ-за чего Чацкій могъ полюбить такую дѣвушку, какъ Софья? Въ этотъ вопросъ уже внесли много свѣта Гончаровъ и г. Суворинъ. Гончаровъ находилъ, что "въ чувствѣ Софьи Павловны къ Молчалину есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина". "Обѣ, какъ въ лунатизмѣ, бредятъ въ увлеченіи съ дѣтской простотой". "Вообще къ Софьѣ трудно отнестись не симпатично: въ ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого

Digitized by Google

ума, страстности и женской мягкости. Она загублена въ духотъ, куда не проникалъ ни одинъ лучъ свъта, ни одна струя свъжаго воздуха. Не даромъ ее любилъ Чацкій". Возражая Бѣлинскому, г. Суворинъ сказалъ: "Грибоъдовъ долженъ былъ поразить такого наивнаго человѣка, какъ Бълинскій, совершенно реальнымъ изображеніемъ любви, самой ходячей, обыденной, безъ фразъ, а той, которая начинается глазами и быстро переходить въ объятія и ночныя свиданія съ ихъ нѣгою и возбужденіемъ, когда плоть говорить съ плотью. Грибойдовъ въ этомъ отношения является первымь русскимь реалистомь. предупредившимъ Пушкина и Толстого... Грибовдовъ зналъ умъ и сердце человвческое непамъримо лучше, чъмъ Бълинскій". Къ этимъ разъясненіямъ прибавлять нечего. Можно развѣ только вспомнить примъры: за что Пушкинъ полюбилъ Н. Н. Гончарову? Изъ-за чего Лассаль, какъ и Пущкинъ, былъ убить на дуэли. влюбившись въ красивую Елену фонъ-Раковицъ? Любовь Чацкаго къ Софьѣ Павловнѣ нужно принимать какъ фактъ, объясняемый ихъ близостью въ отроческіе годы, душевною нѣжностью и красотою Софьи, и, наконецъ, тъмъ, что всякій влюбленный мужчина всегда невольно населяеть любимый женскій образъ своими собственными идеалами.

И если бы публицистическая сторона пьесы не подавляла, благодаря тенденціознымъ симпатіямъ нашей публики, романтической ея стороны, если бы не существовало предразсудка, что такому человѣку, какъ Чацкій, едва ли возможно полюбить Софью глубоко и серьезно, если бы эта часть драматической интриги не исполнялась спустя рукава, а сообразно съ удивительнымъ лиризмомъ текста во всѣхъ сценахъ, гдѣ Чацкій выражаетъ свою любовь, тогда бы произведеніе Грибоѣдова выиграло неизмѣримо во всей своей жизненной правдѣ.

II.

И до сихъ поръ эта удивительная пьеса гораздо живъе въ чтеніи, нежели на сценъ. Когда читаешь "Горе отъ ума", тогда осязательно чувствуещь жаркую и мучительную любовь Чацкаго къ Софьѣ, чувствуешь, что въ этомъ именно кроется не механическая пружина, а живой нервъ комедіи. Для одной только Софьи Чацкій пріѣхалъ въ Москву. Все остальное, т. е. громадное превосходство Чацкаго надъ старымъ поколѣніемъ и тотъ невольный смотръ, который при этомъ произвелъ Чацкій всёмъ пошлостямъ московскаго общества — все это слагается само собою. Талантливый юноша и неподражаемый острякъ, Чацкій, въ теченіе трехъ лѣтъ своего отсутствія изъ Москвы, недосягаемо переросъ всю ту среду, съ которою разстался. Онъ съ перваго же свиданія смутно чувствуеть, что единственная мечта его сердца-Софья, какъ будто уже отошла отъ него. Онъ боится върить 27*

`...

такому несчастью и остается надъющимся и взволнованнымъ до конца. Между тъмъ романтическая Софья, созрѣвшая для любви какъ разъ въ отсутствіе Чацкаго и фатально обратившая свои мечтанія на красиваго и лицемфрно-доброд втельнаго Молчалина, проживавшаго съ нею въ одномъ домъ, - Софья уже успъла беззавѣтно отдать въ плѣнъ свое сердце этому хитрому лакею. Она такъ наэкзальтировалась запретными свиданіями съ Молчалинымъ, эти свиданія такъ пленили ее своею невинностью, скромною грустью, вздохами и рукопожатіями, что Чацкій съ своимъ трезвымъ умомъ и живою страстью показался ей грубою и враждебною помѣхою къ ея наслажденію тайною меланхоліею ея чувства. Въ то же время, какъ оказывается, и отецъ Софьи, Фамусовъ, прочилъ ей въ мужья совсѣмъ иного сорта людей, нежели Чацкій. Сердце Чацкаго сжимается болью. Противъ него отецъ-это бы еще не бъда, но противъ него, кажется, и сама дочь... Онъ въ этомъ боится убъдиться и страдаетъ.

А Софья сильно влюблена въ Молчалина и энергично защищается отъ Чацкаго. Ея холодность на него не дъйствуетъ; Чацкій подвергаетъ ее допросамъ; она ръшительно не знаетъ, какъ отъ него отвязаться и вдругъ, — благо у Чацкаго много враговъ изъ-за его колкаго языка, —Софья, на удачу, бросаетъ въ бальную толпу подозръніе, что Чацкій не въ своемъ умъ. Такая сплетня всъмъ на руку: и хозяину, п гостямъ, озлобленнымъ на Чацкаго. И сплетня разгорѣлась съ необычайною быстротою.

Зарожденіе и чрезвычайно успѣшное торжество этой сплетни обрисованы Грибоѣдовымъ геніально. Первые сѣятели клеветы даже не названы Грибоѣдовымъ по фамиліи: это—гг. N. и D. Какой дивный штрихъ! Отнынѣ буквы N. и D. могутъ считаться микробами сплетни, тѣми непримѣтными частицами; носящимися въ воздухѣ, которыя въ нѣсколько мгновеній могутъ создать самую губительную эпидемію злословія.

И подъ-конецъ, все открывается Чацкому: и неизлечимая влюбленность Софьи въ Молчалина, и низость Молчалина, и басня о его собственномъ сумасшествіи...

Это—сама жизнь съ ея сложными и безсмысленными страданіями, это правдивая поэма реальныхъ чувствъ и характеровъ, а не то, что у насъ принято видѣть въ комедіи Грибоѣдова, т. е. только лишь искусно выбранную канву для могучей сатиры на общество...

III.

Правъ былъ г. Боборыкинъ, когда онъ на юбилейномъ вечеръ говорилъ, что всъ дъйствующія лица "Горя отъ ума" уже успъли сдълаться для насъ "достолюбезными". И въ самомъ дълъ: какъ не полюбить то, что не вымышлено исключительно для назиданія, но живьемъ выхвачено изъ нашей родной дѣйствительности! Какъ не любоваться неподражаемовърнымъ изображеніемъ живыхъ людей съ ихъ плотью и кровью! Здѣсь уже слабѣетъ и самая укоризна противъ нарисованныхъ лицъ: остается только одно наслажденіе искусствомъ художника.

Барскій домъ Фамусова и всѣ дѣйствующія лица комедіи навсегда сдѣлались животрепещущими образами въ нашей памяти. Мы видимъ воочію этоть хлебосольный и зажиточный домъ съ двумя жильями и многими антресолями, просторный, теплый и удобный, съ отдушничками и софами, съ Петрушкой, Лизой, Филькой, Өомкой и многочисленною челядью, которая съ утра поднимаетъ стукъ и ходьбу въ комнатахъ. когда "метутъ и убираютъ" Всв мелочи этой драматической поэмы получили для насъ интимную прелесть: часы съ музыкой, поднимающіе звонъ при самомъ открытіи пьесы,-календарь Фамусова, -- нессесеръ, предлагаемый Молчалинымъ въ подарокъ Лизъ: "снаружи зеркальце и зеркальце внутри", -слуховая трубка князя Тугоуховскаго и т. п. О лицахъ и говорить нечего: каждое изъ нихъ намъ знакомо, какъ самый близкій человѣкъ. И все это одухотворено навѣки чудеснымъ даромъ художника.

Центромъ комедіи является, конечно, Чацкій. Онъ есть то самое солнце, вокругъ котораго вращаются всѣ прочія темныя тѣла. Попадая въ его лучи, эти тѣла мгновенно озаряются до

самаго своего нутра, обнаруживають всю свою природу-и затемъ, оборачиваясь къ нему тыломъ, дълаются еще болье темными. Чацкаго, т. е. Грибоъдова не даромъ сравнивали съ Наполеономъ и Гамлетомъ; онъ смотрѣлъ необычайно далеко впередъ, черезъ головы современниковъ; онъ носилъ въ себѣ мучительный вопросъ: "быть или не быть русскому самосознанію?" Если вы вдумаетесь въ тв вопросы, которые поднялъ вокругъ себя Чацкій, то вы уви-' дите, что всѣ послѣдующіе публицисты и сатирики только пережевывали его жвачку. Раньше Пушкина и Тургенева, Чацкій заклеймилъ крѣпостное право двустишіемъ: "На кръпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ-отъ матерей, отцовь отторженныхь дътей"... Онъ первый заставилъ нашихъ реакціонеровъ живо и страстно высказаться противъ науки: "ученье-вотъ чума, ученость-вотъ причина", или: "тамъ упражняются въ расколахъ и безвѣріи профессора! У нихъ учился нашъ родня... Онъ-химикъ, онъботаникъ"! Въдь эти восклицанія, въ сущности, предусматривають шестидесятые годы и возмущеніе противъ базаровскихъ лягушекъ!.. Чацкій благородно взывалъ къ чувству собственнаго достоинства и къ "свободной жизни" русскихъ людей, къ которой вражда "предыдущаго въка", "за древностію літъ", была непримирима. Объ этомъ въкъ онъ, не обинуясь, сказалъ: "прямой былъ въкъ покорности и страха, все подъ личиною усердія къ царю"! Своимъ отношеніемъ къ

Фамусову и Молчалину онъ уже намѣтилъ основные мотивы щедринской сатиры на бюрократію. А безвредное фрондерство "нашихъ старичковъ" — этихъ настоящихъ "канцлеровъ ез отставкт по уму"?: А геніальныя каррикатуры нашихъ клубныхъ заговорщиковъ?.. Кто вызвалъ всѣ эти какъ бы случайныя и драгоцѣнныя разоблаченія, какъ не Чацкій, т. е. опять-таки Грибоѣдовъ?

Вотъ почему фигуру Чацкаго слъдуетъ изображать на сценъ съ тою бережностью, съ ко- " торою принято выставлять передъ публикой великія историческія личности. Пора отождествить его съ Грибоъдовымъ, т. е. съ лицомъ вполнъ реальнымъ, съ благовоспитаннымъ и, по возможности, сдержанно изящнымъ, -- сильнымъ по натурѣ и обаятельнымъ по внѣшности, --- молодымъ человѣкомъ, который держится естественно уже по тому, что онъ геніаленъ,-потому, что въ немъ кроется государственный умъ съ необычайно широкимъ кругозоромъ. Это не крикунъ и не ходатай, а спокойная сила, сознающая свое превосходство. Кромъ того, это не призракъ не пошлая публицистическая аллегорія, а живой человѣкъ съ общечеловѣческими страстями и привязанностями, съ опредѣленно-очерченнымъ въ пьесъ событіемъ изъ его жизни, имъвшимъ громадное значение для его сердца-это, если влюбленное историческое лицо, xornre, которое нестерпимо, до глубины своей души,

пострадало въ этомъ эпизодѣ, но, конечно, не перестало быть историческимъ.

Ради художественной истины, мнѣ казалось необходимымъ возстановить аристократизмъ Чацкаго-Грибофдова. Аристократизмъ такихъ людей, какъ Грибовдовъ, Пушкинъ и Лермонтовъ, былъ синонимомъ истинно-высокаго развитія въ лучшемъ смыслъ слова: не даромъ всѣ эти аристократы (какъ и Байронъ) враждовали въ своей поэзіи съ тою самою средою, къ которой они принадлежали по рожденію и воспитанію. Но они невольно заимствовали изъ этой среды то изящество и гордость тона, которыя имъ однимъ принадлежали по внутреннему праву. Въ этихъ истинныхъ аристократахъ было нѣчто такое, что не только выше обыкновенныхъ людей, но какъ будто и "выше міра". Они видѣли дъйствительность насквозь, они горячо любили въ ней все благородное, но вмъстъ съ тъмъ, какъ - то удивительно легко выходили они изъ жизни. Грибовдовъ – этотъ обаятельный острякъ-въ душѣ тосковалъ и мрачно смотрѣлъ въ будущее, предвидя для себя или сумасшествіе или самоубійство. Эта скрытая печаль вырвалась и у Чацкаго: "Куда ни взглянешь, все та же гладь и степь, и пусто, и мертво..." Всѣ трое-Грибоъдовъ, Пушкинъ и Лермонтовъ-убиты въ ранніе годы. Всв трое писали: Пушкинъ — "и томитъ меня тоскою шумъ", — Лермонтовъ: однозвучный жизни "давно пора мнѣ міръ увидѣть новый!"--и Грибоѣдовъ, уходя со сцены, вмѣстѣ съ Чацкимъ;— "карету мнѣ! карету!"

Почему это? Были ли эти великіе люди неудовлетворены нашею жизнью, или жизнью вообще, — кто скажеть?...

1895 г.



Вырожденіе риомы.

(Замътки о современной поэзіи).

Лъта къ суровой прозъ клонятъ Лъта шалунью риему гонятъ. *Пушкинъ.* Умчался въкъ эпическихъ поэмъ И повъсти въ стихахъ пришли въ упадокъ.

О чемъ писать? Востокъ и Югъ Давно описаны, воспъты; Толпу ругали всв поэты, Хвалили всв семейный кругъ; Всв въ небеса неслись душою, Взывали съ тайною мольбою Къ N. N., невъдомой красъ, И страшно надоъли всъ.

Лермонтовъ.

I.

Такъ говорили гиганты нашей поэзіи. Слова ихъ оказалисъ пророческими. Ихъ чудныя пѣсни были почти послѣдними. Въ настоящее время, казалось бы, уже вполнѣ ясно, что возрастъ европейской изящной литературы долженъ заставить ее понемногу отказываться отъ риемы, какъ отъ нарядовъ молодости, ибо ничто не въ силахъ отвратить этого законнаго теченія вещей *).

Дъ́йствительно, всъ̀ стихи, какими писали отъ Гомера до нашихъ дней, въ особенности риемованные стихи, –положительно доживаютъ свой въ̀къ. Всъ̀ образцы римской поэзіи, пъсни трубадуровъ, терцины Данте, сонеты Петрарки, бъ́лый стихъ Шекспира, вся дивная версификація эпохи Гете, Шиллера, Байрона, Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, Гюго, Мюссе и Гейне, всъ̀ эти формы поэтическаго творчества окончательно омертвъ́ли. Отъ этихъ формъ ожидать больше нечего. Новыхъ стиховъ прежняго образца можно смѣло не читать вовсе, или, пожалуй, можно ихъ прочесть, чтобы тотчасъ забыть.

Замѣчательно, что послѣ Гейне не было уже ни одного великаго риомующаго поэта. Мнѣ могутъ возразить: "но что же значитъ полстолѣтія въ явленіи, столь вѣчномъ, какъ поэзія?" Подобное возраженіе, очевидно, смѣшиваетъ форму съ содержаніемъ. Вѣдь поэзія не въ однѣхъ риомахъ... Поэзія, конечно, будетъ жить,

^{*)} Я разумѣю возрастъ всей европейской культуры, включая сюда и Россію. Ибо, хотя мы вообще молоды, но въ изящной словесности вполнѣ сравнялись съ Европою и, быть можетъ, даже опередили ее.

пока живы люди, но она будеть искать новыхъ оболочекъ. Недаромъ крупнъйтпіе всемірные поэты второй половины въка—Тургеневъ, Флобэръ и Мопасанъ — высказали себя уже прямо въ прозъ.

Чтобы убѣдиться въ обветшалости риемы. необходимо сдѣлать бѣглый обзоръ европейскаго Парнаса, начиная съ шестидесятыхъ годовъ.

II.

Въ то время отъ великой эпохи пъснопъвцевъ оставался въ живыхъ только Викторъ Гюго, пережившій на многіе годы Мюссе и Гейне. Обаяние этого подлиннаго поэта для современниковъ не ослабъвало до его послъдняго вздоха. Не взирая на возраставшій матеріализмъ, на реальную переоцънку всъхъ идеальныхъ цънностей, — маститый бардъ Франціп продолжалъ казаться божественнымъ. Романтикъ, преисполненный величавой таинственности, могучій риторъ, неподражаемый изобрътатель эффектовъ, защитникъ угнетенныхъ, соціалистъ, трибунъ и въ то же время неисправимый мечтатель и пророкъ, Викторъ Гюго все также въщалъ міру свой ослѣпительный бредъ, презирая наплывавшее со всёхъ сторонъ положительное міросозерцаніе. Такія слова, какъ "Тайна", "Бездна", "Тѣнь", "Греза" (O, Mystére! Gouffre! Ombre! Rêve!) не сходили съ его устъ. Языкъ этотъ

былъ у него такъ естествененъ, что никакія пародіи на него (правда, всегда добродушныя)не ослабляли величія поэта. Даже комическое самообожание Гюго не вредило его славъ. Его имя было гораздо более всемірнымъ, нежели въ наши дни имя Л. Толстого. Викторъ Гюго казался геніемъ, превосходящимъ все земное--безспорнымъ и волшебнымъ. Съ его смертью точно оборвалась послѣдняя связь съ небомъ: исчезъ послѣдній великій мечтатель. И это были дъйствительно послъдние звуки той высшей музыки слова, которая болѣе не воскреснетъ... Ибо, сколько бы ни уменьшилось теперь имя Гюго передъ судомъ потомства, все-таки это былъ таланть яркій и громадный. Его метрическая ръчь запечатлъна тою невозвратною красивостью, которая была свойственна только поэтамъ-романтикамъ: ни одно прозаическое выраженіе, какъ-то по самой природѣ вещей, не могло проникнуть въ его пѣвучія строфы.

Итакъ, въ шестидесятые годы сіялъ изъ Франціи надъ цѣлымъ міромъ только одинъ великій поэтъ. Новые французскіе поэты уже мало выдвигались. Остальная Европа почти безмолвствовала.

У насъ, послѣ Пушкина и Лермонтова стихотворная поэзія также быстро пошла на убыль. Казалось, что послѣднее "сошествіе огненныхъ языковъ" осѣнило только главы писателей, родившихся не позже двадцатыхъ или самаго начала тридцатыхъ годовъ. Если назвать Майкова, Фета, Полонскаго, Мея, Тютчева и Алексъя Толстого, то этимъ и можно закончить списокъ тъхъ истинныхъ русскихъ поэтовъ, на признаніи которыхъ сойдутся всъ партіи.

Некрасову я посвятилъ особый этюдъ. Это быль поэть, входившій въ славу посля развёнчанія Пушкина, и какъ бы принявшій на себя роль дать новое примѣненіе риемѣ. Онъ царствоваль въ самый характерный періодъ "обмъна веществъ" между стихомъ и прозой. Въ то время, какъ Тургеневъ цълымъ рядомъ своихъ твореній довелъ прозу до поэзіи — Некрасовъ, Розенгеймъ, Алмазовъ и другіе работали надъ тъмъ, чтобы "опрозаить" стихъ. Съ водвореніемъ въ литературъ гражданской поэзіи, старые лирики выступали ръдко и какъ-то сконфуженно. На появление новыхъ поэтовъ прежняго строя, казалось, нельзя уже было и разсчитывать. Такъ протекли всв шестидесятые годы.

Но въ началѣ семидесятыхъ годовъ, тамъ и сямъ какъ бы снова раздались романтическіе напѣвы. Изъ этихъ, такъ сказать, "нео-романтиковъ" наибольшую симпатію читателей заслужили гр. Голенищевъ-Кутузовъ и Апухтинъ. И, однако, они уже кое-что утратили изъ того непосредственнаго "помазанія божьяго", которое досталось ихъ предшественникамъ. На ихъ лирикѣ уже какъ бы покоился лишь отраженный свѣтъ прежнихъ свѣтилъ. Оба поэта возвратились къ пушкинской традиціи (въ особенности гр. Голенищевъ-Кутузовъ, благоговъйно принявшій даже пушкинскіе архаизмы), но ни цъльности, ни подлинной современности у нихъ не было *). При всемъ благообразіи этихъ поэтовъ, на нихъ все-таки примъчалась одежда съ отцовскаго плеча. Это была старо-дворянская поэзія, проникнутая у гр. Голенищева-Кутузова меланхоліей забытой усадьбы, а у Апухтина—романтическимъ паеосомъ литературно - образованнаго барина. Впрочемъ, оба эти поэта сохранили еще добрыя качества наслъдственнаго лиризма **).

*) Годъ спустя послѣ этого очерка Л. Толстой гораздо суровѣе высказался о послѣ-пушкинской поэзіи. Вотъ, что онъ пишетъ въ предисловіи къ переводу романа Поленца "Крестьянинъ": "Въ русской поэзіи послѣ Пушкина, Лермонтова (Тютчевъ обыкновенно забывается), поэтическая слава переходитъ сначала къ сомнительнымъ поэтамъ: Майкову, Полонскому, Фету, потомъ къ совершенно лишенному поэтическаго дара Некрасову, потомъ къ искусственному и прозаическому стихотворцу Алексѣю Толстому, потомъ къ однообразному и слабому Надсону, потомъ къ совершенно бездарному Апухтину, а потомъ уже все мѣшается и являются стихотворцы, имъ же имя легіонъ, котсрые даже не знаютъ, что такое поэзія и что значитъ то, что они пишутъ и зачѣмъ они пишутъ".

**) Пропускаю все, что мною было сказано о моей личной прикосновенности къ стихамъ. Я встрътилъ въ печати мнъніе, будто въ этомъ эпизодъ моей лекціи звучала "досадная себялюбивая нотка"! Вотъ ужъ поистинъ-у каждаго своя психологія...

Оставляю только слѣдующія строки:

Въ испробованной мною области искусства я вскоръ почувствовалъ себя, какъ въ опустъломъ дворцъ леген-

III.

Вскорѣ затѣмъ появились Минскій, Надсонъ и Мережковскій. Сперва — о Надсонѣ. Теперь уже нѣтъ надобности распространяться о томъ, насколько была преувеличена слава этого поэта. Тому содѣйствовали многія побочныя причины, не имѣющія значенія для моего этюда. Время понемногу отводитъ Надсону его надлежащее мѣсто. Но независимо отъ случайностей, успѣхъ Надсона объясняется наивною чистотою его возраста, которая весьма удачно отразилась въ его стихахъ. Наивность сама по себѣ уже есть поэзія. Молодой человѣкъ съ благородными порывами, нѣжный и страдающій, обреченный на раннюю смерть, — развѣ все это не трогательно? И Надсонъ разсказалъ самого себя въ стихахъ,

Мнѣ скажутъ: "быть можетъ, дѣло было гораздо проще. Быть можетъ, вы просто убѣдились, что изъ васъ никогда не выйдетъ хорошаго поэта, а потому во-время и весьма благоразумно оставили это занятіе. Это вашъ личный случай. Но чертоги поэзіи отъ этого не утратятъ своей вѣчной новизны и тѣ истинные избранники, которые въ нихъ войдутъ, почувствуютъ себя во Дворцѣ Музъ, какъ у себя дома". Охотно соглашаюсь съ первою частью этого возраженія, но вовсе не согласенъ со второю.

28

дарныхъ владыкъ... Архитектура, акустика, украшеніе комнатъ, окна, двери, мебель и утварь—все это оказывалось уже неприспособленнымъ для современной жизни. И я съ жуткимъ чувствомъ покинулъ эти великолъпные чертоги еще недавней, но уже сказочной старины...

простыхъ, милыхъ и музыкальныхъ, иногда юношески болтливыхъ, съ немудреными мыслями, съ ученическими сравненіями, подчасъ со звонкими либеральными фразами объ "идеалъ", "наукъ", "родинъ", — подчасъ какъ бы съ героическою, чисто юношескою позировкою — и все это вмъстъ отразило въ его сборникъ привлекательный типъ нашего восторженнаго и чувствительнаго, едва созръвающаго юноши. Но именно потому, что Надсонъ началъ и кончилъ писать, сохраняя всё типическія черты незрълаго юноши, его полудътская поэзія совсѣмъ не идетъ въ счетъ при разсмотрѣніи общаго хода вещей и нисколько не нарушаеть постепеннаго упадка непосредственной свъжести въ созданіяхъ старѣющей лирики.

Гораздо знаменательнъе карьера двухъ другихъ поэтовъ — Минскаго и Мережковскаго. Минскій началъ съ либеральной поэзіи. Но онъ сразу же проявилъ индивидуальныя черты. Его либерализмъ былъ не прежній, не народническій и гражданскій, а болѣе широкій — общечеловѣческій. Кромѣ того, его языкъ, нѣсколько торжественный и театральный, былъ все-таки его собственный, новый языкъ. Русскіе читатели, воспитанные въ жаждѣ поученія, начали къ нему прислушиваться, возлагали на него надежды. Но когда поэтъ оставилъ первоначальную тему, когда онъ, такъ сказать, пережилъ "волненія на зарѣ жизни" и обратился къ тѣмъ, повидимому, непрактическимъ вопросамъ, къ

которымъ невольно влечется душа поэта, --когда онъ заговорилъ о красотѣ, о природѣ, о своихъ сокровенныхъ думахъ, - къ нему охладѣли. Впрочемъ, и самъ поэтъ временно отсталъ отъ стиховъ и занялся философіей. Онъ написалъ замъчательную книгу "При свътъ совъсти", безспорно лучшее свое произведеніе, въ которомъ исчерпалъ себя окончательно. Авторъ оказался талантливымъ архитекторомъ въ построеніи логическихъ системъ и сильнымъ ораторомъ въ прозъ. Въ особенности удалась Минскому первая часть его сочиненія, въ которой онъ ярко и страстно выразилъ всѣ страданія своей мысли. По окончании этого философскаго труда, Минскій опять возвратился къ стихамъ, но стихи его уже были отнынъ только музыкальными иллюстраціями къ выработанной имъ системъ міровоззрънія. Въ нихъ вы найдете много ума и краснорѣчія, но нигдѣ не услышите непосредственной, безотчетной мелодіи, исходящей прямо изъ души. Слишкомъ замѣтно, что всѣ эти стихотворенія отдѣлываетъ лирикъ по заказу философа. Первый стихъ каждой вещиэтотъ лучшій камертонъ вдохновенія — почти никогда Минскому не удается: явная примъта, что основная мелодія никогда не приходить къ нему сразу въ готовомъ видѣ, какъ это всегда бываеть у природныхъ пъвцовъ. Каждая строчка изобрътается отдъльно. Плавная связь между ними — естественный потокъ мелодіи удается поэту весьма ръдко. Иногда прихо-28*

дится останавливаться надъ отдёльнымъ стихомъ, чтобы вдуматься въ то, что въ него вложено, прежде чъмъ пойти далъе. Получается нѣчто вродѣ того, какъ если бы приходилось останавливать музыканта на каждыхъ трехъ тактахъ и послъ долгой паузы говорить ему: "Хорошо. Теперь продолжайте". Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ утрачивается цъльность гармоніи и самое чередованіе риомъ уже не плѣняеть, не интересуетъ читателя. Въ самыхъ интересныхъ вещахъ именно и чувствуется такая неподатливость формы, точно самый метръ жалуется: "не вините меня, мнъ поручено дъло неподходящее"... Дёло въ томъ, что Минскій познаетъ красоту своимъ умомъ, пламенъетъ предъ нею своею кровью, но его душа и сердце въ этомъ не замѣшаны. Въ немъ очень много темперамента, но почти нътъ чувства. Поэтому, когда Минскій прибъгаетъ къ риемъ, чтобы красиво умничать, гармонія его стиха какъ бы переживаетъ половинный параличъ. Напротивъ, когда онъ берется за простые старые сюжеты, напримъръ, когда слагаетъ любовныя пъсни, его мелодія сразу пріобрѣтаетъ естественную плавность. Оно и понятно: сочетание ума и страсти все-таки создаетъ нъкоторое подобіе чувства. Страсть не свой брать: подъ ея вліяніемъ всякій заговорить безотчетно. И мы видимъ, что наиболфе поэтическія строфы, созданныя Минскимъ, внушены ему любовью къ одной и той же героинъ его романа, - къ особъ, впрочемъ, весьма исключительной, болье похожей на философскій символъ какого-то высшаго безразличія, нежели на живое женское лицо. Такъ что даже въ этихъ мелодіяхъ философъ, лишь скрѣпя сердце, пробуетъ отпустить поэта на волю. Извъстно, что съ помощью своей философской системы, Минскій пришелъ къ исповѣданію той высшей свободы, которая исцёляетъ отъ привязанности ко всему живому. Этимъ способомъ философъ — Минскій придумалъ очень красивое объяснение для того разсудочнаго холода, который образовался въ душъ Минскагопоэта. Въ результатъ, однако, получилось то, что самыя искреннія пьесы Минскаго (его сонеты) выражають не что иное, какъ прощаніе съ лирикой:

"Я усталъ и боленъ. Я—трупъ живой. И я равно безволенъ. Желать или желанья одолъть". (Сонетъ XI). "Какъ хорошо не видъть дня и ночи, Забыть всъ звуки, краски и слова, Не знать людей, не жаждать божества. (Сонетъ XIII).

А вотъ и форменное признаніе, что поэтъ не можетъ выразить себя въ пѣсняхь. Въ сонетѣ IX-мъ Минскій говоритъ, что его обступили его замыслы, какъ нищіе у храма:

И молять: Намъ темно! Намъ холодно! Согрѣй Насъ пламенемъ труда. О, выведи скорѣй Изъ тьмы возможнаго на свѣтлый день живого! Вдохни въ насъ жаръ любви! Одѣнь въ одежды слова! Такъ молять. И душа, не въ силахъ имъ помочь, Спѣшитъ, потупя взоръ, спѣшитъ отъ храма прочь. Этими словами Минскій "отпѣлъ" для самого себя прежнюю лирику. Да!!. Ничего другого не остается, какъ только, "потупя взоръ, уйти отъ храма прочь".

Я остановился подробнѣе на Минскомъ, потому что онъ представляетъ собою типичнѣйшій современный образецъ двуликаго "поэтаумника". Его можно наблюдать, какъ воплощенную дегенерацію прежняго поколѣнія лириковъ, разгромленныхъ позитивизмомъ середины вѣка. Минскій не успѣлъ перейти къ новому, самому послѣднему настроенію, которое, быть можетъ, призвано выработать лирическую форму для поэзіи будущаго, т. е. къ вазрастающей жаждѣ "Бога живаго". Минскій остался какъ разъ на границѣ новаго періода.

Не преуспѣлъ въ лирикѣ и Мережковскій, хотя онъ одинъ изъ самыхъ "новыхъ" по настроенію. И этотъ преемникъ Минскаго первоначально весь ушелъ въ стихи, какъ въ свою природную атмосферу. Онъ чудесно владѣлъ формою, писалъ горячо и образно, писалъ много и красиво, печаталъ даже большія поэмы, но что бы онъ ни дѣлалъ, ничто не "ударяло по сердцамъ". Изъ всѣхъ его выстраданныхъ, но никѣмъ не воспринятыхъ произведеній въ риемѣ, заслужила популярность только одна пьеска въ духѣ Толстовскаго ученія. — стихотвореніе "Саккія-Муни", попавшее даже въ репертуаръ вещей, читаемыхъ съ эстрады, — стихотвореніе, успѣхъ котораго вызывалъ у автора улыбку недоумѣнія... И вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ Мережковскій заявляетъ себя почти только въ прозѣ. Онъ обратился къ работамъ критическимъ и пишетъ историческіе романы. Энтузіастъ и мистикъ, натура болѣзненно-чуткая, — гораздо болѣе поэтъ по природѣ, нежели Минскій—Мережковскій отказывается отъ стиховъ...

Вотъ вамъ два человѣка, вполнѣ современныхъ, образованныхъ оригинальныхъ, вооруженныхъ всѣми средствами лирики. Почему же они не умѣютъ совладать съ этой чудесной лирой, освященной вѣками? Очевидно, потому, что волшебный инструментъ не можетъ передать и выразить ихъ душевной сущности. Скажутъ: "а быть можетъ, въ ихъ натурѣ нѣтъ настоящей поэзіи, это люди, книжные, болѣзненные, ненатуральные". А мы, всѣ прочіе современные люди, развѣ не такіе же? Вотъ въ этомъ-то и главный узелъ вопроса.

IV.

Извъстно, что Тургеневъ вполнѣ отрицалъ Некрасова, какъ поэта; извъстно также, что онъ предсказывалъ въ будущемъ нарожденіе "натуръ полезныхъ", но сомнъвался въ появленіи "натуръ плѣнительныхъ". Недаромъ въ некрологахъ, посвященныхъ Тютчеву и Алексъю Толстому, Тургеневъ чутъ не слагалъ реквіемъ русской лирикъ... Едва ли, въ глубинъ души, онъ еще върилъ въ ея возрожденіе.

Отецъ В. С. Соловьева говорилъ, что человвчество сдвлалось "больнымъ старикомъ". Двйствительно, мы не имѣемъ никакого цѣльнаго жизненнаго міросозерцанія. Поб'яды въ области естествознанія, ознаменовавшія середину в'вка, не обошлись безъ горькой расплаты. Огюсть Контъ, Бокль, Гартманъ, Бюхнеръ, Молешотъ, Геккель, Спенсеръ, Дарвинъ, химія, бактеріологія-куда тамъ послѣ всего этого до пресловутой "души человъческой"?! Между тъмъ романтики имъли эту душу. Въ отвътъ на тайны міра они высказывали тайны своей великой души — и эти двъ силы боролись почти какъ равныя. Поэты того времени пѣли, какъ птицы, въ соотвѣтствіи съ глубокой гармоніей міра. Но теперь уже немыслимо вернуться къ ихъ душевному строю. Вселенная слишкомъ притиснула человъка неотразимою мощью своей цвътущей и грозной матеріи... Викторъ Гюго, дожившій до этой новой эры позитивизма, отозвался на нее презрительнымъ стихомъ, однако же – не безъ смутной тревоги:

"Да, я върилъ, не спуская глазъ съ нашихъ предковъ, что человъкъ съ гордостью доказалъ существованіе своей души. И вотъ въ настоящую минуту, когда нъмецъ провозглашаетъ цълью существованія нуль и говоритъ мнъ: "Да здравствуетъ ничтожество!"—я, признаюсь, слушую его, разинувъ ротъ. И когда важный англичанинъ, корректный, щегольски одътый, въ превосходномъ бъльъ, говоритъ мнъ: "Богъ создалъ тебя человѣкомъ, а я тебя дѣлаю обезьяной; постарайся теперь сдѣлаться достойнымъ этой милости!" — подобное повышеніе заставляетъ меня невольно призадуматься" *).

Но другой поэтъ, болње близкій къ намъ по времени и болѣе правдивый-Тургеневъпри тъхъ же обстоятельствахъ почувствовалъ себя уже безпомошнымъ. Вы, конечно, знаете его стихотворение въ прозъ "Морское плавание", въ которомъ говорится, какъ однажды на кораблѣ онъ пожималъ "черную холодную ручку" тоскующей обезьяны, съ ея "почти человъческими глазами"-и она успокаивалась оть его близости. "И погруженные въ одинаковую, безсознательную думу", разсказываетъ поэтъ, "мы пребывали другъ возлъ друга, словно родные. Я улыбаюсь теперь... но тогда во мнъ было другое чувство.-Всѣ мы дѣти одной матери-и мнъ было пріятно, что бъдный звърекъ такъ довърчиво утихалъ и прислонялся ко мнъ, словно къ родному".

*) Oui, je croyais, les yeux fixés sur nos ayeux, Que l'homme avait prouvé superbement son âme. Aussi, lorsqu'à cette heure un Allemand proclame Zéro, pour but final, et me dit: O, néant, Salut!--j'en fais ici l'aveu, je suis béant; Et quand un grave Anglais, correct, bien mis, beau linge Me dit: Dieu t'a fait homme et moi je te fais singe, Rends toi digne à présent d'une telle faveur! Cette promotion me laisse un peu rêveur.

(France et âme. Légende des siècles).

Какъ хорошо сдѣлалъ нашъ безукоризненный и чуткій художникъ, что изложилъ это стихотвореніе именно въ прозѣ! Выше я воспользовался выраженіемъ Гете "Ich singe, wie der Vogel singt" и сказалъ, что всѣ романтики пѣли какъ птицы. Но мы такъ пѣть уже не можемъ. Мы можемъ пѣть развѣ только какъ слѣпцы, какъ нищіе "у вратъ обители святой"... А нищіе, сколько извѣстно, всегда поютъ скандированной прозой.

Приведенное стихотворение В. Гюго озаглавлено "Франція и душа" (Francé et âme). По мнѣнію поэта, въ его дни, душа еще не исчезла во Франціи. Но онъ заблуждался. Младшее поколѣніе поэтовъ, выступившихъ тогда на сцену, вовсе не оправдывало этой иллюзіи. Сюлли Прюдомъ занялся эстетическими миніатюрами. чуждыми глубокаго вдохновенія. "Парнасцы" предались чисто - литературной гастрономіи, услаждая свой тёсный кружокъ изысканными мелодіями, которыя, при всей красивости, въ сущности, остаются бездълушками. Франсуа Коппе сталъ излагать въ стихахъ сантиментальныя бытовыя картинки. Онъ отполировывалъ разные мелодраматическіе сюжеты, отчасти изъ стараго репертуара, отчасти изъ эпохи реванша. Жанъ Ришпенъ открыто богохульствовалъ, заявляя, что, "наука вспоила его чернымъ молокомъ своихъ горькихъ сосцовъ", и что онъ въритъ только тъмъ истинамъ, которыя ему открыла эта мать. Онъ воспѣвалъ

одну чувственность. Ему вторилъ и Катюль Мэндесъ, весьма усовершенствовавшійся въ риемованной передачъ изысканнаго и болъзненнаго эротизма.

Такъ было во Франціи. За тотъ же періодъ въ Англіи доживалъ свой вѣкъ поэтъ, родившійся въ прошломъ столѣтіи, лауреатъ королевы Викторіи, Теннисонъ, мало распространенный на континентѣ... Въ Германіи никого не было, кромѣ стараго Боденштедта, всего болѣе извѣстнаго по своимъ переводамъ изъ Лермонтова. Въ Австріи, Робертъ Гаммерлингъ, родившійся въ двадцатыхъ годахъ, писалъ превосходныя стихотворенія въ прежнемъ духѣ и даже создалъ необычайно яркую поэму "Агасееръ въ Римѣ", но все, что онъ писалъ, не производило и десятой доли того впечатлѣнія, какъ, напримѣръ, маленькій романсъ Дельвига въ тридцатые годы.

Очевидно, со старыми формами лирики случилось нѣчто непоправимое. Теперь эти формы либо дисгармонирують съ новымъ содержаніемъ, либо заставляють новыхъ пѣвцовъ, словно посредствомъ заводной пружинки, вяло и подражательно воспѣвать то, что уже давнымъ давно "описано и воспѣто" съ недосягаемою силою. Дѣйствительно. Оглянитесь на эти десятки тысячъ стихотвореній, пестрѣвшихъ въ нашихъ журналахъ, газетахъ и приложеніяхъ къ нимъ за послѣднее тридцатилѣтіе. Всплыло ли изъ моря забвенія хоть одно изъ нихъ? Вспомните эти безчисленные куплеты, воспъвающіе весну, восходы, закаты, ночи, сады, аллеи, облака, мечты, любовь, грусть, надежду, восторгь и отчаяніе—всь эти пьески ръшительно на одно лицо, всь онъ банальны и всъ забыты.

Какимъ же секретомъ обладали пѣвцы эпохи романтизма? Почему сюжетъ повѣсти укладывался у нихъ въ поэму такъ же легко и естественно, какъ драгоцѣнное ожерелье укладывается въ свою ложбину на бархатѣ футляра? Какъ это имъ удавалось выражать отдѣльныя настроенія своей души въ такихъ стансахъ, которые остаются вѣчными, подобно избраннымъ молитвамъ человѣчества?

Ихъ тайна заключалась въ томъ, что они смотрѣли на жизнь сквозь "магическій кристаллъ", который теперь разбить въ дребезги... Независимо отъ своихъ геніальныхъ дарованій (ибо среди тѣхъ поколѣній были и второстепенные таланты), пѣвцы того времени,—повторяю, обладали тѣмъ цѣльнымъ міросозерцаніемъ, которое дѣлало для каждаго изъ нихъ вѣчно-новыми "всѣ впечатлѣнія бытія". Отсюда свѣжесть и цѣльность ихъ вдохновеній.

Но если бы теперь появились такія же натуры, онѣ бы пришлись не ко времени и не создали бы ничего новаго, значительнаго. Да и при томъ въ наше время ни одна значительная, а тѣмъ болѣе великая натура не можетъ быть цѣльною. Гдѣ же намъ дописаться до прежней гармоніи, существовавшей между вдохновеніемъ и пѣснью?

Вспомните: "Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ", "Для береговъ отчизны дальней", "Выхожу одинъ я на дорогу", "Когда волнуется желтѣющая нива", "Печально я гляжу на наше поколѣнье", "Въ минуту жизни трудную"—вѣдь это цѣлые отдѣльные міры поэзіи въ нѣсколькихъ строкахъ! Переберите же милліоны стихотвореній, написанныхъ съ того времени самыми тонкими мастерами стиха: возвысилась ли хоть одна изъ этихъ пѣсенъ до такого синтеза чувства? Вобрала ли она въ свои риемы хоть сотую долю такой глубокой внутренней теплоты?..

Да, въ наши дни и на все предбудущее время, для всей старой культуры уже не можетъ народиться такихъ поэтовъ, у которыхъ бы "на мысли, дружныя какъ волны, какъ жемчугъ нанизывались слова"... Къ чему же, спрашивается, все еще разливается по всему свъту вся эта куплетная поддълка подъ поэзію? Что изъ нея можетъ вырости? Что изъ нея останется?

V.

Я сказалъ, что если бы теперь и появились подлинные поэты, то они были бы не ко времени. Въ нашей литературъ какъ разъ есть блестящіе тому примъры. Въдь у насъ и въ сію минуту имъется два самыхъ настоящихъ поэта, заброшенныхъ къ намъ словно маленькіе осколки аэролита изъ той сферы, въ которой жили полубоги нашей поэзіи. Кто ихъ оцъниваетъ и примѣчаетъ? А между тѣмъ это дѣйствительно рѣдчайшіе экземпляры той исчезающей миеологической породы-быть можеть, самые послѣдніе потомки Аполлона по прямой линіи: г. Фофановъ и г-жа Лохвицкая. Я не сомнъваюсь, что каждый, писавшій или пишущій стихи, сознается, что только у этихъ двухъ поэтовъ прежній стихъ остался природною формою ихъ ръчи. Но г. Фофановъ-лунатикъ, взирающій на жизнь, какъ на загадочный призракъ, а г-жа Лохвицкая замкнута въ узкомъ сюжетъ романтической любви и страсти. И оба поэта остаются чуждыми своему времени... Но попробуйте отрезвить Фофанова, приблизить его къ дъйствительностии вы не получите отъ него ни одной чудесной строки; попробуйте вывести г-жу Лохвицкую изъ ея сферы-и она уже не будетъ поэтессой.

Здѣсь будетъ кстати привести одно изъ послѣднихъ стихотвореній Фофанова. По своей плѣнительной формѣ оно какъ бы опровергаетъ меня, т. е. какъ бы доказываетъ живучесть прежней поэзіи, но зато по содержанію—вполнѣ поддерживаетъ мои доводы. Поэтъ съ глубокою страстностью жалуется на исчерпанность вдохновенія и умоляетъ искать новыхъ путей:

> Ищите новые пути! Сталъ тѣсенъ міръ, его оковы

- 447 -

Неумолимы и суровы,--Гдъ-жъ въчнымъ розамъ зацвъсти? Ищите новые пути! Мечты исчерпаны до дна. Изсякъ источникъ вдохновенья! Но близко, близко возрожденье, Иная жизнь-иного сна!.. Мечты исчерпаны до дна! Но есть любовь, но есть сердца... Великъ и въченъ храмъ искусства.-Жрецы невѣдомаго чувства Къ нему нисходятъ безъ конца!.. И есть любовь... и есть сердца... Мы не въ пустынъ, не одни, Дорогъ невъдомыхъ есть много, Какъ звъздъ на небъ, думъ у Бога, Какъ сновъ въ загадочной твни!.. Мы не въ пустынъ, не одни!

Читая эти волшебныя строки, сдается, что г. Фофановъ явился къ намъ изъ какого-то фантастическаго царства... Такъ и хочется спросить его: "откуда ты, прелестное дитя?" И намъ остается одно изъ двухъ: либо послѣдовать за г. Фофановымъ въ его сказочный міръ, либо, насладившись звуками его пѣсни, отойти въ сторону... Поэтъ ищетъ чего-то внѣ жизни, тогда какъ его великіе предки озаряли своимъ вдохновеніемъ всю дѣйствительность и при томъ настолько полно, что не перестаютъ быть близкими намъ и понынѣ. Но душа наша осложнилась и вотъ съ этимъ-то придаткомъ къ нашей прежней душѣ никакъ не справится сіяющая передъ нами старая романтическая форма, въ которую новые поэты все еще пытаются вложить свои настроенія и замыслы. Это чуеть даже искренно мечтающій г. Фофановъ и взываеть о "новыхъ путяхъ".

Поэтому ни современный, ни будущій писатель, желающій полно, искренно и прекрасно выразить глубокіе поэтическіе мотивы своей, такъ сказать, новой души, никогда не достигнеть этого результата, обращаясь къ старымъ формамъ поэзіи.

Но неужели риема — эта природная музыка рвчи-совсвмъ исчезнеть? Ввдь человвку всегда будетъ также свойственно риемовать, какъ ему свойственно напевать подъ веселую руку или въ минуту грусти... Да... Но я и не говорю о совершенномъ исчезновении риемы. Я хочу только разъяснить, что въ своихъ прежнихъ, симметрическихъ формахъ старый метръ съ его заключительными созвучіями окончательно отслужилъ свою службу для высшихъ цёлей словеснаго искусства. Теперь нужны совершенно другія гармоническія комбинаціи словъ. Отъ старой риемы в етъ такою же стариною, какъ отъ напудренныхъ париковъ, отъ мужскихъ шляпъ со страусовыми перьями, отъ полуженскихъ костюмовъ пажей, и отъ тяжкихъ рыцарскихъ латъ. Всѣми этими вещами мы можемъ любоваться только со сцены. Потому-то и старая риема теперь остается пригодною только для эстрады, для нъсколько приподнятаго и условнаго, но не для искренняго настроенія.

Замътьте, что декламаторы почти никогда не дерзають плънять публику чтеніемъ самыхъ лучшихъ вещей Пушкина и Лермонтова. Некрасовъ, Апухтинъ, Надсонъ и г-жа Шепкина-Куперникъ для этого гораздо пригоднъе. Но затвмъ всвхъ этихъ поэтовъ все-таки затмвваеть. по своему внѣшнему успѣху, г. Викторъ Крыловъ, съ его стихотворными монологами, сдъланными сообразно требованіямъ будничной театральной залы. Риема еще надолго останется для романсовъ, для оперныхъ либретто, для традиціонной прикрасы газеть и журналовь, для политической шутки, для стихотвореній на извъстные случаи. Сатирические куплеты и гривуазныя песенки въ увеселительныхъ садахъ точно также могутъ еще на неопредъленное время съ успѣхомъ эксплоатировать риему. Но это нисколько не исключаеть моего основного положенія, что ничего важнаго, глубокаго и въчнаго старыя риемы уже не въ состояни воплотить.

Необходимо сдѣлать еще одну оговорку. Старая форма поэзіи могла бы еще возродиться со всею своею прежнею красотою и силою развѣ только въ гимнахъ, псалмахъ и канонахъ какихъ-либо новыхъ религіозныхъ вѣрованій, потому что каждая новая вѣра вноситъ въ жизнь ту же святую наивность, какая оживляла воображеніе величайшихъ романтиковъ. И опять мы можемъ найти тому наглядный примѣръ въ нашей литературѣ.

29

Изъ цѣлаго вороха искуснѣйшихъ стихотвореній стараго образца, сочиняемыхъ теперь чуть не ежедневно газетными и журнальными сотрудниками, все-таки наиболфе выдвинулись религіозно-философскіе куплеты Вл. С. Соловьева. Хотя стихотворенія эти ценились по преимуществу вслёдствіе громкой славы автора на поприщѣ философіи, — но по крайней мѣрѣ божественный мотивъ его сюжетовъ какъ бы оправдывалъ примънение къ нему риемы. Замъчательно, что Соловьевъ, блистательно вышучивавшій декадентовъ за ихъ стихи, былъ совершенно такимъ же декадентомъ въ своей лирикъ. Многія его пьесы преисполнены весьма темныхъ выраженій и могли бы подвергнуться такимъ же комическимъ пародіямъ, какія онъ сочинялъ на декадентские стихи. Религия Соловьева была слишкомъ личная и его религіозная поэзія едва ли войдеть въ общіе гимны человѣчества. Нѣкоторыя строки Соловьева представляють превосходное переложение въ риемы различныхъ философскихъ формулъ. Мистицизмъ Соловьева былъ доктринальный, а не лирическій. И въ этомъ отношеніи, т. е. по своей лирической глубинъ и прелести, немногія вещи стараго поэта Тютчева на философскія темы куда выше всего, что написалъ въ риемахъ Соловьевъ. И здъсь, слъдовательно, сказался тоть же законъ исторической эволюціи, которымъя теперь занимаюсь. Законъ этотъ можетъ быть выраженъ въ такомъ общемъ положении:

считая отъ середины истекшаго столътія, внутренняя поэтичность стихотворныхъ произведеній обратно пропорціональна ихъ близости къ нашему времени, т. е., чъмъ дальше стихотвореніе отъ нашихъ дней, тъмъ болъе шансовъ найти въ немъ истинную поэзію.

Сюжеты философско-религіозные все же наиболье влекуть къ себъ выдающихся современныхъ пѣвцовъ. Но и эти сюжеты плохо уживаются со старыми формами. Напримъръ, строфы Минскаго, составляющія введеніе въ его драмъ "Альма", такъ же доктринальны, какъ стихи Соловьева. Имъютъ своихъ поклонниковъ и стихотворенія З. Гиппіусь на ту же тему, — вещи безспорно талантливыя, оригинальныя, а иногда и глубокія, но-скорѣе высокомѣрно-умныя, нежели поэтическія. Космическая лирика весьма искуснаго версификатора К. Бальмонта, по правдъ сказать, представляется мнъ безплоднымъ щегольствомъ въ области словесныхъ мелодій. Авторъ витаетъ въ заоблачныхъ сферахъ съ необычайною развязностью и разръшаеть не разрѣшимые вопросы бытія съ такимъ веселымъ самодовольствомъ, которое совершенно чуждо истинной поэзіи. Благодаря своему словоохотли-. вому и почти рёзвому глубокомыслію, поэть въ большинствъ случаевъ почти не захватываеть читателя. Кромъ того, слишкомъ много книжнаго, навъяннаго, впрочемъ, искреннимъ увлеченіемъ различными литературными образцами и теоріями, прямо бьетъ въ глаза при чтеніи 29*

всѣхъ риемованныхъ фіоритуръ г. Бальмонта. Личность поэта, фанатически преданнаго своему искусству, и его мягкая натура чрезвычайно симпатичны. А внѣшній стихотворный талантъ г. Бальмонта по истинѣ замѣчателенъ. Но едва ли его лирика глубоко западетъ въ чье либо сердце. Едва ли на подобныхъ стихахъ могутъ воскреснуть отжившія формы поэзіи.

Здѣсь я незамѣтнымъ образомъ подошелъ къ декадентству, т. е. къ такой обширной темѣ, которой слѣдовало бы посвятить особый этюдъ. Я долженъ сказать о декадентствѣ нѣсколько словъ для цѣльности моего очерка. Не буду касаться западнаго декадентства, которое ведетъ свое начало отъ Бодэлера, исходящаго въ свою очередь отъ Э. Поэ. Это завело бы меня слишкомъ далеко. Ограничусь предѣлами нашей литературы.

VI.

Извёстно, что романтизмъ, низведя поэзію съ ея прежнихъ напыщенно-высокихъ сюжетовъ, приблизилъ ее къ жизни. Было время, когда "Чайльдъ-Гарольдъ" и "Онѣгинъ" считались униженіемъ поэзіи. Но, съ годами, и самый романтизмъ началъ казаться слишкомъ правильною, гладкою, изящною и симметрическою формою творчества для передачи жизни. Явилась потребность выразить, такъ сказать, микроскопію духа. Понадобилось коечто замутить въ прежнихъ ясныхъ мелодіяхъ. И собственно въ нашей лирикѣ, однимъ изъ первыхъ декадентовъ можно было бы считать Фета. Онъ первый началъ писать стихотворенія съ самымъ неопредѣленнымъ содержаніемъ, почти непонятныя, за что въ свое время и подвергался немалому вышучиванію. Но, будучи по природѣ романтикомъ, Фетъ, передавая свои настроенія, случайныя, какъ грезы,—еще вполнѣ уживался въ законченныхъ формахъ плѣнительной музыки своихъ предшественниковъ.

Но уже несомнѣннымъ родоначальникомъ декадентовъ явился К. К. Случевскій. Послъ двухъ-трехъ прекрасныхъ стихотвореній ΒЪ прежнемъ родъ, попавшихъ во всъ хрестоматіи, Случевскій сразу повернулъ въ сторону и вышель на самостоятельную дорогу. Онь первый растрепалъ романтическій стихъ до полнаго пренебреженія къ деталямъ. Онъ началъ писать эскизно, порой даже сумбурно, вводя читателя въ дебри своихъ мыслей и впечатлений, почти недоступныхъ постороннему, -записывалъ рѣзкія, подчасъ неуклюжія картинки съ натуры,--излагалъ въ стихахъ свою мечтательную философію-и заботился только объ одномъ, чтобы поскорѣе выразить все, что проходило черезъ его голову и сердце, рискуя быть или совсѣмъ непонятымъ или осмъяннымъ. Этимъ способомъ онъ исписалъ цѣлые томы стиховъ, создалъ странныя большія поэмы, почти ни въ комъ не

вызвавшія сочувствія, и выдержаль свой путь черезъ всѣ антипоэтическіе годы въ нашей литературъ вплоть до нашихъ дней. Г. Розановъ справедливо замътилъ, что Л. Толстой и Достоевскій были декадентами въ романь. Дъйствительно, въдь оба они рисковали быть совсъмъ непонятыми, когда совершенно заново выступали: первый-съ своимъ причудливымъ психологическимъ анализомъ, а второй- съ своимъ дерзновеннымъ изслъдованіемъ самыхъ мучительныхъ глубинъ человѣческаго духа. Въ моей замъткъ о Л. Толстомъ я уже напоминалъ, что въ свое время лучшія страницы "Войны и Мира" вызывали глумленіе критики. О Достоевскомъ и говорить нечего. Почти въ теченіе всей его жизни онъ признавался писателемъ больнымъ, читать котораго тяжело, скучно и даже вредно. Когда я первый написалъ этюдъ о "Братьяхъ Карамазовыхъ", то узналъ, что лучшіе наши литераторы еще не полюбопытствовали "одолѣть" это великое произведеніе. Такъ медленно доставалось общее признание Толстому и Достоевскому. Что же мудренаго, если и Случевскому приходилось ждать. Но вотъ, всего нъсколько лѣтъ назадъ, къ Случевскому отнеслась съ полнъйшимъ сочувствіемъ вся братія поэтовъ, до младшихъ включительно. Въ особенности понравились его "Пѣсни изъ уголка". Влад. С. Соловьевъ нашелъ въ нихъ мотивы, соотвътствующіе своей музѣ и привѣтствовалъ почтеннаго автора слѣдующими строфами:

Какая осень! Странно что-то: Хоть безъ жары и бурныхъ грозъ, Твой день отъ солнцеповорота Не убывалъ, а только росъ. Такъ пусть онъ блещетъ и зимою, (т. е. въ старости) Когда-жъ блистать не станетъ въ мочь, Засвътитъ въщею зарею,— Зарей во всю нъмую ночь.

Соловьевъ, какъ видите, закончилъ стихотвореніе своимъ любимымъ аккордомъ о безсмертіи души.

Итакъ, подошло время и для Случевскаго. Содержание его поэзи оказалось современнымъ.--оно соотвѣтствовало рефлектирующей и мечтающей, галлюцинирующей, разрозненной и хаотической современной душь... Содержание соотвътствовало. Да. Но-форма?! Случевский отчасти пробовалъ ввести въ поэзію то, что Толстой и Достоевскій ввели въ романъ. Но къ прежней лирической формъ его содержание положительно не подошло. Слишкомъ громаднымъ оказалось количество диссонансовъ! Усилія поэта часто выходили траги-комическими... Мыслимо ли, въ самомъ дѣлѣ, приравнять, съ какой бы то ни было точки зрвнія, эти небрежпыя, мъстами неграмматическія въ своей смълости строфы — къ тъмъ великимъ и нерушимымъ въ своей вѣчной красотѣ стихамъ, гдѣ каждое слоно возведено "въ перлъ созданія", гдѣ оно остается незыблемымъ на своемъ мѣстѣ, неуязвимымъ, какъ законъ природы... У Случевскаго, напримъръ, встръчается еще небыва-

- 455 -

лый въ русской рѣчи hiatus, -- непрерывное стеченіе подъ-рядъ ияти гласныхъ, въ стихѣ:

Клянусь всею явью и сномъ

(е, ю, я, ю, и). А въ другомъ стихѣ — такое же одновременное стеченіе согласныхъ и гласныхъ:

Изъ цифръ и буквъ вы выберете тъ...

Содержаніе современно, но форма не годится. Дѣятельность Случевскаго несомнѣнно останется поучительнымъ памятникомъ историческаго перелома въ поэзіи.

Я назвалъ мою замѣтку "Вырожденіе риомы"*). Заглавіе можетъ вызвать недоумѣніе. "Какъ, скажутъ, развѣ риома обѣднѣла?" Спѣшу отвѣтить: о, нѣтъ! она расплодилась, сдѣлалась общедоступною, она стала "на колоколъ похожей, въ который можетъ зазвонить на площади любой прохожій"—она даже усовершенствовалась. Но и это не помогаетъ дѣлу.

Въ противоположность нашему Случевскому, возьмите, напримъръ, современнаго французскаго поэта Ростана. Каждый его стихъ великолъпенъ, какъ ювелирная вещица. Но съ Ростаномъ — другая бъда! Форма удивительна, зато

^{*)} Г. Энгельгардть справедливо замѣтилъ, что я употребилъ въ этомъ заглавіи "метонимію", обозначивъ цѣлое наименованіемъ части. Дѣйствительно. Какъ же было иначе озаглавить очеркъ? "Вырожденіе всѣхъ старыхъ метрическихъ формъ поэзіи?" Это было бы слишкомъ длинно. Я назвалъ риему, какъ паиболѣе прославленную и любимую изъ этихъ формъ.

содержаніе необыкновенно пошло. Его лжепасторальныя, лже-рыцарскія и лже-патріотическія пьесы — "Романтики", "Принцесса Греза", "Орленокъ" — пользуются громаднымъ, чистобалаганнымъ успѣхомъ. Но въ нихъ дѣйствуютъ не люди, а книжныя маріонетки. И вся поэзія Ростана напоминаетъ мнѣ вылощенную до сіянія фальшивую монету, которая, доставшись въ сколько-нибудь опытныя руки, тотчасъ же тупо шлепается на столъ, не издавая изнутри ни малѣйшаго звона.

И вотъ, мнѣ кажется, эта антитеза—Случевскій и Ростанъ—всего лучше доказываеть вырожденіе риемы. Если содержаніе искренно и современно — зато форма плоха, когда форма превосходна—содержаніе фальшиво. "Распадъ", какъ выразился бы медикъ, установленъ вполнѣ.

VII.

Итакъ, слѣдовало бы оставить въ покоѣ омертвѣлыя формы великой старой поэзіи. Мнѣ думалось, что настало время высказаться объ этомъ открыто. Я могу ошибаться, но едва ли далекъ отъ истины. Мнѣ въ особенности не хотѣлось бы выразить даже косвенное несочувствіе весьма даровитымъ представителямъ старой метрической формы, подвизающимся теперь въ нашей литературѣ, съ полною вѣрою въ свое призваніе. Между ними есть безспорно люди со вкусомъ и съ хорошею техникою. У насъ ихъ не мало... Боюсь, что даже всёхъ не перечислю: Ап. Коринфскій, Фругь, Лихачевъ, Черниговецъ, Вл. Жуковскій, Ө. Соллогубъ, Аллегро и т. д.

Возьмемъ, напримъръ, Θ . Соллогуба, котораго многіе изъ его собратьевъ ставятъ довольно высоко и причисляютъ къ "новымъ". Приведу, на выборъ, три его стихотворенія, дающія возможность ознакомиться со всей его музой.

Вотъ первое-монологъ Смерти къ поэту:

Слабъютъ яростныя стрълы Земныхъ страстей,---Сомкни глаза. Близки предълы Твоихъ путей. Не обману тебя больного,---Утѣшься, вѣрь,---Изъ заточенія земного Открою дверь. Въ твоей таинственной отчизнъ Въ краю святомъ, Гдъ ты покоился до жизни Господнимъ сномъ, Гдъ умираютъ злые шумы Земныхъ тревогъ,---Исполнивъ творческія думы, Почіетъ Богъ. И ты взойдешь, какъ дымъ кадильный, Въ его покой, Оставя тлёть въ землё могильной Твой прахъ земной.

Согласенъ, что стихотвореніе звучно и красиво. Но въдь это—упражненіе на старую тему безъ единаго оригинальнаго штриха. Замъчу только, что мажорный тонъ едва ли удачно выбранъ для такого сюжета. По моему мнѣнію, стихотвореніе это совершенно блѣднѣетъ передъ трогательною музыкою простыхъ евангельскихъ словъ: "Пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся и обремененніи и Азъ упокою вы".

А вотъ еще два стихотворенія, носящія общее заглавіе "Тайна".

I.

Кругомъ обставшіе меня Всегда безмолвные предметы, Лучами тайнаго огня Вы осіяны и согрѣты. Безумно-радостной мечтой Себя предъ вами забавляю,-За вашей грубой пеленой Нездъшній міръ я различаю. За всёмъ, что мнё являеть свёть, Мнъ взоръ мечтается незлъшній. Всегда мнѣ кто-то шлетъ привѣтъ Порой осеннею и вешней. Отъ мъста къ мъсту я иду, Природу строго испытую, Того, что скрыто, вѣчно жду, И съ тъмъ, что явлено, враждую. Хотя, быть можетъ, обръсти Я въчной тайны не сумъю, Но къ ней ведущіе пути Я не изслъдовать не смъю *). Иду въ пустынныя мъста. Гдъ жизнь все та-же, что и прежде, И шуму каждаго листа

*) Чисто канцелярскій оборотъ рѣчи, вродѣ "нельзя не признать".

- 460 -

Внимаю въ трепетной належдъ. Къ закату дня, уставъ искать, Не нахоля моей богини. Спрти въ мечтаніяхъ создать Черты таящейся святыни, Какой-то давній, вѣщій сонъ Припоминаю слабо, смутно. Вотъ-вотъ маячитъ въ сердцѣ онъ,-И погасаетъ поминутно. Или надежды устремлять Къ тебъ, таинственно грядущей, Къ тебъ, святую благодать Успокоенія несущей? И только ты въ завътный срокъ, Опредъливъ конецъ дорогамъ, Меня поставишь на порогъ Передъ таинственнымъ чертогомъ?

۰II.

Вълая тьма созидаетъ предметы И обольщаетъ меня. Жадно ловлю я душою просвъты Въ область нетлиннаго дня. Кто-же внесетъ въ заточенье земное Свъточъ, пугающій тьму? Скоро-ль безсмертное, сердцу родное, Въ свътъ его я пойму? Или навъкъ нерушима преграда Билой, обманчивой тькы, И безконечно томиться мниъ надо, И не уйти изъ тюрьмы?

Итакъ, вы видите, что поэтъ постоянно порывается въ "нездѣшній міръ", въ "область нетлѣннаго дня", въ свою "таинственную отчизну", гдѣ онъ "покоился до жизни".

Въ этомъ родѣ вся поэзія г. Соллогуба. Но

въ такомъ случав не заключается ли вся эта поэзія въ нѣсколькихъ строчкахъ Лермонтовскаго стихотворенія "Ангелъ"? Этотъ великій, плавно несущійся въ облакахъ Ангелъ ежедневно и еженощно наполняетъ землю цѣлыми тысячами младенцевъ, которые затѣмъ, подобно г. Соллогубу, всю жизнь тоскуютъ о своей небесной отчизнѣ и которымъ "скучныя пѣсни земли" никогда не смогутъ замѣнить "звуковъ небесъ". Какимъ послѣ этого блѣднымъ и маленькимъ представляется этотъ запоздалый романтикъ въ сравненіи съ поэтами той чудесной эпохи, исчерпавшей рѣшительно всѣ сюжеты, воплощаемые въ риемованные звуки...

Поэтому, чѣмъ чаще я встрѣчаюсь съ произведеніями лириковъ послъдняго времени, тъмъ болѣе вижу, что ихъ пьесы на прежніе мотивы блѣднѣе оригиналовъ, а болѣе современныя какъ-то придуманы, проникнуты горемычнымъ резонерствомъ, заплатаны уклончивыми словечками и вообще до странности не соотвѣтствуютъ по своему содержанію все тьмъ же яснымъ и пъвучимъ строфамъ романтиковъ. И мнъ хочется сказать имъ: "Lasciate ogni speranza!" И мнъ все болѣе отчетливо виднѣется надъ старою формою поэзіи величавая надпись: requiescat in pace! Всѣ эти пѣвцы надѣются сохранить этотъ чудесный метръ до пришествія новаго Пушкина. "Вотъ прівдетъ баринъ"-и загорятся неувядаемыя строфы свътомъ новой могучей поэзіи. Но я, увы, въ это не върю. Для меня ясно, что будущій геній музыкальной лирики прежде всего будеть чуткимъ художникомъ и что онъ сразу угадаеть дисгармонію между теперешней формой и новымъ содержаніемъ. А затѣмъ такой геній вообще явится не сразу. Сперва приготовьте для него хотя бы зачатки новыхъ мелодій...

Декаденты ищуть новыхъ формъ. Пока они какъ бы поневолъ только отрицаютъ старыя формытымъ, что заполняють ихъ непостижимымъ вздоромъ, по малороссійской пословиць: "хошь гірше, та инше"-хоть бы хуже, но по другому. Быть можеть и вся поэзія Случевскаго и всъ курьезныя пробы декадентовъ составляютъ лишь черновые наброски, — одну лишь подготовку для того, чтобы выработать сперва содержаніе, а затъмъ и форму новой лирики. Предсказытрудно. Одинъ изъ современнъйшихъ вать по своему настроенію поэтовъ, бельгіецъ Мэтерлинкъ, предпочелъ выражать себя въ драматизированной проз — отрывистой И пeчально-мелодической. Во Франціи особенною популярностью пользуется недавно умершій поэтъ Верленъ (поэтъ, впрочемъ, довольно старый, ровесникъ Франсуа Коппе). Если его сравнить съ нашими писателями, то онъ больше всего подошелъ бы къ Фету, съ его влеченіемъ къ безсознательной романтической музыкъ. Тамъ же, во Франціи, въ послъднее время все чаще пишуть стихотворенія въ прозъ, съ аллитераціями, съ риемами по серединъ фразы и т. п. Быть можеть, новая лирическая форма будеть чъмъ-то среднимъ между яснымъ гекзаметромъ Гомера и лихорадочной прозой Достоевскаго, быть можеть, поэзія возвратится къ надрывающей душу мелодіи библейской прозы или къ ритму церковныхъ молитвъ... *)

А можеть быть, мы теперь находимся вообще передъ гибелью всъхъ старыхъ формъ искусства и форма лирическая, какъ самая давняя, отживаетъ ранъе другихъ...

Но такъ или иначе, для прежней метрической поэзіи, говоря словами Мити Карамазова, "циклъ времени завершенъ". Если бы снова народился величайшій мастеръ этой формы, то онъ уже не сумѣлъ бы сказать на языкѣ своихъ предшественниковъ ничего болѣе великаго чѣмъ то, что они высказали.

Омертвѣла ли, однако, сама поэзія? О, нѣтъ! Болѣе, чѣмъ когда-либо, она снова вступаетъ въ свои права. Она, можно сказать, со всѣхъ концовъ начинаетъ проникать собою всю современную литературу. Теперь не трудно назвать, сколько угодно, природныхъ лириковъ не только между повъствователями, но даже среди газетныхъ публицистовъ и фельетонистовъ. Прежній метръ создалъ поэзію, которая сдѣлалась теперь

*) Я. II. Полонскій говорилъ мнѣ, что онъ написалъ цѣлую поэму неизвѣстнымъ ему ранѣе метромъ, который онъ заимствовалъ изъ первыхъ словъ молитвы Господней:

Отче нашъ, Иже еси на небеси.

стариною. Со временемъ эта старина обратится въ недосягаемо-великую, въчную древность. Но поэзія не исчезнетъ съ отреченіемъ отъ старой лирики. Нынъ эта прежняя лирика атрофировалась, обратилась въ "рудиментарный отростокъ".

Но если бы даже насталъ день ея смерги, то и тогда можно будетъ все-таки воскликнуть: "да здравствуетъ поэзія"!

VШ.

На этомъ оканчивались мои замѣтки почти въ томъ видѣ, какъ я ихъ первоначально набросалъ. Теперь позвольте разсказать, какъ онѣ возникли и что я услышалъ, когда ознакомилъ съ моею рукописью нѣкоторыхъ спеціалистовъ поэзіи и критики.

Когда послѣ смерти Полонскаго старѣйшій изъ поэтовъ, К. К. Случевскій, перенесъ къ себѣ его "иятницы" съ правомъ входа на нихъ только для поэтовъ, – я, хотя и "отставной", былъ приглашенъ на эти собранія. Въ первое же мое посѣщеніе я высказалъ сомнѣніе въ жизнеспособности Парнаса. Мое заявленіе, долженъ правду сказать, было встрѣчено не только безъ негодованія, но съ весьма объективною любознательностью. Присутствующіе нашли вопросъ интереснымъ и пожелали выслушать мои доказательства. Но что же тутъ было доказывать? Такія вещи просто чувствуются... Я отвѣтилъ, что вопросъ этотъ мнѣ представляется рѣшеннымъ какъ-то безотчетно и до того ясно, что мнѣ было бы и трудно, и скучно что-либо доказывать.

Прощелъ годъ. Нъкоторые изъ сомнъвавшихся уже понемногу склонялись къ моему мнѣнію. Въ началѣ прошлаго года я встрѣтился въ одномъ обществъ съ Буренинымъ, Случевскимъ и Загуляевымъ. Мы заговорили на ту же тему. Буренинъ замътилъ: "да, пожалуй, вы правы". Случевскій горячо возражалъ, а Загуляевъ самымъ рѣшительнымъ образомъ примкнулъ ко мнѣ. Наконецъ, настоящею осенью, въ одномъ изъ фельетоновъ "Новаго Времени" (не помню даже въ чьемъ) совсѣмъ вскользь было высказано предположение, что "стихи исчезнуть". Я видѣлъ, что эволюція въ лирикѣ уже подмъчена другими, что мое наблюдение оправдывается самою жизнью и мнв подумалось, что нъть никакой надобности говорить о вещахъ, которыя уже достаточно обозначились: пройдеть время-онъ станутъ очевидными. Но меня подбивали-и вотъ я высказалъ мою мысль, какъ умѣлъ.

Тогда мнѣ пришлось выслушать замѣчанія, которыя я здѣсь привожу, въ ожиданіи, конечно, еще новыхъ и новыхъ. Въ виду интимности моихъ бесѣдъ считаю излишнимъ называть имена. Два образованнѣйшихъ критика разошлись: одинъ сказалъ, "что вопросъ представляется ему поставленнымъ вѣрно и не 30 нуждается въ дальнъйшей мотивировкъ, потому что это повредило бы цъльности". Другой, прочитавъ рукопись, отозвался, безъ мотивовъ, что онъ "не совсъмъ согласенъ". Но любопытнъе всего миъніе нъсколькихъ поэтовъ. Долженъ оговориться, что съ завъдомыми врагами вопроса, которые ничего о немъ и слышать не хотъли, я, конечно, не совъщался.

Одинъ изъ поэтовъ сказалъ мнѣ:

"Все, что вы говорите, невърно. Вы словно оглохли, или не хотите слышать новыхъ пѣсенъ и мотивовъ, которые уже есть въ поэзіи и вполнѣ слились съ тою же лирическою формою. Странное дело! Какъ это возможно, чтобы люди выражали себя въ этой формъ непрерывно въ теченіе цёлыхъ сорока лѣть и ничего не выразили! Разберите же ихъ произведенія внимательно, прислушайтесь къ нимъ и тогда, по крайней мфрф, вы будете говорить во всеоружіи доказательствъ. Да и какъ оставить эту форму, когда никакой другой съ основанія міра не выдумано и когда она просто природна у человъка... Во имя чего, напримъръ, я долженъ отказываться отъ танцевъ, если, при звукахъ музыки, мои члены сами собою начинають ритмически двигаться?"...

Совершенно согласенъ, что риемы такъ же свойственны людямъ, какъ и танцы. Однако же и танцы утратили свое первоначальное значеніе въ жизни. Вспомните древность, когда они были на высотѣ религіозныхъ обрядовъ, возьмите исторію балета, который все болѣе и болѣе падаетъ... А въ настоящее время танцы не болѣе, какъ пріятная забава, полезное развлеченіе для молодежи. Не то же ли будетъ и съ риемою?...

Согласенъ также, что мой выводъ былъ бы нагляднье, если бы я подробно разобралъ произведенія новъйшихъ поэтовъ, но въдь я не исчерпываю вопроса, а только ставлю его, и для этой цёли мнё было достаточно того, что я высказалъ. Впрочемъ, послъднее замъчание заставило меня прибавить нёсколько характеристикъ къ моему обзору поэзіи. Изъ этого обзора я вижу, что съ шестидесятыхъ годовъ, т. е. со времени ошеломляющаго удара, нанесеннаго естествознаніемъ мечть человьческой, лирическая интенсивность и цённость творчества, съ каждымъ новымъ десятилѣтіемъ, постепенно слабъютъ. Наблюдается какъ бы блестящій водопадъ, ниспадающій съ уступа на уступъ въ сонную равнину водъ... Размахъ поэзіи постепенно суживается. Прежде было ни по чемъ писать большія поэмы изъ современной жизни, поэмы фантастическія и шуточныя, сказки, новеллы, баллады, стихотворенія, длинныя и короткія-и все выходило цёльно, правдиво, прекрасно. Теперь все это понемногу утрачено. Написать поэму изъ современной жизни теперь уже положительно немыслимо; баллады и сказки отзываются нестерпимою стариною, ни одного длиннаго, вполнѣ выдержаннаго стихо-30*

творенія мы теперь не знаемъ. Еще подчась удаются самыя маленькія вещицы вродѣ сонета, да и то одинъ-два куплета въ нихъ всетаки сомнительны—и настоящей поэзіи хватаетъ развѣ на какихъ нибудь двѣ строки,—на удачный афоризмъ, не болѣе. Развѣ все это не убѣдительно?

Замѣчу здѣсь, что мой непримиримый оппоненть, въ теченіе двухъ разговоровъ, среди спора, обронилъ, однако, между прочимъ, двѣ фразы: "кажется, вы что-то такое нащупываете"... и еще: "я согласенъ, что пушкинская и лермонтовская форма для насъ болѣе не существуетъ". — Но спрашивается: какая же сущессвуетъ? Вѣдь Лермонтовъ писалъ всевозможными размѣрами.

Но я нашелъ среди поэтовъ и моихъ единомышленниковъ. Они говорили: "Практически вы правы. Съ прежнею метрическою формою мы плохо уживаемся; ничего съ этимъ не подѣлаешь! Но васъ можно упрекнуть въ томъ, что вы равнодушно хороните мертваго и мало увлекаетесь самою важною темою, — вѣрою въ воскресеніе. Вы обрываете замѣтки на самомъ существенномъ и любопытномъ. А здѣсъ собственно и начинается вопросъ"...

Предоставляю судить по тексту моего очерка, равнодушенълиякъ великой покойницъ. Правда, я не увлекаюсь заботою о поэзіи будущаго, но это лишь потому, что за поэзію я слишкомъ спокоенъ-она есть и будетъ. А въ какой формѣ-не все ли равно?

Послѣ всѣхъ этихъ споровъ, я рѣшился огласить передъ публикой и мои замѣтки и вызванныя ими возраженія.

1900 г.



ТЕАТРЪ МОЛОДОГО ВЪКА.

(Труппа Московскаго художественнаго театра).

Мнѣ довелось быть всего на двухъ представленіяхъ московской труппы въ Петербургѣ. Я видѣлъ пьесы Чехова "Дядя Ваня" и "Три сестры". Впечатлѣніе было неожиданное и сильное, какъ будто я вдругъ проснулся черезъ сто лѣтъ послѣ всего, ранѣе видѣннаго мною на сценѣ, и нашелъ театръ вполнѣ преобразованнымъ, согласно давнишнимъ, безотчетнымъ требованіямъ моего вкуса. Я встрѣтилъ простоту и гармонію, т. е. то, что было всегда чуждо моимъ понятіямъ о театрѣ. И дѣйствительно, вѣдь все фальшивое и рѣзкое всегда называется въ общежитіи "театральнымъ".

Быть можетъ, такому впечатлѣнію содѣйствовали пьесы Чехова, съ ихъ простымъ содержаніемъ безъ яркихъ фигуръ, безъ интриги. Въ нихъ нѣтъ драмы ни въ смыслѣ напряженнаго дѣйствія, ни въ смыслѣ назрѣвающей и неизбѣжной катастрофы. Выстрѣлы въ концѣ,—вотъ ихъ единственная дань старой манерѣ. По прав-

I.

дъ сказать, эти выстрълы едва ли и нужны. Дядя Ваня, вмѣсто стрѣлянія въ профессора, могъ бы съ такимъ же успѣхомъ просто-напросто приколотить его. Въ "Трехъ сестрахъ" бретеръ Соленый убиваетъ барона Тузенбаха, --но вѣдь бретеръ можетъ убить кого угодно. Въ "Чайкъ" до послъдней секунды нельзя предвидъть, кто застрълится: Нина Заръчная или Треплевъ. Словомъ, единственный драматическій элементъ въ пьесахъ Чехова, это-царящая въ нихъ тоска жизни. И въ этомъ отношении его драмы ничёмъ не отличаются отъ его разсказовъ. Чеховскія пьесы вообще правильнѣе было бы назвать разсказами въ сценахъ. Въ нихъ какъ и въ повъстяхъ Чехова. повседневная психологія и поэзія жизни явно окрашены медико-элегическими мотивами. Медикъ по образованію. Чеховъ-поэтъ неизмѣнно терзается мыслью о зависимости души отъ твла и о безслѣдности нашего существованія. Тѣми же вопросами мучился и Тургеневъ. У Чехова есть и другая сродная черта съ Тургеневымъ. Онъ облалаетъ несомнъннымъ даромъ схватывать особенности самыхъ разнообразныхъ человѣческихъ фигуръ и придавать каждой изъ нихъ опредѣленный обликъ. Всѣ его дѣйствующія лица, хотя бы едва намъченныя, представляють живыя человъческія разновидности. И вотъ этато способность Чехова возбуждаетъ интересъ ко всѣмъ его произведеніямъ, хотя бы въ нихъ почти не было никакой завязки.

Съ пьесами Чехова московская труппа сдълала истинныя чудеса. Можно сказать, что Чеховъ написалъ только ихъ либретто, а художественное товарищество артистовъ создало для нихъ музыку; авторъ далъ однъ тълесныя оболочки, а труппа "вдохнула въ нихъ дыханіе жизни". Прочтите пьесы и затъмъ посмотрите на ихъ исполнение,---вы увидите, какое громадное творчество проявили актеры. Вы почувствуете, что всъ мелочи обсуждались сообща, что это была работа согласнаго хора, что исполнители разгадали автора вполнъ, что они воскресили всёхъ дёйствующихъ лицъ, придали имъ опредѣленные образы, усвоили каждому изъ нихъ соотвѣтствующіе манеры, поводку, говоръ, и что затвмъ уже каждый почувствовалъ себя въ своей роли, какъ бы рожденный въ ней.

Въ видъ упрека труппъ нъкоторые говорили, что если во второй разъ посмотришь ту же пьесу въ исполненіи московскихъ артистовъ, то убъдишься, до какой степени все придумано и заучено, все повторяется одинаково, іоту въ іоту, и добавляли: "Какое же тутъ вдохновеніе? Какая же это игра?"

Публика постоянно смѣшиваетъ вдохновеніе съ импровизаціей, тогда какъ понятія эти не только не сходны, но почти противоположны. Импровизація въ искусствѣ большею частью—пустая шумиха. Ничто прекрасное и совершенное не создается сразу. Вдохновеніемъ называется лишь такое возбужденное состояніе художника, когда онъ увлекается извъстною цълью, и когда всъ его творческія силы напряжены для ея достиженія. Но пока цѣль достигается, предстоитъ еще громадный трудъ. Всёмъ извёстны перечеркнутые безчисленное множество разъ черновики Пушкинскихъ и Лермонтовскихъ стиховъ. А между тёмъ въ послёдней отдёлкё стихи эти кажутся легкими, какъ воздухъ, и естественными, какъ самое простое выражение мыслей. Съ такимъ же трудомъ доставалась Л. Толстому его подкупающая "простота" и съ еще большими мученіями Флобэру-его безупречная проза. Каждому художнику приходится нескончаемо передѣлывать форму, пока онъ не найдетъ то единственное выраженіе, которое воплощаеть его мысль и чувство. Но если это выражение есть единственное ничёмъ другимъ незамёнимое, то, значитъ, уже и никакихъ варіантовъ быть не можетъ. Та же работа происходитъ и у актера. Онъищеть, обдумываеть, мъняеть интонацію, мимику, жесты, движенія, --и, наконецъ, находитъ все въ совокупности, до послъдней точки. И ужъ тогда: кончено. Тогда уже онъ будетъ каждый разъ входить въ найденную и созданную имъ форму, какъ въ свою природную оболочку. Онъ уже никогда не будетъ въ этой формѣ ни холоденъ, ни механиченъ, потому что онъ согрѣлъ ее для себя тѣмъ вдохновеніемъ, которое привело его къ ней. И, повторяясь до мелочей, онъ все-таки будетъ жить на сценъ заново каждый разъ. Его слезы, улыбки и

восклицанія будуть все-таки каждый разъ теплыми, свѣжими и сердечными.

II.

Обстановочная сторона пьесъ, даваемыхъ труппой, доставляетъ истинную московской отраду каждому, кто понимаетъ искусство. Просторная перспектива жилого помѣщенія, обиліе мелкихъ вещей повседневнаго обихода и строгая индивидуализація ихъ для даннаго сюжета, ствны безъ кулисъ, съ уютно приставленною къ нимъ мебелью, внутреннія лестницы, дверь въ сѣни, сквозь которую видна верхняя площадка съ въшалкой, бой часовъ, топка печи съ воемъ вътра, всъ эти "мелочи" жизни подвергались большому вышучиванію въ печати. Называли это чрезмърной "реализаціей искусства", укоряли московскихъ артистовъ въ подражаніи мейнингенцамъ. Однако же художественная сила и свъжесть новаго пріема дълали свое дѣло: зрители поддавались обаянію иллюзіи. Конечно, мейнингенцы сыграли свою роль вѣ этомъ прогрессѣ театра. Но они сдѣлали, такъ сказать, лишь одну формальную, чистовнѣшнюю революцію. Они слишкомъ ударились въ обстановку. На ихъ драматическия представленія публика шла просто, какъ въ панораму. Мейнингенцы давали богатъйшія картины тронныхъ залъ, горныхъ пейзажей съ туманомъ, грозою и восходами солнца, изображали возведеніе рабочими крѣпостныхъ стѣнъ, давали подлинные снимки средневѣковыхъ облаченій и предметовъ домашняго обихода, — словомъ, давали столько для глаза, что содержаніе пьесъ уже теряло значеніе, и люди, не знавшіе ни одного слова по-нѣмецки, съ большимъ удовольствіемъ посѣщали ихъ спектакли.

Ничего подобнаго нѣть у московской труппы. Не знающій по-русски не получить оть нея никакого интереснаго зрѣлища. Онь увидить лишь самыя будничныя картины и не встрѣтить никакой эффектной перемѣны декорацій. Но тоть, кто понимаеть жизнь дѣйствующихъ лицъ, испытываеть громаднѣйшее облегченіе въ воспринятіи ихъ жизни, благодаря этой, какъ о ней говорять,--, реалистической", а въ сущности необходимой, правдивой и художественной подготовкѣ зрѣлища.

Успѣхъ московскихъ гостей въ С.-Петербургѣ былъ выдающійся и даже, какъ принято выражаться въ газетахъ, — прямо "сенсаціонный". Особенно понравились "Три сестры". Онѣ возбудили такой шумъ, что критика сочла долгомъ понизить восторгъ публики и стала доказывать, что пьеса Чехова—вещь посредственная. Вооружились и публицисты. По ихъ мнѣнію, Чеховъ оклеветалъ провинцію. Нельзя повѣрить, чтобы тамъ существовала такая пустая и безотрадная жизнь. Въ нашей провинціи есть множество бодрыхъ тружениковъ и т. д., и т. д.

Однако же и критики, и публицисты едва ли

справедливо отнеслись къ этому произведенію. Лучшіе критики пьесы — актеры, потому что только они одни настоящимъ образомъ истолковываютъ автора передъ судомъ общества. Они одни всѣмъ своимъ существомъ воспринимаютъ изъ пьесы все, что въ ней есть живого, и даютъ почувствовать это живое публикѣ. Допустимъ, что цѣлая половина прелести создана актерами, но зато другая, первая половина принадлежитъ автору. Тогда мы помиримся на выводѣ, что передъ нами — чудесный продуктъ сотрудничества между писателемъ и труппой. Такъ или иначе, но получилось нѣчто живое и прекрасное.

Нужно ли говоригь, что Чеховъ не имълъ ни малъйшаго намъренія съ какой бы то ни было точки зрѣнія чернить наши захолустья? Если въ пьесъ имъется унылый припъвъ: "въ Москву! въ Москву!", то въдь, кажется, ясно, что это не болѣе, какъ общечеловѣческій порывъ молодыхъ существованій куда-то вдаль, гдѣ насъ нѣтъ. Въ дѣйствительности же, пьеса даетъ намъ только грустную поэтическую повъсть цълой семьи. Гдъ-то въ прошломъ рисуются передъ нами родители: гостепріимный генералъ и его милая жена. Осталось молодое поколѣніе: три сестры и братъ. Старшая сестра-Ольга, отказавшись отъ личнаго счастья, стала во главѣ дома; средняя — Маша — порывистая, страстная-замужемъ за учителемъ, а младшая-Ирина-цъломудренная идеалистка. Ихъ братъ Андрей предназначалъ было себя къ ученой

)

карьеръ, но влюбился въ пустую мъщаночку, женился и осълъ въ провинціи. Всъ эти люди живуть однимъ домомъ. Вы видите ихъ гостей и знакомыхъ. Вся ихъ жизнь передъ вами наружу. Два добродушныхъ офицерика привязаны къ этому семейству. Старый докторъ, когда-то обожавшій покойную мать, особенно нѣжно любитъ младшую сестру-Ирину. За тою же сестрою ухаживають благородный, глубокомысленный поручикъ Тузенбахъ и глупый, злобный дуэлисть штабсъ-капитанъ Соленый. У сестры Маши завязывается романъ съ батарейнымъ командиромъ Вершининымъ, несчастнымъ въ своей семейной жизни. Братъ Андрей окончательно подпадаеть подъ власть своей жены, которая надуваеть его съ предсъдателемъ управы, а онъ возить по саду своего сына въ колясочкъ

Все это развязывается тъ́мъ, что батарею переводятъ въ другой городъ, и домъ пустъ́етъ, а въ то же время Соленый убиваетъ на дуэли Тузенбаха. Романъ Маши съ Вершининымъ разрывается. Она чуть съ ума не сходитъ. Мужъ догадывается и прощаетъ. И подъ музыку удаляющейся батареи, три сестры остаются одинокими.

И вотъ вамъ жизнь цълаго поколънія. Повъсть Тургенева въ картинахъ, — грустная, поэтическая правда въ лицахъ, —и ничего болъе.

Еще скорѣе напоминаетъ тургеневскую повѣсть "Дядя Ваня". Докторъ Астровъ и Елена Андреевна даже почти срисованы съ Базарова и Одинцовой. Зато профессоръ, подростокъ Соня и самъ дядя Ваня—вполнѣ новыя фигуры. И здѣсь, какъ и въ "Трехъ сестрахъ" романическій эпизодъ, всколебавшій было деревенскую тишь, оставляетъ послѣ себя, въ концѣ пьесы, безнадежную пустоту...

III.

Теперь скажу о главномъ, - о томъ исполненіи этихъ двухъ пьесъ, которое сразу дало мнѣ почувствовать самую коренную реформу театра. Прежде всего, конечно, меня порадовала непривычно живая и правдивая обстановка сцены. Почти всё условности такъ называемыхъ "декорацій" были устранены или сглажены. Говоръ всёхъ дёйствующихъ лицъ былъ настолько простъ, что въ первую минуту мнѣ показалось, что это лишь хорошо спѣвшіеся любители, еще не зараженные актерскимъ жаргономъ. Очень скоро я уже забылъ думать, что это любители, и сталъ видъть въ нихъ просто людей, "какъ вы, да я, какъ цълый свътъ". А затъмъ я настолько заинтересовался ихъ жизнью, что театра предо мною уже не было... я забылъ о своемъ креслѣ "зрителя", и мнѣ представилось, что я сижу у себя дома за хорошей книгой и вижу во-очію, въ своемъ воображеніи, все, о чемъ повъствуетъ художникъ. Вокругъ меня тишина, какъ въ уединенномъ кабинетъ.

Никто не мѣшаетъ. Я убаюканъ созерцаніемъ, исчезла рампа, нѣтъ апплодисментовъ, нѣтъ никакого угожденія вкусамъ толпы со стороны сцены, нѣтъ этого округленнаго рта, зычной рѣчи и маршировки, которые отличаютъ актера отъ всѣхъ прочихъ смертныхъ, какъ военный мундиръ отличаетъ офицера въ толпѣ, -- все развивается непритязательно, какъ въ жизни, и, главное, никто изъ артистовъ не желаетъ отличиться передо мною настолько, чтобъя забылъ объ остальныхъ. Всѣ одинаково мнѣ интересны. Одна фигура крупнѣе, другія мельче, но уже такъ ихъ поставила жизнь; зато всѣ желанны, всѣ необходимы.

Какъ же не сказать, что это не только реформа, но даже революція въ театральномъ дълъ?

Въдь сцена всегда была поприщемъ лля состязанія въ славѣ. Рекламы, клака, интриги, заискиваніе у рецензентовъ -- все для этого пускается въ ходъ. Услыхавъ изъ залы первые хлопки, актеръ уже пьянветъ отъ нихъ и впослъдстви теряетъ всякое настроеніе, если не получаеть апплодисментовь. Достигнувъ извъстнаго почета, достаточно нашумѣвъ своею персоною, актеръ уже привыкаетъ къ тому, что его неизмѣнно встрѣчаютъ и провожаютъ рукоплесканіями. Этоть привычный трескъ въ залѣ дѣлается для него пульсомъ его славы. Самая же сценическая слава имфетъ своимъ предфломъ-для иныхъ-попасть въ "премьеры" или

"премьерши", а для другихъ —получить всемірную извѣстность, какъ Росси, Сальвини, Сарра Бернаръ, Дузе.

Давно уже все это казалось мнъ фальшивымъ. ходульнымъ и несоотвътствующимъ задачамъ театра. Несообразно. чтобы отдѣльное липо подавляло собою всѣхъ въ такомъ дѣлѣ, которое можетъ быть прекраснымъ только при общемъ успѣхѣ. Кромѣ того, каждая индивидуальность, чъмъ она ярче, сильнъе и содержательнъе, тъмъ болѣе она въ концѣконцовъ останется сама собою, и чъмъ выше она взберется, тъмъ болъе она ко всему, къ чему бы ни прикоснулась, приложить свое собственное клеймо, тогда какъ на сценъ необходимо именно отрекаться отъ себя... Да, сцена есть прежде всего отречение отъ своей личности, и только тотъ, кто на это способенъ, сумфетъ послужить общему наслажденію. А вы хотите наполнить міръ своимъ именемъ! Сумъйте создать всемірно-извъстную труппу,---вотъ это будетъ несомнѣнно великая заслуга передъ искусствомъ.

Чтобы не повторять общихъ мѣстъ и чтобы нагляднѣе пояснить мою мысль, возвращусь къ апплодисментамъ. Московская труппа не вывѣшивала никакихъ обращеній къ публикѣ насчетънежелательности апплодисментовъво время дѣйствій, но это какимъ-то тайнымъ чудомъ случилось само собою. Въ самыхъ превосходныхъ мѣстахъ пьесы театръ безмолвствовалъ, и только когда опускали занавѣсъ, когда все видѣнное исчезало, — публика вспоминала, что она въ театръ, и награждала всю труппу сильными, горячими, единодушными рукоплесканіями, и вся труппа, какъ одинъ человъкъ, выходила на вызовы.

Вотъ это и есть громадная побъда, достигнутая мирной революціей. Дъйствительно, то, что всегда считалось приманкою для актера, на представленіяхъ московской труппы вдругъ получило прямо противоположное значеніе. Зрители были настолько околдованы, что забыли о своихъ рукахъ... Развѣ это не есть полнѣйшее доказательство иллюзіи?.. Развѣ, если вы видите въ жизни человѣка, терзающаго ваше сердце своимъ горемъ, или прелестную женщину, каждое слово, каждое движеніе которой вамъ нравится и увлекаетъ васъ, — развѣ вы имъ апплодируете?! Въдь если я апплодирую, значитъ я говорю актеру: "Молодецъ! отлично поддълалъ! постарался!.." Но уже тотъ фактъ, что я объ этомъ помню, что я ни на минуту не забылся, развѣ онъ не убійственъ для актера, для художника?!., Развѣ онъ не оскорбителенъ!

Внимательное молчаніе залы облагораживаеть всёхъ дёятелей труппы. Эта чуткая тишина для каждаго изъ нихъ драгоцённа. Каждый изъ нихъ сознаетъ себя одинаково важнымъ для общаго успёха. Никто не чувствуетъ себя затертымъ, приниженнымъ, снующимъ по сценё только ради того, чтобы публика кое-какъ провела время, пока та или другая "знаменитость" 31

отдыхаетъ въ своей уборной. Никто не дорожитъ эффектными "уходами" со сцены, съ трескомъ въ залѣ вслѣдъ непремъннымъ 33. послѣдней фразой его роли. Никому и ни за что не апплодирують, — какая свобода для художественнаго исполненія! Является даже страхъ у актера, какъ бы кто не счелъ его жизнь на сценѣ-за игру, какъ бы кто не хлопнулъ и не осрамилъ его передъ товарищами... Въ "Дядъ Ванъ" у Станиславскаго есть великолъпный монологъ, когда онъ, показывая планы Еленъ Андреевнѣ, говорить о своей любви къ лѣсамъ. Станиславскій исполняеть эту тираду съ такимъ жаромъ, съ такимъ поэтическимъ краснорѣчіемъ, что если бы онъ билъ на апплодисменты, онъ, конечно, получилъ бы, какіе угодно громы одобренія. Но онъ съ большимъ мастерствомъ. электризуя наивысшемъ ΒЪ моментъ этого монолога весь залъ, затѣмъ понемногу, чуть замѣтно, спускается отъ невольнаго паеоса къ самой обыденной рѣчи и такимъ образомъ снова вводить дъйствіе въ его житейскую простоту. Не скрою, —я было испугался, что, пожалуй, Станиславскому заапплодирують, нозатьмъ былъ чрезвычайно благодаренъ артисту, когда онъ сумълъ упразднить эту "овацію". Въдь и въ жизни бывають случаи, когда человѣкъ говорить о самомъ дорогомъ для него вопросѣ съ необычайнымъ жаромъ и невольною красотою рвчи-и, однако же, находясь съ нимъ съ глазу

на глазъ, вы никогда не подумаете ему рукоплескать...

Не ясно ли, что, при такомъ пониманіи искусства, апплодисменть во время 'дъйствія является обидою.

Итакъ, революція московской художественной труппы освободила актера отъ рабства передъ рукоплесканіями. Но она сдѣлала больше: она освободила его и отъ рабства передъ рецензентами. Исполнители для всъхъ ролей такъ выбраны, такъ приспособлены къ своимъ задачамъ, воплищение дъйствующихъ лицъ, благодаря общей товарищеской критикъ, доведено до такого совершенства, что уже рецензенту не приходится ставить отмътки отдъльнымъ актерамъ. Можно винить развѣ только всю труппу за толкованіе пьесы, но сортировать исполнителей и разсуждать о томъ, что кто-либо изъ нихъ не на своемъ мъстъ, чрезвычайно трудно. Все заранње обдумано, выстрадано, избрано, исправлено, и послѣ всего этого вольноприходящій критикъ уже, конечно, оказывается совершенно обезоруженнымъ по части придирокъ.

Не знаю, какъ назвать тотъ театръ, который по привычкѣ господствуетъ теперь. Я все-таки назвалъ бы его "дореформеннымъ". Не касаюсь почтенныхъ, знаменитыхъ и великихъ артистовъ, которые украшали и украшаютъ своими именами этотъ дореформенный театръ. Ихъ заслуги принадлежатъ исторіи прошлаго и настоящаго, 31* потому, что это старое направление еще надолго удержится. Но я убъжденъ, что ему суждено отодвинуться на второй планъ. Дъло въ томъ, что при всей одинаковости души человѣческой въ ея основныхъ чертахъ на протяженіи всёхъ вёковъ. — все-таки, взаимныя отношенія людей и сравнительная важность житейскихъ столкновеній слишкомъ наглялно измѣняются. Вѣкъ Шекспира, когда убивали такъ же легко, какъ нынче снимаютъ шляпу, — удалился отъ насъ, благодаря нашимъ теперешнимъ отношеніямъ къ ближнему-почти до неузнаваемости. Когда мы читаемъ Шекспира, мы едва останавливаемся на этихъ частыхъ убійствахъ, мы ими не интересуемся, какъ не придаемъ значенія и какому-нибудь устаръвшему слову въ его языкъ. Но геніальность писателя плъняеть нась на каждомъ шагу, мы по нъсколько разъ перечитываемъ отдѣльныя строки и встрѣчаемъ въ нихъ такую глубину мысли, такую неувядаемую поэзію, что развлекающій наше вниманіе актеръ, съ его быстрою ричью, только мъщаетъ намъ усвоить подлинникъ. И потому Шекспиръ положительно ближе и драгоцъннъе намъ въ чтеніи, нежели на сценъ. Потрясаюшіе эффекты Гюго, великолѣпныя выдумки Сарду и чувствительныя картины Дюма-все это уже для насъ отдаетъ небылицами. Все это нынче годится только для людей съ дътскимъ художественнымъ развитіемъ, напоминающихъ тѣхъ отроковъ, которые увлекаются сочиненіями Майнъ-Рида и Понсонъ дю-Терайля. Забавно, эффектно, любопытно, ярко и поучительно, ноувы, -- слишкомъ размалевано, слишкомъ ненатурально. Крутые нравы, пытки, чудовищные пороки, преступленія, — всѣ эти вещи насъ все менње и менње интересуютъ. Всю эту и понынњ общирную область мы относимъ къ уклоненіямъ отъ нормы, подлежащимъ въдънію суда и психіатріи. Насъ невольно тянетъ къ среднему человѣку. Мы любимъ изслѣдованія въ области этой простой средней души. И здъсь предстоитъ искусству нескончаемая работа. Снаружи какъ будто всѣ одинаковы, а на дѣлѣ каждый человъкъ-отдъльный глубокій міръ. Тонкость въ распознавании этихъ драгоц внныхъ особей замѣтно обостряется у всѣхъ талантливыхъ писателей. И это ведеть къ великому равенству, къ упраздненію героевъ, къ поднятію общаго уровня человъчества. Кстати и обаяніе "знаменитости" падаетъ. Въ этомъ отношении отрадно даже и то, что самыя пустыя головы легко взлѣзають на верхъ, шумять, привлекають общее вниманіе и, къ общему благу, доказывають своею карьерою, что гоняться за дешевою и раздутою извъстностью не подобаетъ ни одному порядочному художнику. Только теперь прививается въ артистической средѣ завѣтъ Пушкина! "Поэтъ! Не дорожи любовію народной. Ты самъсвой высшій судъ". Внѣшній успѣхъ въ большинствъ случаевъ объясняется теперь или ловкою аферою, или глупымъ шальнымъ счастьемъ.

Понемногу онъ уже теряетъ свою прежнюю заманчивость. Теперь все чаще попадаются артисты, которые стараются выслужиться не передъ публикой, а передъ собственнымъ художественнымъ идеаломъ. Ихъ высшая награда—личное довольство своимъ созданіемъ ("ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?"). И чъмъ крупнѣе натура артиста, тъмъ съ большимъ мученіемъ дается ему это довольство.

Тотъ же принципъ проведенъ и въ московской труппъ. Г. Станиславскій, конечно, могъ бы сдёлаться крупнёйшимъ "актеромъ-единицей". Если бы онъ руководствовался узкимъ тщеславіемъ, онъ сумѣлъ бы завоевать первенство въ любой труппъ. Но онъ поступилъ наоборотъ. Онъ создалъ, совершенно въ сторонѣ отъ господствующаго театра, цёлое собраніе свёжихъ, нетронутыхъ рутиною, драматическихъ дѣятелей, которыхъ онъ, по возможности, поднялъ до своего артистическаго уровня, и затъмъ исчезъ въ этой чудесной труппъ. За нимъ остается главнымъ образомъ только слава создателя и руководителя этого прекраснаго цълаго, т. е. остается роль, въ которой онъ никому не навязываетъ своей личности впереди остальныхъ и въ ущербъ остальнымъ. За то какъ выиграло искусство! Какая достигнута гармонія въ исполненіи пьесъ! А главное — въра въ благородство и плодотворность задачи охватила всю труппу. Въдь въ ней есть прекрасные артисты, но мнв даже кажется преступнымъ

.

выдълять кого бы то ни было. Однако же, если сортировать по старому, то возьмите, напримфръ, г-жу Лилину,---въдь это богатъйшій художественный темпераменть! А развѣ ея имя гремитъ, какъ имена другихъ женскихъ фамилій, печатаемыхъ крупными буквами? Въ "Дядъ Ванъ", въ сценъ у буфета между Сашей и докторомъ Астровымъ, г-жа Лилина, ей Богу, играеть плънительнъе и тоньше, нежели наиболѣе прославленная знаменитость, -- играетъ какъ самый совершенный художникъ, какъ природный поэтъ, чарующій своею непосредственностью... Но то, что дълаеть г-жа Лилина, до такой степени не крикливо, до такой степени чуждо малъйшаго помысла объ апплодисментахъ, такъ не похоже на фокусы для толпы, что исполнительница роли остается только живымъ лицомъ въ пьесѣ, и, къ счастью для общаго впечатлѣнія, не попадаеть въ патентованныя актрисы.

Если вы пожелаете лично познакомиться съ этими артистами и пойдете за кулисы, то увидите простыхъ и милыхъ людей безъ малъйшаго профессіональнаго отпечатка. Никто не суетится, ни на чьемъ лицъ вы не читаете жажды похвалъ. Все это — люди порядочнаго общества, которые держатъ себя естественно и серьезно, сознавая, что они служатъ благородному и важному дълу... Непривычныя за кулисами манеры этихъ актеровъ заставили кого-то обозвать ихъ "сектантами". Прозвище вполнъ подходящее. Но слъдуетъ думатъ, что въроисповъданіе этой секты сдълается со временемъ господствующею религіею въ драматическомъ искусствъ.

Излюбленныя традиціи сцены я назвалъ дореформеннымъ театромъ. Необходимо объяснить подробнъе. Театръ создавался въками, и многіе его элементы неразрывно связаны съ самою природою сцены. Есть въ этомъ дълъ вещи несокрушимыя. Но жизнь создала множество разновидностей театра. Театры спеціализируются: классическій репертуаръ — комедія нравовъ, мелодрамы, лирическія пьесы, сатира и фарсъ, сказка и феерія, почти каждая изъ этихъ отраслей имѣютъ уже свой особый театръ. Однако же, на вершинъ всего этого, всюду и всегда, находилась и находится одна образцовая художественная сцена. И вотъ, я думаю, что эта первенствующая и руководящая сцена неминуемо должна будетъ избрать тотъ путь, на который ей указывають реформы въ труппъ Станиславскаго. Слѣдуеть отдать справедливость артистамъ Александринскаго театра: они съ величайшимъ наслажденіемъ посъщали спектакли московской труппы и находили въ ея пріемахъ нѣчто такое, къ чему ихъ уже давно тянуло ихъ собственное художественное чутье. Но никому не доставало иниціативы, упорства, свободы и смѣлости, чтобы выработать совсѣмъ новую организацію дѣла и подготовить переворотъ.

Первенствующая сцена всегда бываеть художественною, т. е. воплощающею лучшія произведенія литературы. Лучшее, что есть въ литературѣ, это-поэзія въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Театръ Станиславскаго служитъ именно драматической поэзіи. Д'вятельность Станиславскаго возникла на границъ двухъ столътій и и двухъ литературныхъ теченій — реалистическаго и декадентскаго. Она вполнъ обозначилась и возбудила общее внимание только съ прівздомъ московской труппы въ Петербургъ, въ первомъ году наступившаго вѣка. Это новое, замъчательное явленіе въ жизни театра на первыхъ же порахъ вызвало забавныя недоразумёнія. Маститые романтики и модные декаденты упрекали Станиславскаго въ чрезмърной "матеріализаціи искусства", въ "пошломъ реализмъ конца девятнадцатаго столѣтія". Наоборотъ, "шестидесятники" и трезвенные позитивисты винили Станиславскаго какъ разъ въ "декадентизмъ", потому что онъ ставилъ Ибсена и Мэтерлинка... Между тъмъ, Станиславскій неповиненъ ни въ томъ, ни въ другомъ. Онъ именно создатель живой, искренней поэзіи на той самой сцень, которая всегда страдала рутинными условностями и фальшивыми эффектами.

Не буду говорить о классическомъ репертуаръ. Великіе драматическіе поэты всъхъ въковъ и народовъ извъстны на перечетъ. Сколько ни играйте древнихъ грековъ, Шекспира, Шиллера, Гете, Мольера, Пушкина и т. д. — текстъ всегда останется выше исполнения. Нисколько не сомнѣваюсь, что труппа Станиславскаго дала бы и въ этомъ репертуаръ великолъпные образы. достигла бы возможной гармоніи исполненія. Найдены были бы подходяшіе темпераменты, фигуры, обстановка и т. д. Но эта почва уже достаточно разработана. Все лучшее въ этомъ направлении уже сдълано и все-таки подлинники остались такими же, какъ были. Театръ ничего не прибавилъ имъ отъ себя. Произошло это, я думаю, потому, что, несмотря на свою драматическую форму, эти произведенія предназначены, по преимуществу, для того, чтобы оставаться въчными книгами, ненуждающимися въ истолкованіи ихъ путемъ зрѣлища. Отмѣчу еще ту особенность, что этотъ, такъ сказать, библіотечный репертуаръ состоить исключительно изъ пьесъ, написанныхъ стихами.

Но стихи, какъ я уже говорилъ, повидимому, сыграли свою важнѣйшую роль въ искусствѣ. А между тѣмъ драма, какъ отраженіе жизни, продолжаетъ развиваться, и талантливые драматурги, изъ поколѣнія въ поколѣніе, неустанно примыкаютъ съ своимъ творчествомъ къ общему художественному движенію литературы. Но это уже "драма-зрѣлище" — и ничего болѣе. Прозаическую пьесу просто неудобно читать. На каждомъ шагу надо воображать себѣ то, что едва намѣчено. Постоянно мелькаютъ фамиліи, короткія реплики, ремарки для сцены—все это ужасно досаждаеть читателю и настолько путаеть его, что онъ готовъ бросить книгу и невольно требуеть: "Пожалуйста, отдѣлайте все это для меня, покажите мнѣ все это въ лицахъ". И вотъ гдѣ необходимы актеры.

Таковъ именно драматическій репертуаръ нашего времени, и, въроятно, въ такой формѣ онъ получитъ дальнѣйшее развитіе. По отношенію къ такому репертуару сценическіе таланты являются громадной и самостоятельной творческой силой. Они должны возсоздавать чуть не на половину все то, что лишь набросано авторомъ. Ихъ воображеніе, ихъ артистическій вкусъ, ихъ върное пониманіе людей и вдохновенная работа должна обратить рукопись въ цъльную гармоническую картину жизни, полную красокъ, движенія и чувства.

٧.

Замѣчательное единомысліе оказалось между Чеховымъ—драматургомъ и московскимъ художественнымъ театромъ. Писатель и артисты вполнѣ подошли другъ къ другу. Вѣдь и пьесы Чехова составляютъ совершенно новое явленіе въ драматической литературѣ. Еще въ "Ивановѣ" Чеховъ пытался уже нарисовать простой психологическій этюдъ, безъ общепринятаго механизма въ "дѣйствіи" пьесы. Эту драму нашли умною, но мало пригодною для сцены, несмотря на то, что въ "Ивановѣ" Чеховъ еще довольно усердно держался установленныхъ пріемовъ, поддѣлывался подъ обычный персоналъ труппы, писалъ театральнымъ языкомъ, вводилъ комическихъ старухъ, шутовъ и т. п. Но въ "Чайкъ" писатель уже открыто выразилъ свою ненависть къ существующему театру, а затѣмъ въ "Дядѣ Ванѣ", и еще болѣе въ "Трехъ сестрахъ", онъ, наконецъ, смѣло перешелъ къ изображенію на сценѣ повседневной жизни простыхъ людей.

И это, конечно, возстание противъ законовъ драматургіи. Подобное же движеніе зам'вчается и на Западъ. Съ одной стороны, Ибсенъ и Мэтерлинкъ выдвинули въ драмъ на первый планъ поэзію душевныхъ настроеній, а съ другой большинство современныхъ драматурговъ уже избѣгаютъ въ своихъ пьесахъ крикливыхъ, героическихъ фигуръ и преимущественно занимаются жизнью "сфренькихъ" людей. По этому поводу знаменитъйшій фокусникъ мелодрамы Сарду недавно заклеймилъ революціонеровъ глубокимъ презрѣніемъ. Упоенный своимъ собственнымъ искусствомъ напрягать до чрезвычайности любопытство къ интригъ, хотя бы съ нарушеніемъ правды бытовой, исторической, художественной и даже логической, —Сарду гордо воскликнулъ: "Недалеко уйдутъ они съ своей психологіей. Драма, это прежде всего — дъйствіе".

Есть вещи почти неодолимыя, создаваемыя консерватизмомъ человѣчества, у котораго, какъ извѣстно, "привычка—вторая натура". Дѣйствительно; вѣдь можетъ показаться чуть ли не преступленіемъ вопросъ: да почему же "драма это прежде всего—дѣйствіе?" Вѣдь интрига въ въ драмѣ совершенно въ такой же степени важна или неважна, какъ и въ романѣ, потому что и то, и другое произведеніе воплощаютъжизнь. Тутъ есть разница только въ публикѣ. Зрителемъ можетъ быть всякій, читателемъ не всякій. Въ театрѣ бываетъ, по преимуществу, "толпа". Говорятъ, толпу надо забавлять, заинтересовывать. Она — дитя. Да. Но вѣдь нельзя же ее вѣчно держать въ младенчествѣ. Это — педагогія дурного вкуса, это — нескончаемыя сказки нянюшки.

Интрига, коллизія, героическіе злодфи, размалеванныя фигуры, неистовыя страсти и т. п.все это важно и даже необходимо для тъхъ авторовъ, которые не обладаютъ искусствомъ привлечь внимание къ естественному, искреннему и простому, - кто не владветъ тайною поэзіи. Вѣдь то же самое происходило и съ поэмами, и съ повъстями, и съ романами. Нъкогда казалось "низкимъ" и невозможнымъ разсказывать обыкновенную жизнь въ стихахъ. Пушкинъ это опровергъ. Прежде для романа требовалась любопытная завязка, — Тургеневъ создаль дивные романы безъ всякой "выдумки". Левъ Толстой, гораздо ранѣе Зола, ввелъ въ беллетристику увлекательнъйшія описанія всъхъ мелочей жизни. И тотъ самый читатель, который прежде плѣнялся только уголовными, историческими и злодъйскими романами, съ жадностью ожидая "продолженія", чтобы узнать, "чъмъ кончилось", — увлекся Толстымъ, какъ самымъ любимымъ собесъдникозъ.

Замѣчу вскользь, что п Чайковскій, страдавшій отъ ненавистнаго ему "героизма" оперъ, нашелъ истинную отраду для своего вдохновенія только тогда, когда сталъ писать музыку на Онѣгина...

И, кажется, можно безъ ошибки сказать, что наиболве полное "опрощеніе" искусства всегда шло изъ Россіи.

И однако же, относительно театра, навърно еще очень многіе возразять: "Но если мы увидимъ на сценъ то же самое, что видимъ въ жизни, то въ чемъ же будетъ заключаться искусство? Да и кромъ того, мы требуемъ отъ пьесы извъстной идеи, поученія"... А такъ, просто, переносить жизнь на сцену — къ чему же это поведетъ?!".

Чудесное впечатлѣніе, произведенное "Тремя сестрами" Чехова, въ исполненіи труппы Станиславскаго, сидою вещей опровергаеть это возраженіе. Но кромѣ того: почему же вы восхищаетесь живописцемъ, когда онъ даеть вамъ цѣликомъ именно того самаго человѣка, котораго вы знаете въ жизни, — почему преклоняетесь передъ писателемъ, когда онъ выражаетъ именно то, что вы наблюдаете вокругъ, а отъ драматурга и актеровъ вы требуете – не живой красоты, а непремѣнно-прикрасъ и фальши? Или вы все-таки настаиваете на необходимости поученія...

Тогда пусть поучають со сцены какими угодно пріемами. Если цёль хороша, то можно помириться со всякими средствами;—"кому что помогаеть"... Но неужели еще необходимо пространно доказывать, что высшее развитіе и нравоученіе дается обществу только искренними художниками? И что драматургъ такъ же, какъ и поэть, тёмъ выше, чёмъ онъ правдивѣе.

Поэзія есть высшая правда, внушаемая человѣку тайною жизни. Всѣ ее чувствують, но немногимъ дано ее выразить. Въ этой таинственной правдѣ всегда есть нѣчто мучительное и печальное, но вмѣстѣ съ тѣмъ доброе и прекрасное. Въ ней содержатся всѣ лучшія права человѣка, за которыя такъ скучно, мелко, хлопотливо и въ то же время напыщенно ратуютъ иные, весьма усердные соціологи и прогрессисты. А художникъ или поэтъ — приближаютъ человѣка къ этимъ правамъ легко, нечувствительно.

Ибо художникъ, ясно сознающій все величіе, глубину и прелесть міра Божьяго, — невольно и всегда, во всемъ, что онъ выразитъ, будетъ находиться на сторонъ того, что составляетъ благо человъчества.

И если отъ этихъ школьныхъ истинъ мы возвратимся, напримъръ, къ "Тремъ сестрамъ", съ помощью которыхъ Чеховъ и труппа Станиславскаго одержали побъду надъ театральной рутиной, — то что же мы увидимъ? Какое поученіе въ этой пьесъ?

Поучение въ томъ, что эта простая исторія увеличиваетъ вашу любовь и жалость къ людямъ. Передъ вами проходитъ множество разнообразныхъ людей, и вы въ концъ концовъ почти встахъ ихъ находите добрыми, хорошими, потому что вы незамѣтно для себя угадываете ихъ сердце. Есть только двѣ отрицательныхъ фигуры: штабсъ-капитанъ Соленый и жена Прозорова. Наталья Ивановна. Но вы къ нимъ вовсе не питаете ненависти, а только жальете ихъ. потому что видите въ нихъ эгоистовъ, которымъ недоступны благородныя челов вческія чувства. Соленый преисполненъ жаждою быть геніемъ, когда онъ глупъ, а Наталья Ивановна практически устраиваетъ свое благополучіе, никого, въ сущности, не любя. Кстати сказать, г-жа Лилина исполняетъ и эту роль съ удивительнымъ художественнымъ тактомъ и чудесною правдивостью. — И вотъ вамъ пьеса безъ коллизіи. безъ эффектовъ, безъ реторики, безъ возбужденія какихъ-нибудь "жгучихъ вопросовъ" — и однако же, она даетъ вамъ то облагораживающее созерцаніе жизни, которое способна уловить только поэзія.

И чѣмъ болѣе драматургія будетъ заниматься правдивой психологіей, чѣмъ болѣе человѣческихъ разновидностей пройдетъ передъ нами на сценѣ, въ освѣщеніи чуткихъ писателей, въ исполненіи безукоризненныхъ артистовъ, —тѣмъ болѣе театръ будетъ служить на пользу гуманности и культуры, тѣмъ болѣе онъ дастъ художественнаго наслажденія зрителямъ.

Итакъ, я думаю, что новое движеніе должно оказать сильное вліяніе на будущія судьбы сцены. Вліяніе это сказывается уже и теперь, хотя, какъ это всегда бываеть въ началѣ, подражатели перехватывають у Станиславскаго только внѣшніе пріемы и тотчасъ же ихъ уродують: знаменитое "настроеніе" доводять до каррикатуры, а художественную простоту игры до холодной безцвѣтности. Но ошибаются тѣ, кто полагаеть, будто успѣхъ труппы Станиславскаго — только успѣхъ моды. Нѣтъ! Это — успѣхъ освободительной идеи, отъ которой отступать назадъ уже не приходится.

Станиславскій провель свое дёло и понынѣ работаеть надъ нимъ, при участіи Вл. Ив. Немировича-Данченко—талантливаго драматурга и върнаго слуги искусства. По словамъ П. Д. Боборыкина, Вл. Ив. Немировичу-Данченко принадлежить даже главная роль въ созданіи Художественнаго театра. Онъ первый намѣтилъ "направленіе" и повліялъ на самого Станиславскаго. Онъ же всегда выбираеть пьесы и влагаетъ много своего творчества въ ихъ постановку. Его благородный вкусъ примиряеть всѣхъ участниковъ труппы въ достиженіи наилучшихъ результатовъ.

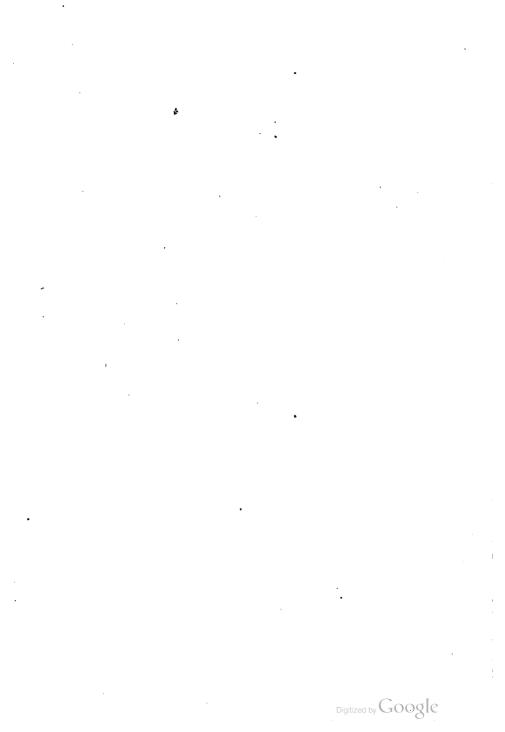
Когда дирекція избираеть какую-либо пьесу 32

и начинаеть готовить ее для сцены, то всё ждуть перваго представленія, какъ выдающагося художественнаго событія. Тогда въ театральномъ мірѣ происходить нѣчто подобное тому, что бывало въ литературѣ, когда ожидали новой статьи Бѣлинскаго, или новыхъ произведеній Тургенева, Достоевскаго, Толстого. Всѣ ожидають именно "прекраснаго", т. е. вѣрнаго, искренняго и чуткаго воспроизведенія жизни. Такимъ образомъ, московскимъ художникамъ уже теперь досталось какъ бы невольное главенство въ нашемъ сценическомъ искусствѣ.

"Художественный общедоступный театръ" въ самомъ названіи своемъ весьма точно опредѣляетъ программу своей дѣятельности. Это "художественный" театръ не въ узкомъ значеніи слова, — т. е. не театръ съ девизомъ "искусство для искусства", — не театръ для тонкихъ цѣнителей, — для парнасцевъ или декадентовъ, — а театръ "общедоступный", т. е. предназначенный служить всѣмъ и каждому, — какъ знатокамъ, такъ и самой обширной публикѣ. И дѣйствительно, простолюдинъ, интеллигентъ, публицистъ, эстетикъ и даже упрямый поклонникъ мелодрамы, — всѣ одинаково почувствуютъ себя въ театрѣ Станиславскаго, какъ дома, – и вынесутъ полное художественное удовлетвореніе.

Задача театра Станиславскаго: двлать художественное общедоступнымъ со сцены... Съ такимъ. великимъ знаменемъ слъдуетъ върить въ побъду

Октябрь, 1901.

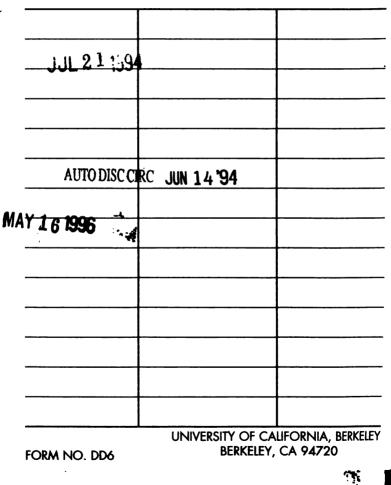




MAIN CIRCULATION

ALL BOOKS ARE SUBJECT TO RECALL RENEW BOOKS BY CALLING <u>642-3405</u>

DUE AS STAMPED BELOW



лОг

